Иван Коневской

С.ПЕТЕРБУРГ

ИВАН КОНЕВСКОЙ

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

Издательство ДНК,
Прогресс-Плеяда

ИВАН КОНЕВСКОЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Санкт-Петербург,
Москва
2008

Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания
А. В. ЛАВРОВА

Издательство благодарит Российское авторское общество
за помощь в осуществлении издания

ISBN 978-5-901562-93-2

«ЧАЮ И ЧУЮ»
Личность и поэзия Ивана Коневского

«Он сыграл у нас ту же роль, что Рембо в конце 60-х годов во Франции», — так в свое время обозначил место Ивана Коневского в нарождающемся русском символизме Е. В. Аничков[1]. Кому-то, возможно, соположение этих фигур покажется не вполне корректным, и тем не менее, если вынести за скобки вкусовые в значительной мере, индивидуальные представления о масштабе той или иной творческой личности, имеются достаточные основания для проведенной параллели. Оба поэта были отверженцами по отношению к широкой литературной среде, оба были наделены творческим даром исключительной силы и своеобразия, духовной зрелостью, обретенной ими в ранней юности; наконец, оба писали на протяжении всего лишь нескольких лет. И если Артюр Рембо сам оставил творчество в 1873 г., в девятнадцатилетнем возрасте, стал авантюристом-негоциантом и дожил до 37 лет, то Иван Коневской (настоящее имя — Иван Иванович Ореус; 1877—1901) последнее стихотворение сочинил за три дня до гибели: он утонул, купаясь в лифляндской реке, не достигнув 24-х лет.

Кардинально различной, однако, оказалась судьба творческого наследия французского и русского поэтов. До Рембо, уже в «постлитературный» период его жизни, доходили известия о пришедшей к нему славе, к которым он относился с полным равнодушием; ныне он — общепризнанный классик мирового значения. Ивана Коневского сегодня знают лишь немногие ценители русской поэзии символистской эпохи. Показательно, что выступление З. Г. Минц о нем на тартуской Блоковской конференции 1975 года было упомянуто в хроникальном отчете как доклад «о забытом поэте И. Коневском»[2]. Но таким же забытым казался этот поэт и для его младших современников. Видевший в Коневском «чудесного Святогора слова», Сергей Бобров заявлял: «Мы не можем скрыть нашей крайней скорби о том, что поэт сей теперь, через какие-нибудь 11 лет после смерти своей — забыт, забыт совершенно. Знать пару стихотворений его из старых альманахов — это редкая

[1] *Аничков Е.* Новая русская поэзия. Берлин, 1923. С. 10.
[2] *Паперный З.* Блоковская конференция в Тарту // Вопросы литературы. 1975. № 9. С. 309. Работа З. Г. Минц о Коневском, представлявшая собой общий обзор его жизни и творчества, к сожалению, не была оформлена автором в текст статьи и доведена до печати.

утонченность. А между тем на поэтическом горизонте нашем после Тютчева не было столь огромной фигуры»[1]. Слова о полном забвении в данном случае не совсем соответствуют действительности: имеется немало прямых свидетельств, подкрепленных специальными исследовательским изысканиями, о том, что Коневской оказал заметное воздействие и на других символистов, и на поэтов постсимволистской эпохи[2], — однако того места в истории русской литературы и в читательском сознании, которое ему по праву принадлежит, он не занял и по сей день[3].

В статье «Иван Коневской. Поэт мысли», написанной в середине 1930-х гг., но опубликованной в извлечениях лишь в новейшее время, Н. Л. Степанов дал краткую общую характеристику этого мастера, которая остается исключительно точной и емкой в своих наблюдениях и выводах:

«Коневской не был организатором новой поэтической школы, как Брюсов, он не был реформатором, ниспровергавшим все поэтические принципы, как Хлебников или Маяковский, или “прóклятым поэтом” вроде Рембо. Он был отъединенным мечтателем на рубеже двух эпох, творчество которого с почти хрестоматийной ясностью предсказывало дальнейшее развитие русского символизма. Вместе с тем его творчество являлось звеном, связывавшим символизм с русской поэзией XIX в., с Баратынским, Тютчевым, Кольцовым, Ал. Толстым.

Коневской являлся одним из наиболее последовательных “поэтов мысли”. Поиски смысловой поэзии, философской лирики, отличающие творческий метод Коневского, представляют не только исторический интерес для современной поэзии. Многие поэты сейчас также пытаются найти путь к философской лирике, к смысловому обогащению слова. В этом отношении поэзия Коневского представляет поучительный эксперимент, не удавшуюся до конца, но тем не менее чрезвычайно интересную попытку создания “мыслительной” поэзии.

Коневской пришел слишком рано для того, чтобы стать одним из признанных вождей символизма, а его поэзия оказалась слиш-

---

[1] *Бобров С.* О лирической теме // Труды и Дни на 1913 год. Тетрадь 1 и 2. С. 135.

[2] Наиболее развернутый обзор сведений об этом представлен в обстоятельной статье В. Я. Мордерер «Блок и Иван Коневской» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4. С. 151—178).

[3] В частности, в новейшем издании Института мировой литературы РАН «Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов)» (Кн. 1—2. М., 2000—2001) нет даже краткой общей характеристики творчества Коневского, а имя поэта упоминается лишь попутно. По-прежнему отражают действительное положение дел слова о Коневском Д. П. Святополк-Мирского, произнесенные еще в 1920 г. (статья «Русское письмо. Символисты»): «Он один из классиков русской поэзии, известный лишь посвященным <...>» (*Святополк-Мирский Д. П.* Поэты и Россия: Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи. СПб., 2002. С. 29).

ком несвоевременно сложной для 90-х годов. Тем не менее значение Коневского для развития русского символизма (для Брюсова, Блока, Вяч. Иванова) и для послесимволистских группировок (от Гумилева до Асеева) весьма существенно. Дело не только в прямом влиянии Коневского на Брюсова и Блока, хотя это влияние также имело место, а в создании новых поэтических принципов, которые определили переход от поэзии 80-х годов к символизму. В творчестве Коневского, как в фокусе, видны основные линии этого перехода»[1].

1

Иван Ореус родился в Петербурге 19 сентября 1877 г. в семье полковника Ивана Ивановича Ореуса (1830—1909). Род Ореусов — шведского происхождения; на протяжении нескольких поколений Ореусы находились на русской государственной службе в весьма высоких чинах. Прадед Ивана Коневского Максим Ореус, принадлежавший к числу дворян С.-Петербургской губернии, занимал должность Выборгского губернатора, дед Иван Максимович Ореус «после сотрудничества с министром финансов гр. Канкриным, при котором он был товарищем министра, назначен сенатором, а затем первоприсутствующим в 3-м Департаменте Сената»[2]. В автобиографии отца поэта сообщается: «*Ореус* Иван Иванович (сын скончавшегося в 1863 г.); родился в С.-Петербурге 11 дек<абря> 1830 г.; исповедания православного; учился сначала во 2-й С.-Петербургской гимназии, а потом в Школе гвардейских подпрапорщиков, откуда 26 мая 1849 г. выпущен прапорщиком в л<ейб>-гв<ардии> Преображенский полк; в 1853 г. поступил в Воен<ную> Академию <...> в 1855 г. кончил курс по 1-му разряду; в 1856 г. переведен в Генеральный штаб»[3]. Впоследствии Ореус-отец занимал ответственные служебные должности: с 1863 по 1898 г. — начальник военно-исторического и топографического архива Главного управления Генерального штаба (с 1867 г. называвшегося военно-историческим архивом Главного штаба), с 1898 г. — член военно-учебного комитета Главного штаба. В 1881 г. он стал генерал-майором, в 1891 г. — генерал-лейтенантом, вышел в отставку уже после гибели сына — в 1906 г., после 57 лет службы, в чине генерала-от-инфантерии. Архивную службу Ореус-отец совмещал с профессиональными занятиями военной историей. Ему принадлежит книга «Описание

[1] Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 180.

[2] Памяти Ивана Ивановича Ореуса (1830—1909) / По воспоминаниям друзей и почитателей составил М. Будагов. СПб., 1910. С. 3.

[3] Приведено в предисловии А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер и А. Е. Парниса к публикации переписки В. Я. Брюсова с И. И. Ореусом-отцом (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 532). См. также полный послужной список И. И. Ореуса (1896) (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 33204. Л. 6—13).

Венгерской войны 1849 г.» (СПб., 1880) — поныне основной источник документальных сведений об этой кампании, в которой он в молодости лично участвовал, — в походе 100-тысячного корпуса генерала И. Ф. Паскевича против восставшей Венгрии. Многочисленные очерки и исследования Ореуса, основанные по большей части на архивных документах, печатались в «Военном сборнике» и «Русской Старине»[1]; около 250 его статей помещено в «Энциклопедии военных и морских наук», в которой он состоял постоянным сотрудником, более 500 его статей — в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза–Ефрона.

Мать поэта, Елизавета Ивановна, урожденная Аничкова, также происходила из дворянской военной семьи. Она вышла замуж за И. И. Ореуса в 1860 г. Иван был четвертым ребенком в их браке, трое детей, родившихся до него, умерли в детстве. Елизавета Ивановна скончалась 28 февраля 1891 г., когда Ивану было тринадцать лет. В семье осталось двое — 60-летний отец и сын-подросток, главный и, по сути, единственный объект его любви, заботы и попечения. Между ними сложились очень близкие и доверительные отношения. Как сообщает в биографическом очерке М. Будагов, И. И. Ореус-отец «живо интересовался <...> литературою и вообще искусством. Писателей он ценил большею частью прежних; обладая огромной начитанностью, знал наизусть много стихов и охотно читал своим проникновенным голосом лучшие произведения. Сам очень недурной поэт, он глубоко ценил русские народные песни, с большим вкусом и пониманием напевал их и другие музыкальные произведения в тесном семейном кругу»[2]. Вместе с тем рано обозначившиеся художественные и философские устремления сына, направленные в сферу новейших исканий, характерных для последних десятилетий XIX века и отмеченных печатью «декадентства», индивидуализма, психологического надлома и изощренных чувствований, оказывались для отца, с его последовательным консерватизмом в общественных, нравственных и эстетических воззрениях, едва ли близкими или даже понятными. С другой стороны, очень многое, воспринятое от отцовского консерватизма, стало плотью и кровью Ивана Коневского.

В анонимном кратком биографическом очерке «Иван Коневской. Сведения о его жизни» (в примечании указывается, что эти сведения «сообщены близким родственником покойного»), Ореус-отец писал о ранних годах жизни будущего поэта: «Выучившись на 7 году читать, он с жадностью бросился на книги, которые с тех пор стали его любимым развлечением. К игрушкам он не имел никакой склонности, да и к играм со своими сверстниками относился довольно безучастно. Родители имели возможность дать ему порядочное образование. Еще дома он основательно выучился французскому и немецкому языку и много читал на них. Менее основательно, но достаточно, овладел он

---

[1] Перечень литературных трудов И. И. Ореуса приведен в приложении к указанной выше книжке «Памяти Ивана Ивановича Ореуса».
[2] Памяти Ивана Ивановича Ореуса. С. 7.

позднее английским. Читая очень много, Коневской перечитал едва ли не всю художественную литературу на этих языках за два последних столетия. Скандинавских и итальянских писателей он читал в немецких переводах»[1].

Говоря об отсутствии у сына-подростка интереса к игрушкам и к обычным в отроческом возрасте увлечениям, генерал Ореус не упомянул о том, что игровой стихии его сын не оставался вовсе чужд: она воплотилась для него в области активно развитого воображения, питавшегося, безусловно, главным образом познаниями и впечатлениями книжного происхождения. Наглядное тому подтверждение — сохранившаяся среди бумаг Коневского объемистая тетрадь, озаглавленная «Краткие сведения о великих людях Росамунтии XIX века. *В виде словаря*» и датированная 1893 годом: автору «словаря» — 16 лет[2]. Налицо — по всем параметрам еще детская игра уединенного творческого сознания: создание параллельного мира, по аналогии с миром, воспринимаемым в реальности, и попытка очертить контуры его истории и культуры, проецируемые на новейшую историю и культуру России. И вместе с тем — уже вполне «взрослая» по затрачиваемым усилиям и серьезности подхода установка на тотальность и фактографическую точность описания воображаемой действительности, на всеобъемлющий энциклопедизм в реконструкции никогда не бывших событий и никогда не существовавших лиц. «Краткие сведения...» включают «Адрес-календарь города Ванчуковска» — список названий учреждений и их адресов, «Алфавитный список великих людей Росамунтии XIX века», свод справочных сведений об этих «великих людях», запечатленных в карандашных рисунках — профильных портретах (две сотни имен): «43. Граф Петр Алексеевич Габушин. Родился в 1852 г. в г. Татанцах на Муклясе (Новая-Литва)»; «97. Роман Иванович Клювский. Родился в 1810 г. в Николаинске (Зеленоморье), † в 1874 г. в усадьбе Лядвонском (Светозарщина, Ров-Ровенского провинца)» и т. д. В 1896 г. в России стараниями многих ученых было начато издание многотомного «Русского биографического словаря»; за три года до этого начинания юный Иван Ореус пытался усилиями своей неуемной фантазии создать нечто подобное применительно к Росамунтии.

Большинство измышленных фантомов фигурирует в «словаре» без развернутой биографии, однако таковой удостоился Алексей Жданомирович Авизов: «Родился 16 мая 1832 г. в Ванчуковске. Один из величайших росамунтских романистов. Считается основателем "бытовой" или "естествоиспытательской" школы в росамунтской письменности, школы, которая, по выражению Сахарина, служит соединяющим звеном между "государственно-мудролюбским" направлением Ванцовского кружка годины Великого Возрождения Росамунтии и романистами-душесловами восьмидесятых годов. Сущность направ-

---

[1] *Коневской Иван*. Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М., 1904. С. VII.

[2] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 3.

ления авизовской школы заключается в том, чтобы рисовать в романах точное воспроизведение быта той или другой среды общества, причем отдельные члены этого общества рассматриваются исключительно как произведения этой среды, и потому рисуется только общий характер среды, а ни в каком случае характеры отдельных ее членов, которые интереса представлять не могут, по отсутствию в них разнообразия и тождественности их с общим характером среды. <...> Эта школа "бытовая" или "естествоиспытательская" во Франции имеет главным своим представителем Золá, но не следует думать, чтобы Авизов был его рабским последователем, напротив, он скорее является его предшественником, потому что наибольшей славы Золá достиг в семидесятых годах, Авизов же — в шестидесятых. Между прочим, у Авизова почти вполне отсутствуют знаменитые цинично-грязные описания романов Зола. Если сцены, поддающиеся такому описанию, и не особенно редко встречаются в романах Авизова, то он их всегда описывает для всех понятными, но прикрытыми дымкой выражениями, никогда обнаженными и непристойными, потому что у Авизова есть художественное чутье, часто отсутствующее у позднейших романистов, называющих себя "авизовцами" — графа П. А. Габушина, О. Г. Наволосова и др.». Далее следует развернутая характеристика повествовательной манеры росамунтского предшественника-антагониста Эмиля Золя, называются десять главнейших его романов с обозначением годов написания, приводятся и «библиографические» справки: «(См. об этом у Сахарина "Течения росамунтской письменности XIX века", гл. V)». Очерчивая биографию росамунтского классика, составитель словаря предается неумеренной фантазии, замыкаемой, однако, в строгие рамки надлежащего энциклопедического стиля: «Его отец был какой-то загадочной личностью, вероятнее всего какой-нибудь еврей. Он неведомо откуда пришел в 1827 г. в Ванчуковск, называл себя Ждаиомиром Авизовым, неизвестно к какой народности принадлежал, а по религии — был из последователей сведенборгианской секты. По-видимому, он был совсем беден; но в Ванчуковске он завел букинистическую торговлю, где он продавал по высокой цене самые редкие и дорогие книги и эстампы, которых он приобретал, где только мог. Уже через три года он обладал чуть ли не миллионным состоянием. <...> Сыну своему, Алексею, он дал прекрасное домашнее воспитание и общее образование под руководством лучших преподавателей ванчуковских гимназий. Кроме того, до 12 лет молодой Авизов не принадлежал ни к какой религии, в 12 лет отец ему начал растолковывать сведенборгианское учение, а в 15 лет Алексей окрестился по сведенборгианскому обряду, как бы из личного убеждения», и т. д.[1].

Столь же серьезный, ответственный и даже педантичный подход, продемонстрированный применительно к сугубо игровому на-

[1] Там же. Л. 2—1 об. См. также извлечения из биографии Авизова и другие записи из «словаря» Росамунтии в кн.: *Гаспаров М. Л.* Записи и выписки. М., 2000. С. 221—222.

чинанию, отличает и все другие интересы и задания, которые ставит перед собою Иван Ореус в ходе своего уединенного, планомерного и методичного самообразования. В его архиве сохранились тетради со списками прочитанных книг и статей (с сентября 1894 г. и до конца жизни)[1], в которые были включены также упоминания отдельных рассказов и стихотворений, в рубрике «Театр (с осени 1894 г.)» — перечни увиденных спектаклей и посещенных театров, а также различные регистрационные заметки («Прочитанные мною "Sonnets by Dante Gabriel Rossetti"» — перечень, «Разобранные мною стихотворения Shelley» — перечень, «Впечатления в мире музыки и театра» и т. п.). Там же — объемистая тетрадь «Книга материалов (выдержки из сочинений разных авторов). Часть I. Начата зимою 1892—93 гг.»[2]. В начале ее — предуведомление: «В эту книгу я записываю все, что в читаемом поражает меня. Поэтому я сюда записываю не только те мысли, которые мне симпатичны, но все вообще мысли, которые мне кажутся замечательными, оригинальными, достойными запоминания, иногда — хотя бы для того, чтобы впоследствии их опровергнуть, как главный оплот мнений, которым я не сочувствую. Вообще, эта книга недаром названа мною "книгою материалов". Я не раз воспользуюсь записанными в ней замечательными человеческими мыслями для обсуждения их в будущих моих сочинениях. И. Ореус»[3]. Записи в тетради рубрицированы по алфавиту — подобно телефонной книге, с обозначениями букв справа по срезу листов; они включают пространные и/или многочисленные выписки из ряда авторов: Бьёрнсон, Бодлер, Волынский, Гете, Ибсен, Фридрих Альберт Ланге («История материализма»), Метерлинк, Ницше, Сюлли-Прюдом, В. Розанов, Вл. Соловьев, Тэн, Л. Толстой, Шиллер. Завершают тетрадь указатель: «Оглавление. Список авторов выдержек. Вопросы и мотивы, затронутые в выдержках», — а также «Добавочные страницы, присоединенные к целому за недостатком места в некоторых рубриках». Отнюдь не всякий печатный компендиум оказывается составленным и организованным столь тщательно. Та же систематика выдержана в части 2-й «Книги материалов», начатой летом 1894 г.[4].

Приведенное предуведомление к «Книге материалов» сопровождено авторским примечанием: «Начато по совету Ипполита Александровича Панаева»[5]. Жена И. А. Панаева была крестной матерью Коневского, с семейством Панаевых юный Иван Ореус общался с самых ранних лет и подолгу гостил в их имении в селе Михайловском. И. А. Панаев (1822—1901), двоюродный брат известного прозаика, поэта и журналиста И. И. Панаева, также оставил свой след в литературе: в 1840—1850-е гг. был сотрудником журнала «Современник»,

[1] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 6. 119 *лл.*
[2] Там же. Ед. хр. 1. 145 лл.
[3] Там же. Л. 3.
[4] Там же. Ед. хр. 5.
[5] Там же. Ед. хр. 1. Л. 3.

напечатал там несколько рассказов и роман «Бедная девушка», а также был причастен к созданию романов Некрасова и А. Я. Панаевой «Три страны света» и, возможно, «Мертвое озеро»[1], переписывался с Н. А. Добролюбовым, оставил воспоминания о Некрасове[2]. В последующие годы он заинтересовался философией, в результате чего появилось его двухтомное компилятивное сочинение «Разыскатели истины» (СПб., 1878), посвященное в основном изложению философских воззрений Канта, Фихте и Фридриха Генриха Якоби (философия чувства и веры последнего была особенно близка ее толкователю), а затем книги «Пути к рациональному мировоззрению» (ч. 1—2. СПб., 1880), «Свет жизни. Неотразимые факты и мысли» (ч. 1—2. СПб., 1893) и др. Панаев отрицательно относился к новейшим «научным веяниям», к позитивизму и критической философии, отдавая предпочтение христианско-моралистическим ценностям. Рано пробудившиеся у Коневского интересы к области отвлеченного умозрения были в значительной мере стимулированы общением с Панаевым и, определенно, формировались под влиянием взглядов и оценок наставника. Любопытно, что в числе источников, по которым он знакомился с философией Спинозы и Фихте, Коневской указывает книгу Г. Гейне «К истории религии и философии в Германии»: именно эту книгу называет Панаев как давшую первотолчок к его философским штудиям[3]; что же касается Фихте, то, помимо названной книги Гейне, Коневской отмечает, что «знаком с ним: 1) по беседам Ип. А. Панаева»[4]. Беседы с Панаевым и, возможно, чтение его книг могли отразиться на той убежденной и последовательной апологии христианства, которую Коневской развивал в гимназические годы: именно в христианском мировоззрении и вероучении он видел исходный творческий импульс для личностного и общественного совершенствования[5].

[1] См. статью Л. Ф. Гучковой об И. А. Панаеве в кн.: Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 1999. С. 519—520.
[2] См.: Воспоминания Ипполита Панаева / Публикация С. Рейсера // Литературное наследство. Т. 49—50. Н. А. Некрасов. I. М., 1946. С. 535—548.
[3] Разыскатели истины / Составил Ипполит Панаев. СПб., 1878. Т. 1. С. V—VI.
[4] *Коневской И.* Записная книжка № 4. 1896—1897 // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 59 об. В тетради, озаглавленной «Дума, сердце и размахи. Некоторые размышления» («Начато 27 августа 1893 г., в гимназии. Писано в продолжении зимы 1893—94 гг.») Коневской также называет указанную книгу Гейне как один из источников почерпнутых сведений о философии Канта (Там же. Ед. хр. 2. Л. 1).
[5] Ср. его рассуждения, вынесенные под рубрику «Мысли»: «Высшая перед всеми прочими религиозными учениями спасительность и благотворность христианского учения, по-истинне бесконечная и неисчерпаемая, открывается в том, что оно одно обусловливает непрерывный и бесконечный нравственный прогресс, рост, движение вперед человечества, происходящий от вечно неудовлетворенного стремления к идеалу нравственного совершенства, поставленного нам Христом, как единственное руководство нашего нравственного поведения, вечной

С осени 1890 г. тринадцатилетний Иван Ореус, получавший первоначальное образование дома, был зачислен в 3-й класс 1-й петербургской гимназии[1], которую закончил в 1896 г., выказав, как было зафиксировано в его аттестате зрелости, любознательность, «особенно выдающуюся по занятию словесными науками, в которых он приобрел самостоятельным в значительной степени трудом замечательный для его возраста запас знаний»[2]. В гимназическую пору уединенный образ жизни, который вел будущий поэт в ранние отроческие годы, восполнился дружескими контактами в среде сверстников-гимназистов. В этот дружеский круг входили Алексей Веселов, Николай Беккер, Сергей Розанов, Алексей Каль — в будущем известный музыковед, братья Билибины — старший, Иван, впоследствии прославленный художник, окончивший 1-ю гимназию в один год с Коневским, и младший, Александр, окончивший ее двумя годами позднее, — наиболее близкий друг Коневского и в университетские годы. На почве этих связей возник неформальный кружок гимназистов, объединявшийся вокруг Ф. А. Лютера, преподавателя древних языков в 1-й гимназии, который оказал на формирование личности Коневского существенное влияние (ему поэт посвятил четыре стихотворения). Видимо, и Лютер выделял из общей среды пытливого и начитанного гимназиста (Коневской зафиксировал 29 октября 1893 г. — уже на второй месяц обучения — его слова: «Ф. А. Лютер мне: Вы сознательнее остальных относитесь к своим поступкам»[3]).

«Что касается правдивости, то она составляла существенную черту в душе юноши, — в унисон со словами Лютера пишет Ореус-отец в биографическом очерке о сыне. — Он просто не умел лгать: всякая ложь возбуждала его к протесту. В гимназии это повело его ко многим выходкам, напоминающим подвиги Дон-Кихота. Сохранилась карика-

---

погони за ним; но в этой вечной неудовлетворенности христианина степенью своего нравственного совершенства, в этом вечном отсутствии в нем полного довольства собою лежит высший залог или признак жизненности и благотворности учения, которое он исповедует, потому что эта вечная неудовлетворенность вечно и беспрестанно же мешает развиться в христианине косности, нравственному усыплению и происходящему отсюда нравственному застою или даже нравственной беспечности, вечно она держит христианина в бдительном состоянии, так сказать, настороже над своею душой, не дает ему ни одной минуты, так сказать, прикорнуть над своим нравственным совершенством», и т. д. (*Коневской И.* Записная книжка № 1. 1893—1895 // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 14 об.—15).

[1] В его гимназическом деле имеется прошение Ореуса-отца директору 1-й гимназии (август 1890 г.) разрешить сыну «держать вступительный экзамен в последних числах текущего месяца», поскольку он «находится при матери, серьезная болезнь которой препятствует ее возвращению с юга России ранее конца августа» (ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 7784. Л. 10—10 об.).

[2] Там же. Л. 1.

[3] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 4 об.

тура, нарисованная одним из гимназических товарищей Коневского. Он изображен в виде жреца, сжигающего на жертвеннике разные подстрочники, шпаргалки и другие приспособления для обмана учителей. В гимназии Коневской скоро был ознакомлен товарищами с теорией эротических наслаждений, но на деле сохранил целомудрие духа и тела и до конца недолгих своих дней остался девственником»[1].

Резко контрастировавший с большинством своих сверстников буквально по всем личностным параметрам, гимназист Ореус, однако, пользовался симпатией и уважением, по крайней мере, в том сравнительно узком кругу, который был обозначен выше. Братья Билибины и другие друзья его юности отдавали должное незаурядности таланта и ума влекущегося к серьезному творческому самоопределению начинающего поэта-мыслителя, и сам он ценил эти контакты, позволявшие преодолеть замкнутость, отрешенность и почти болезненную застенчивость, неприспособленность к нормам «светской» жизни. «В обществе малознакомых или малосимпатичных ему людей был он большею частью молчалив, — вспоминает Ореус-отец. — К житейским условностям и так называемым приличиям он относился весьма равнодушно. Надо было всегда, чтобы чья-нибудь дружеская рука заботилась о его туалете. Когда он занят был своими мыслями, иногда он, по-видимому, забывал, где находится. Даже на улице начинал он рассуждать сам с собой, смеялся, жестикулировал. В большом обществе ему случалось быть очень неловким и почти смешным»[2]. Именно неловкость и внутренняя скованность юного Ореуса обращали на себя основное внимание при первых встречах с ним. Один из характерных в этом отношении эпизодов обрисовывает в своих воспоминаниях О. В. Яфа-Синакевич, близкая подруга Марии Станюкович, одной из дочерей писателя К. М. Станюковича (дочери Станюковича были троюродными сестрами братьев Билибиных). В ноябре 1896 г. Билибины «прихватили с собой своего друга студента-поэта И. И. Ореуса, пояснив нам, что они никогда с ним не расстаются: "Иван Иванович, как, впрочем, и полагается поэту, так рассеян и так не приспособлен к практической жизни, что ни на минуту не может быть оставлен без самой бдительной опеки: предоставленный самому себе, он, наверное, натворил бы всяких бед".

Смущенный такой рекомендацией, Иван Иванович вошел в гостиную в галошах. Его приятели были, разумеется, очень довольны тем, что он не замедлил подтвердить их характеристику.

— Иван Иванович! — сказал наставительно Ал<ексан>др Яковлевич Билибин. — Калоши принято оставлять в прихожей.

Переконфуженный Ореус бросился обратно и, вернувшись уже без галош, направился в угол к печке, не оглядываясь по сторонам и словно никого не замечая. Может быть, он надеялся таким образом и сам остаться незамеченным. Но, конечно, взоры всех присутствующих были с любопытством обращены на него.

---

[1] *Коневской Иван.* Стихи и проза. С. VIII.
[2] Там же. С. VIII—IX.

— Иван Иванович, — вступился на этот раз Иван Яковл<евич>, — когда входят в дом, здороваются с хозяевами... — И он подвел вконец смущенного и растерянного Ореуса — сначала к бабушке, сидевшей в кресле у лампы и от души смеявшейся над комическим entrée трех приятелей, затем к маме и ко всем остальным»[1].

Домашние собрания зимой 1896—1897 г. в гостиной семьи Яфа на Захарьевской улице, на которых подруги-барышни (О. В. Яфа, сестры Станюкович, Ольга Пассек, Ирина Шохор-Троцкая и др.) весело и непринужденно общались с «синклитом беснующихся» (как аттестовали себя Билибины, А. Каль и Иван Ореус в подписи к их групповой фотографии[2]), стали местом обретения поэтом Иваном Коневским своей аудитории. «Он никогда не начинал сам, — вспоминает Яфа-Синакевич, — но и не отговаривался, когда его друзья <...> заявляли, что у Ивана Ивановича есть новые стихи. Судорожно охватив пальцами одно колено и ни на кого не глядя, он читал со странным напряжением, как бы выталкивая из себя слова (это и вообще была его манера говорить), — иногда повышая голос до пафоса. Эта необычная манера казалась нам забавной, и, каюсь, мы зачастую, переставая вникать в смысл и содержание его стихов, — всегда глубоких и тонких, всегда искренних и далеких от всякой приторной банальщины, — с трудом сдерживали смех. А между тем, все мы и тогда уже не могли не чувствовать и не ценить в нем совсем особенного большого человека, отмеченного печатью крупного, своеобразного таланта и одаренного красивой, благородной и кристально чистой душой»[3].

По свидетельству отца, «наклонность к литературному творчеству стала проявляться у Коневского с ранних отроческих лет. Сохранились его тетради от того времени, когда ему было лет 10—12, наполненные стихами и размышлениями в прозе»[4]. Ныне существующий архивный фонд Коневского, сложившийся в основном из рукописных мате-

---

[1] *Синакевич О. В.* Жили-были. Воспоминания. Тетрадь 10-я. Ч. III. Юность 1894—1900 гг. Зима 1896—97 // РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 20—20 об.

[2] Фотография поднесена О. В. Яфа, текст записан рукой А. Я. Билибина: «Радушной и мудросердой настоятельнице братства Св. Захария и Елисаветы от синклита беснующихся. Декабрь 1899». Подписи: «Ив. Билибин. Иван Ореус. А. Билибин. Florestan absens» (последний — А. Ф. Каль) (РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 521). Употребленное обозначение имело хождение в их дружеской среде; ср. письмо А. Я. Билибина к И. С. Шохор-Троцкой от 8 января 1900 г.: «Из всего "синклита беснующихся" в Питере в настоящую минуту обретаюсь один я <...> оба, т. е. мой брат и Гермагор, находятся в Москве» (Гермагор — прозвище Коневского); подпись под письмом: «один из цикла беснующихся Асканий» (Там же. Ед. хр. 490).

[3] *Яфа-Синакевич О. В.* <Захарьевские собрания>. Зима 1896—1897 гг. // Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Редактор-составитель С. В. Голынец. Л., 1970. С. 130. Исправлено по автографу: РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 22 об.

[4] *Коневской Иван.* Стихи и проза. С. IX.

риалов, которые были востребованы в ходе подготовки посмертных изданий его сочинений, не содержит опытов, относящихся к концу 1880-х гг.; видимо, эти автографы остались в собрании Ореуса-отца и после его кончины (22 мая 1909 г.) были утрачены[1]. Самые ранние из сохранившихся опусов сосредоточены в тетради «Стихотворения И. Ореуса, написанные им с августа 1890 г.»[2] Наряду с оригинальными, его стихотворные произведения первой половины 1890-х гг. включают переводы из Гете, Ибсена, из «Стихов философа» французского мыслителя Жана Мари Гюйо, оказавшего значительное воздействие на идейное формирование начинающего автора. Особенно активно Коневской стал предаваться стихотворчеству в университетские годы, именно тогда он вполне определился как поэт, выработал свою оригинальную стилевую манеру и очертил круг волнующих его тем и мотивов.

Иван Ореус поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета осенью 1896 г. — на классическое отделение (определенно, под влиянием общения с Ф. А. Лютером), затем перешел с него на славяно-русское, которое и закончил весной 1901 г. Он слушает лекции крупнейших ученых того времени — университетских профессоров С. Ф. Платонова (русская история), Н. И. Кареева (средняя и новая история), А. И. Введенского (история древней философии, логика, психология), И. И. Холодняка («Энеида», Юлий Цезарь, Овидий, «Анналы» Тацита), В. К. Ернштедта (Аристофан, Пиндар, Платон, Аристотель), С. К. Булича (введение в сравнительное языкознание), И. Н. Жданова (история русской литературы), Ф. Ф. Зелинского (Цицерон, Гораций, римские древности), Ф. А. Брауна (история западноевропейских литератур), В. И. Ламанского (введение в славяноведение) и др.[3]. В филологических штудиях студента Ореуса отражается его общая устремленность к разработке философских проблем; в русской литературе его влекут к себе всего более поэты-мыслители: соответственно темы его университетских зачетных сочинений — «Судьба Баратынского в истории русской поэзии» и «А. В. Кольцов (личная его природа и строй мыслей)». Примечательно, что эти — по своему назначению экзаменационные — работы по стилю и строю рассуждений существенно не отличаются от тех аналитических этюдов и заметок на философские темы, в которых юный поэт пытался определить контуры собственного миросозерцания.

Дополнительный стимул этим философическим устремлениям могло дать его участие в «Литературно-мыслительном кружке», куда он был введен новообретенным старшим другом С. П. Семеновым —

---

[1] В статье «Иван Коневской. Поэт мысли» Н. Л. Степанов сообщает, что архив Коневского был передан И. И. Ореусом-отцом В. Я. Брюсову и Н. М. Соколову «за исключением чистовых альбомов со стихами» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 188).
[2] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1.
[3] ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 33204. Л. 22, 23, 29, 30, 44.

студентом юридического факультета Петербургского университета, погруженным в философскую проблематику (Коневской познакомился с ним в имении Панаевых летом 1896 г.). Как сообщает в своей работе о Коневском Н. Л. Степанов (консультировавшийся при ее подготовке с еще здравствовавшими друзьями покойного поэта), «наиболее активное участие Коневского в кружке относится к 1896—1897 гг., когда он был его секретарем. Членами кружка состояли: Г. Л. Борейша, М. А. и С. А. Елачич, И. Я. Билибин, В. Р. Менжинский, Б. Э. Нольде, Ф. Д. Попов, С. П. Семенов, Н. М. Соколов, П. Ц. Дорф (Зимницкий), П. П. Конради, А. М. Рыкачев, Ф. А. Лютер и др., заседания происходили поочередно на квартирах участников кружка»[1]. В записях Коневского о заседаниях кружка в сезон 1896—1897 г. зафиксированы три его собственных реферата («О красоте в движении» — 14 октября, «О современной русской лирике» — 17 и 25 февраля), а также 13 выступлений его товарищей по этому объединению[2]. В собрании Н. Л. Степанова отложились сделанные им записи рассказов С. П. Семенова о деятельности кружка; в них, в частности, отмечается: «У Ореуса была видна аполитичность, чтó было чуждо некоторым участникам; был чужд сперва своеобразный стиль его изложения и подчеркивание значения эстетического момента. Ореус относился ко всем занятиям кружка с полным интересом, споры вел исключительно на идейной почве»; «Во время спора И. И. всегда с полным вниманием относился к высказываниям собеседника (противника) и интересовался малейшими оттенками его мысли, стремился вполне понять и усвоить противоположные мнения. И затем (по окончании спора) останавливался на этих противоположных воззрениях, стараясь детально определить отношение их к своим взглядам, к проверке их». Среди большинства участников «Литературно-мыслительного кружка» преобладали исторические и социологические интересы, Коневской же больше тяготел к отвлеченному философствованию и эстетическому анализу. Этим его склонностям, видимо, в большей мере удовлетворяли собрания, которые организовывал Я. И. Эрлих, студент историко-филологического факультета в 1894—1899 г. и мыслитель мистического склада[3].

---

[1] Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 183.

[2] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 63 об.—64.

[3] См. об этом в указанной статье Н. Л. Степанова (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 184). Ср. фрагмент из письма Н. М. Соколова, друга Коневского и товарища по «Литературно-мыслительному кружку», к И. И. Ореусу-отцу: «18-летним юношей он будил в других такое же уважение к себе, какого иной не удостоивается и в 30 лет. Но его не только уважали, его любили, любили крепко, беззаветно за его *живую* душу. Он не только честно, серьезно относился к своим идеям, но и давал им плоть и кровь. <...> Идеалист во всем — он не считал того, что давал» (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 535).

Расширение круга общения в университетские годы и переход к ранней духовной зрелости существенным образом не изменили индивидуальность Коневского, какой она определилась в гимназические годы. Его однокашник по университету С. К. Маковский (впоследствии поэт и видный художественный критик, редактор журнала «Аполлон») вспоминал: «Товарищ он был на редкость обаятельный. Правдив, отзывчив, добр, деликатен. Понравился мне сразу и манерами, и всей внешностью...» И он же отмечает те черты, на которые было обращено внимание в простосердечных, но, по всей видимости, точных по существу записях О. В. Яфа: «Среди студентов за ним установилась репутация необычайно одаренного чудака. Какой-то уж очень особенный. И образован неправдоподобно, и застенчив до обморочной растерянности, и дерзостно смел в самоутверждении, и целомудрен, как красная девица. <...> Конфузливость его и рассеянность вызывали насмешки, но не делали его беззащитно-ручным. Ласковый к людям, внимательный ко всякой чужой боли, в то же время он никого не подпускал к себе на слишком короткое расстояние, даже ближайших друзей: ограждал пуще всего свое умозрительное одиночество»[1].

Уединенная духовная работа Коневского шла с той же методичностью и с тем же стремлением к освоению и истолкованию всего доступного ему культурного универсума, с какими он ранее пытался описать лица и события в воображаемой Росамунтии. В любой возникающей совокупности разрозненных историко-культурных реалий он пытается обнаружить системное, объединяющее и регулирующее начало, в рамках каждой темы или проблемы, на которую оказывается обращено его внимание, тяготеет к обзорной всеохватности. Так, выступлениям в «Литературно-мыслительном кружке» соответствует большая обзорная статья «Стихотворная лирика в современной России» (1897), посвященная разбору поэтических книг, появившихся за последнее десятилетие и позволяющих, с точки зрения автора, создать наиболее адекватное представление об эстетических достижениях и философских устремлениях новейшей русской поэзии, — сборников Н. Минского, К. Фофанова, Ф. Сологуба, А. Добролюбова, Д. Мережковского и Вл. Соловьева[2]. Аналогичный опыт — «Стихотворная лирика в современной французской поэзии», обширная статья, писавшаяся осенью 1897 г.: в ней давалась суммарная аналитическая характеристика творческих индивидуальностей Жюля Лафорга, Эмиля Верхарна, Анри де Ренье (эти авторы почти не были тогда известны в России даже по именам)[3]. Общий план за-

[1] *Маковский Сергей.* Портреты современников. М., 2000. С. 410, 412-413.

[2] См.: Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 89-149.

[3] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 6. 63 лл. Рукописи этих статей Коневской раздавал знакомым для прочтения (ср. его письмо к Вл. В. Гиппиусу от 29 мая 1898 г.: «С сегодняшнего вечера при мне будет мой очерк о "Современных французских лириках" (первые две части: Лафорг, Вергэ-

думанного обзорного сочинения «Современная французская поэзия» предполагал развертывание гораздо более широкой панорамы — по рубрикам «Лирики и драматурги» (10 имен), «Эпики (прозаики)» (10 имен), «Критики» (7 имен)[1]. Сходный по широте привлекаемого материала замысел — «Борьба между христианством и язычеством в современной Европе»; раскрытие темы намечалось в трех разделах: «I. Достоевский и Л. Толстой. II. Ибсен и Ницше. — Мережковский. III. Метерлинк, Ростан и др. — Тютчев, Алексей Толстой и Фет» (сокращение «и др.» проясняется в подстрочном примечании: «Французские язычники-парнасцы: Флобер, Мопассан, Леконт де Лиль, Эредиа, Ренан, Тэн, Баррес; Бодлэр, Сюлли-Прюдомм»)[2].

В этих и в ряде других творческих проектов, реализовавшихся лишь в малой мере, фигурируют десятки имен писателей, философов, композиторов, живописцев, о каждом из которых у Коневского, безусловно, была выработана своя точка зрения, сформулирована своя концепция или, по меньшей мере, ожидала своей формулировки. Изобилие привлекаемых имен отнюдь не означает, что Коневской в своих опытах освоения культурного пространства был всеяден; аналитические характеристики у него очень часто дополнялись оценочными, притом весьма пристрастными. При всей изначальной толерантности, с какою он подходил к восприятию разнородных идей, концепций и эстетических явлений, неизменно сказывалась его приверженность постулатам идеалистической философии и ее многообразным преломлениям в художественном творчестве[3]. Соответственно, материализм, позитивизм, «научный» мессианизм второй половины XIX века вызывали у него неприятие и отторжение. В одной из его рабочих тетрадей («Мысли, заметки (на память), наброски») зафиксирован любопытный хронологический перечень, озаглавленный

рен), так что, если хотите, зайдите на этих днях ко мне <на> квартиру и возьмите его с собой на все лето. А “Современных русских лириков” я от Лаппо-Данилевского не достал» (ИРЛИ. Ф. 77. Ед. хр. 217). Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863—1918) — историк, археограф, академик (с 1899 г.); секретарь Исторического общества при Петербургском университете).

[1] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 19 об.

[2] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 8.

[3] В воспоминаниях Вл. В. Гиппиуса о Коневском, записанных в 1930-е гг. Н. Л. Степановым, сообщается: «Ореус был гегельянцем. Над его кроватью висело изображение Гегеля (вырезал его портрет из коллекции гравюр)» (приведено в статье В. Я. Мордерер «Блок и Иван Коневской» в кн.: Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 176). Мы не располагаем, однако, ни прямыми авторскими указаниями, ни косвенными аргументами, которые свидетельствовали бы о том, что Коневской выделял этого немецкого философа из ряда многих, им воспринятых, как главного властителя своих дум. О круге философских интересов Коневского см.: *Grossman Joan Delaney*. Neo-Kantianism, Pantheism, and the Ego: Symbolist Debates in the 1890's // Studies in East European Thought. 1995. Vol. 47. № 3/4. P. 183—188.

«Мыслители, разрушившие для меня материализм и утвердившие во мне уверенность в *бессмертии души*»; открывается он записью, отнесенной к 1892—1893 гг.: «Naville[1] и вообще — рассуждения Ип. Ал. Панаева»; далее следует: 1893—1894 гг. — Шиллер, Кант, 1894—95 г. — Л. Толстой, Достоевский, Ибсен. Затем список расширяется: весна и лето 1895 г. — Сюлли-Прюдом, проф. Н. И. Кареев, К. Фламмарион, Ж. М. Гюйо; осень и зима 1895 г. — поэты Н. Ленау, Тютчев, А. К. Толстой, Н. Ф. Щербина, Д. Г. Россетти, К. Д. Бальмонт, П. Б. Шелли, норвежский прозаик А. Гарборг, спиритизм (журнал «Ребус»); наконец, зима 1896 г. — А. Л. Волынский (и В. Вундт в его изложении), Д. С. Мережковский, Вл. Соловьев, М. Метерлинк, Э. По, философ Л. М. Лопатин и приверженец спиритизма К. Дю Прель[2]. «Разночинная» эпоха в русской литературе и общественной мысли XIX века с ее прямым или опосредованным утверждением материализма осмысляется Коневским как провал и в идейном, и в эстетическом планах, как время торжества ложных ценностей. В той же тетради содержатся его записи, в которых русские писатели XIX века разделены на три поколения. Классики различного калибра, от Тургенева, Л. Толстого и Некрасова до Щербины, Мея и Плещеева, безусловно им почитаемые, — «всё люди, родившиеся около 1820 г. или между 1820 и 1830 годом». «Любопытно, — заключает Коневской, — что поколение, родившееся в России между 1830 и 1850 г. (это, значит, именно люди 60-ых гг. и 70-ых гг.), не дало России ни одного великого поэта или прозаика <...> Типичные представители поколения, родившегося между 1830 и 1850 гг.: Добролюбов, Писарев, Чернышевский (хотя он родился в 1828 г.), Михайловский, Скабичевский, Гл. Успенский, Златовратский, Помяловский, Шеллер, Засодимский и др. Единственные проблески истинной художественности среди ровесников этого сброда явил[3] родившийся в 1840 году Апухтин (поэтому и молчавший в течение всего периода 60-ых, а почти что и всех 70-ых гг.). Только в самом конце этого периода в 1848 г. рождается тоже истинный поэт Голенищев-Кутузов. Зато в периоде между 1850 и 1870 гг. рождаются уже такие поэты, как Короленко (1853), Гаршин (1855), Минский (1855), Надсон (1862), Фофанов (1862), Мережковский (1865), Бальмонт (1868)»[4]. Последнее, третье поколение русских писателей, по убеждению Коневского, с большей или меньшей устремленностью и сознательностью возрождает прерванную традицию художественного идеализма, и среди своих старших современников он выделяет именно их, хотя и не всех оценивает в равной мере высоко.

---

[1] Жюль Эрнест Навиль (1816—1909) — швейцарский писатель, реформатский богослов; автор книг «Вечная жизнь» («La vie éternelle», 1861), «Отец небесный» («Le père céleste», 1865), «Проблема зла» («Le problème du mal», 1868) и др.

[2] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 14.

[3] В автографе описка: «явился».

[4] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 25—25 об. Год рождения К. Д. Бальмонта указан неверно; в действительности — 1867.

Книжные штудии восполнились у Ореуса-студента в летние каникулярные месяцы 1897 и 1898 года чрезвычайно яркими и познавательными впечатлениями, почерпнутыми в ходе двух продолжительных заграничных путешествий: в июне—июле 1897 г. он посетил Австрию, Баварию и Германию (побывал в Вене, Зальцбурге, Мюнхене, Нюрнберге, обошел пешком несколько областей Тюрингии), в июне—июле следующего года приплыл на пароходе из Петербурга в Любек, осмотрел Кёльн, совершил путешествие вверх по Рейну, ознакомился с горной Швейцарией и Северной Италией. Свои переживания и размышления, вдохновленные знакомством с Западной Европой, он отразил в целом ряде стихотворений, а также в прозаических этюдах и набросках, значительная часть которых вошла в разделы «Видения странствий» и «Умозрения странствий» его книги «Мечты и Думы». Эмоционально насыщенные описания увиденного и прочитанного сочетаются в этих текстах с аналитическими пассажами, в которых сказывается попытка распознать за явлениями сущность, увидеть в частном и случайном отображение общего и закономерного.

Дебют поэта в печати состоялся в 1896 г.: в ноябрьском номере журнала «Книжки Недели» за подписью «И. Ореус» был опубликован его сонет «Снаряды». Но полноправного вхождения девятнадцатилетнего автора в литературу тогда не произошло. Еще ранее, 31 июля 1896 г., он отправил в редакцию журнала «Северный Вестник» (для Н. Минского) два стихотворения («На лету» и «Меж нив»)[1], последствий это не возымело. Определенным препятствием на пути Коневского в литературные сферы была его пресловутая некоммуникабельность, оказывавшаяся непреодолимой при попытках наладить даже самые формальные литературные связи. «Какое же чудило ваш протеже Коневской», — передает С. Маковский слова Дягилева, рассказавшего ему о курьезном появлении в редакции «Мира Искусства» поэта, который умудрился сесть мимо стула на пол и тут же ретировался, так и не произнеся ни слова и не оставив рукописей[2]. Сходный эпизод припоминает П. П. Перцов: «Застенчив Коневской был до того, что, придя ко мне <...> переговорить об издании его сборника, он от смущения не мог ничего сказать, не закрывая лица руками, как красная девица, — и, наконец, повернулся ко мне спиной, потому что только в такой позе мог еще поддерживать связную речь». «В то же время, — продолжает Перцов, — он был абсолютно уверен в каждой своей строке, в каждом своем слове и не допускал никакого разговора о возможных переменах в написанном им». В Коневском, по мысли Перцова, ярчайшим образом воплотился «тип самозамкнутых и самовлюбленных одиночек»[3] — весьма характерный для ранних приверженцев индивидуалистического символизма в России. Болезненная неконтактность в сочетании с глу-

[1] ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 302.
[2] *Маковский Сергей*. Портреты современников. С. 413.
[3] *Перцов П. П.* Литературные воспоминания. 1890—1902 гг. М., 2002. С. 188.

бокой и упорной внутренней самоуверенностью — эти психологические особенности, конечно, не способствовали адаптации поэта к той среде, в которой могли по достоинству оценить его дарование.

Литературные знакомства Коневского стали завязываться лишь после встречи и сближения с Владимиром Васильевичем Гиппиусом, также студентом историко-филологического факультета и начинающим поэтом, исповедовавшим эстетизм и «декадентское» миросозерцание наряду со своим другом и гимназическим товарищем Александром Добролюбовым, выпустившим в свет в 1895 г. одиозный сборник «Natura naturans. Natura naturata»[1]. Осенью 1898 г. Гиппиус стал приводить Коневского на поэтические собрания у Ф. Сологуба. К этой поре относится сообщение в письме О. В. Яфа к М. К. Станюкович: «Ореус преуспевает <...> говорят, недавно он читал свои стихи пред лицом Бальмонта, Минского и других поэтов, и был ими признан большим талантом»[2]. Тогда же Коневской стал устраивать по вторникам аналогичные собрания у себя на квартире. По свидетельству Маковского, «посещала их по преимуществу молодежь с писательским зудом, но приходил кое-кто и из литераторов постарше: вспоминаются постоянно бывавшие Федор Кузьмич Тетерников (Сологуб), Д. Н. Фридберг и Владимир Гиппиус. Сам хозяин (на этих собраниях вижу его за столом — на председательском месте — в узенькой столовой) читал нам свои статьи, затрагивавшие всевозможные литературные и философские вопросы, но чаще — стихи»[3].

На квартире у Сологуба 12 декабря 1898 г. впервые увидел Коневского и услышал его стихи Валерий Брюсов. «Самым замечательным было чтение Ореуса, ибо он прекрасный поэт», — записал он тогда в дневнике[4]. После возвращения Брюсова в Москву между ним и Коневским завязалась интенсивная переписка. Брюсов выказал себя горячим, убежденным поклонником творчества молодого петербургского автора, которое стал всячески пропагандировать в своем московском окружении[5]. В лице Брюсова Коневской обрел не только

---

[1] См.: Иван Коневской. Письма к Вл. Гиппиусу / Публикация И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 79—98.

[2] РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 328. Л. 5.

[3] *Маковский Сергей.* Портреты современников. С. 410. Одно из документальных свидетельств об этих собраниях — записка Коневского к Вл. Гиппиусу (6 марта 1899 г.): «Прошу Вас, милый Владимир Васильевич, не отказать мне в посещении в этот вторник вечером. Быть может, будет и Сологуб, и другие лица» (ИРЛИ. Ф. 77. Ед. хр. 217). Среди начинающих поэтов, приобретших впоследствии литературную известность, в числе знакомых Коневского был и Ю. Н. Верховский (в 1898—1902 гг. — студент историко-филологического факультета Петербургского университета); ср. замечание в письме Н. М. Соколова к В. Н. Верховскому (брату поэта) от 30 мая 1901 г.: «Юрию Никандровичу передайте, что Ореус скрывается где-то в Павловске, но где — неизвестно <...>» (РГАЛИ. Ф. 427. Оп. 1. Ед. хр. 2087).

[4] *Брюсов Валерий.* Дневники. 1891—1910. <М.>, 1927. С. 57.

[5] Подробнее см. в нашей статье «Брюсов и Иван Коневской» (*Лавров*

благодарного читателя и интересного собеседника-корреспондента, но и деятельного, инициативного литератора, который готов был по мере собственных сил содействовать публикации и распространению его произведений. Вместе с Брюсовым Коневской работал над формированием «Собрания стихов» Александра Добролюбова (весной 1898 г. покинувшего Петербург и начавшего страннической жизнь в народной среде); книга вышла в свет в только что основанном символистском издательстве «Скорпион» (М., 1900) с двумя предисловиями — Брюсова и Коневского («К исследованию личности Александра Добролюбова»). В основном благодаря энергичному содействию Брюсова Коневской вписался в круг писателей-символистов, к которому влекли его собственные эстетические склонности уже в течение ряда лет. Н. Л. Степанов приводит его подробную регистрационную запись (1896—1897), начинающуюся фразой: «История моего знакомства с сущностью символизма: 1893 г. летом в Павловске» — и далее следуют перечни произведений Ибсена, Метерлинка, Россетти и критических интерпретаций З. Венгеровой, Минского, Мережковского, Бальмонта, Брюсова и др.[1]. О том, что «сущность символизма» не сводилась для Коневского к литературно-художественным явлениям, народившимся и возобладавшим в конце XIX века, а осмыслялась расширительно, свидетельствует упоминание в этом перечне поэтов более раннего времени — Шелли, Ленау, Тютчева, Фета, Щербины. Малый круг имен новейших писателей и обновителей художественного слова вписывался для него в гораздо более широкий круг, который был представлен поэтами минувших эпох, обогатившими литературу своими опытами подлинно символистского мировидения.

Приобщение сына уважаемого в общественных верхах генерал-лейтенанта Ореуса к «декадентскому» сонмищу, которое вызывало

А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007. С. 81-108), а также: Переписка <В. Я. Брюсова> с Ив. Коневским (1898—1901) / Вступ. статья А. В. Лаврова. Публикация и комментарии А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер, А. Е. Парниса // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 424—532. Благодаря Брюсову стихи Коневского высоко оценили в кругу символистского издательства «Скорпион», а близкий друг юности Брюсова поэт А. А. Ланг (А. Л. Миропольский) вступил с их автором в деятельную переписку. 12 октября 1899 г. он признавался Коневскому: «Из нашего краткого знакомства я вынес самое теплое чувство к Вам», — а в письме от 20 февраля 1900 г. давал чрезвычайно высокую оценку его творчеству: «Я вижу по Вашим стихотворениям, что Вам предстоит широкий художественный путь. Ваша поэзия — поэзия великого чаяния, поэзия духа человека, и я первый зажигаю перед образом Вашего творчества священные лампады.<...> Вы завоевываете у Вечности территории и безвозмездно отдаете их слепым людям» (*Ямпольский И. Г.* Письма А. Миропольского к И. Коневскому // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1988. М., 1989. С. 23, 25).

[1] См.: Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 185.

тогда едва ли не повсеместное отторжение и негодование, побуждало скрыть эту «компрометирующую» связь под литературным псевдонимом. В словаре великих людей Росамунтии зафиксирована фамилия «Коневецкий»[1], она же занесена в записную книжку за 1897 г. как псевдоним автора упоминавшейся выше обзорной статьи: «*Иван Коневецкий*. Современная русская лирика»[2]. В письме к Брюсову от 23 июня 1899 г. фигурирует заглавие подготавливаемой книги «Мечты и Думы Ивана Коневского»[3], однако десять дней спустя, в письме к А. Я. Билибину от 2 июля, указывается другой псевдоним: «Мечты и Думы Ивана Езерского»[4]. В конце концов Иван Ореус решил выступать в печати под именем Ивана Коневского, хотя, по свидетельству Брюсова, он впоследствии сожалел, что не предпочел личину Ивана Езерского[5]. Псевдоним восходит к названию острова Коневец на Ладожском озере, известного находящимся на нем мужским монастырем. Остров располагается в географической сфере пересечения и взаимодействия скандинавских и русских влияний; для поэта — исконного петербуржца с родовыми шведскими корнями — его название соотносилось с представлением о собственной национальной и культурно-исторической идентичности. В стихотворении «С Коневца» (1898) он писал:

Я — варяг из-за синего моря,
Но усвоил протяжный язык,
Что, степному раздолию вторя,
Разметавшейся негой велик.

Поэт Иван Коневской предстал перед читающей публикой, когда почти одновременно, в конце 1899 г., увидели свет его сборник стихов и медитативной прозы «Мечты и Думы», отпечатанный тиражом 400 эк-

---

[1] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 54 об.
[2] Там же. Ед. хр. 18. Л. 29 об.
[3] Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 464.
[4] Писатели символистского круга. С. 177. Иван Езерский, герой незаконченной поэмы Пушкина, привлекал внимание Коневского своей «варяжской» родословной: «...мой Езерский // Происходил от тех вождей, // Чей дух воинственный и зверский // Был древле ужасом морей» («Езерский», строфа II).
[5] *Брюсов Валерий*. Среди стихов. 1894—1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 483 («Иван Коневской (1877—1901 гг.)», 1916). В этой же статье Брюсов сообщает, что поэт воспользовался псевдонимом по требованию отца: «...он не позволил сыну выступать в литературе под своим именем <...> Даже после безвременной кончины юноши Коневского генерал Ореус не разрешил назвать в печати настоящее имя поэта. Оно стало общеизвестно лишь по смерти генерала» (Там же. С. 485). Требование «не пропечатывать настоящей фамилии Вани» было выдвинуто в письме Ореуса-отца к Брюсову от 22 июля 1903 г. (см.: Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 546—547).

земпляров, и коллективный сборник «Книга раздумий», составленный из стихотворных циклов К. Д. Бальмонта, Валерия Брюсова, Модеста Дурнова и Ив. Коневского. Авторская книга Коневского заметного резонанса в печати не вызвала, можно было бы даже сказать — прошла незамеченной, если бы не появились два весьма критических отклика, один из них принадлежал былому сподвижнику, Вл. Гиппиусу[1]. «Книга раздумий», в которой был помещен цикл Коневского «От солнца к солнцу», удостоилась целого ряда рецензий, в основном выдержанных в характерном для тогдашней журналистики негативно-насмешливом тоне по отношению к писаниям «декадентов»; стихам Коневского соответственно досталось также по полной мере[2]. В книгу «Мечты и Думы» Коневскому не удалось включить (по недостатку средств, отпущенных на издание) объемный раздел, которому он придавал большое значение, — «Переводы стихов в прозе». Задача, которую ставил перед собой поэт, перелагая прозой на русском языке стихи и фрагменты из философских произведений, — «наиболее полная и яркая формула философского смысла главных современных настроений; весь выбор стихотворений и отрывков производился в виду этой цели»[3]. Цикл переводов составили отрывки из произведений Алджернона Чарлза Суинбёрна, сонеты Данте Габриэля Россетти, фрагменты из книг Фридриха Ницше («Так говорил Заратустра», «Дионисовские дифирамбы») и Мориса Метерлинка («Сокровищница Смирения», «Мудрость и Судьбина»), стихотворения Анри де Ренье, Франсиса Вьеле-Гриффена, Эмиля Верхарна, а также отдельные вещи Ральфа Уолдо Эмерсона, Новалиса (из «Гимнов к ночи»), Гуго фон Гофмансталя, Гете; о каждом авторе давалась краткая общая справка с указанием библиографических источников[4]. В 1900 г. Коневской пред-

[1] Подробнее см. в примечаниях (с. 225—226 наст. изд.).

[2] См.: Летопись литературных событий в России конца XIX — начала XX в. (1891—октябрь 1917). Вып. 1. 1891 — 1900 / Редактор-составитель М. Г. Петрова. М., 2002. С. 406. Брюсов в очерке о Коневском отмечал, что газетная критика «Книги раздумий» поэта ни в малой мере не раздосадовала: «...он уверял даже, что приятно "попасть на зубок" уличному гаеру, ибо такова неизбежная стадия, через которую проходят все истинные таланты» (*Брюсов Валерий*. Среди стихов. С. 487).

[3] Письмо к А. Я. Билибину от 2 июля 1899 г. // Писатели символистского круга. С. 177.

[4] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 9. 236 лл. В очерке «Иван Коневской» Брюсов сообщает о покойном поэте, что тот — «вероятно, в 1896-м или 1897 г.» — «писал во Францию своим любимым поэтам, Верхарну, Анри де Ренье и Фр. Вьеле-Гриффену, прося их сообщить некоторые подробности их биографии и рекомендуя себя как русского писателя, намеревающегося ознакомить, в переводах, русскую литературу с творчеством французских символистов. Я видел ответные письма, и, судя по ним, вопрос был составлен в выражениях, не оставляющих сомнения, что автор имеет все возможности исполнить свое намерение. Вероятно, французским поэтам не могло прийти в голову, что им пишет гимназист, не печатавший ни одной строки. <...> Позднее Коневской не раз говорил, как его смущает и тревожит, что он "все еще" не

ложил издательству «Скорпион» опубликовать эти переводы отдельной книгой, но благоприятного ответа не получил[1].

После появления сборника «Мечты и Думы» литературные связи Коневского замкнулись исключительно на московском «Скорпионе», в котором ведущую роль исполнял Брюсов. В первом «скорпионовском» альманахе «Северные Цветы на 1901 год» (М., 1901) были напечатаны новые стихотворения Коневского, а также его полемическая статья «Об отпевании новой русской поэзии», содержавшая возражения на критическое выступление З. Гиппиус в «Мире Искусства». В следующем альманахе, «Северных Цветах на 1902 год», увидевшем свет в марте 1902 г., произведения Коневского — стихи и статья «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины» — появились уже посмертно. Безвременная кончина настигла поэта 8 июля 1901 г., в ходе очередного летнего путешествия, которое он предпринял вскоре по окончании Петербургского университета.

2

В записной книжке Коневского за 1897 г. зафиксировано предполагаемое заглавие задуманной им книги: «Чаю и чую. Гласы и напевы»[2]. Позднее он предпочел вынести на титульный лист менее индивидуализированную, «объективную» формулировку: «Мечты и Думы», — однако сочетание двух фонетически близких глаголов в первом лице единственного числа также отображало содержание поэтического мира автора с исключительной точностью и лаконической полнотой.

исполнил обещаний, данных Верхарну и др.» (*Брюсов Валерий.* Среди стихов. С. 486-487). Никаких следов этой переписки в сохранившейся части архива Коневского не обнаружено.

[1] Руководитель «Скорпиона» С. А. Поляков в письме к нему от 23 августа 1900 г. сообщал: «К сожалению, наше издательство не сможет воспользоваться Вашим предложением вполне и вот по каким причинам. У нас имеется намерение издать ряд небольших томиков переводов из новых поэтов, но так, чтобы каждый томик был посвящен одному писателю. Мы полагаем, что это будет иметь больший успех, чем тот род хрестоматии, который Вы предлагаете. Одним из таких томиков должен быть уже обещанный в наших объявлениях Verhaeren в переводе Валерия Яковлевича. Кроме того, в этот же ряд войдет третий том Эдгара По в переводе К. Д. Бальмонта. Если бы Вы могли представить нам целый томик переводов из Свинбёрна или Россетти, мы могли бы напечатать в виде одной из частей предполагаемого ряда» (ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 95).

[2] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 29 об. То же словосочетание Коневской использует в статье «Мистическое чувство в русской лирике» (1900), характеризуя «настроения сокровенные» у Тютчева: «...это — настроения непостижимые и восторгающие, чувства предвидения, предвкушения, предсказания, прозрения и прорицания, минуты ожидания и гадания, чаяния и чуяния <...>» (*Коневской Иван.* Стихи и проза. С. 202).

Стихи Коневского — это прежде всего опыт личностного самовыражения, регистрация в ритмизованной форме раздумий на различные темы, как правило, самого общего характера и неизменно под отвлеченным, метафизическим углом зрения. «Коневской вовсе не был литератором в душе, — писал в статье «Мудрое дитя» Брюсов, сумевший узнать поэта при его жизни достаточно полно и глубоко. — Для него поэзия была тем самым, чем и должна быть по своей сущности: уяснением для самого поэта его дум и чувствований. Блуждая по тропам жизни, юноша Коневской останавливался на ее распутьях, вечно удивляясь дням и встречам, вечно умиляясь на каждый час, на откровения утренние и вечерние, и силясь понять, что за бездна таится за каждым мигом. Эти усилия у него обращались в стихи. Вот почему у него совсем нет баллад и поэм. Его поэзия дневник, он не умел писать ни о ком, кроме как о себе — да, в сущности говоря, и не для кого, как только для самого себя. Коневскому было важно не столько то, чтобы его поняли, сколько, — чтобы понять самого себя»[1].

Второй глагол в формуле «Чаю и чую» аккумулирует в себе все те многоразличные формы эмоциональных и рациональных медитаций, посредством которых Коневской воспринимает и отображает в слове открывающийся ему мир. Но вместе с тем поэт и «чает» — пытается волевым усилием рефлектирующего сознания постичь этот мир в его целостности и внутренней противоречивости, провидеть за явлениями сущность, влечется к слиянию с всеединством. Внутренний драматизм, пронизывающий творческое самосознание Коневского, не связан непосредственным образом с обстоятельствами времени и места, обусловившими существование поэта, но продиктован самыми общими и непреходящими условиями метафизического свойства, осмысление которых составляло главное содержание его внутреннего мира. Тот же Брюсов правомерно усматривал в этой метафизической доминанте исключительную особенность творческой индивидуальности Коневского, отличавшую его от всех других поэтов его поколения, находившихся в орбите становящегося русского символизма: «Философские вопросы, которыми неотступно занята была его душа, не оставались для него отвлеченными проблемами, но просочились в его "мечты и думы", и его стихи просвечивают ими, как стебельки трав своим жизненным соком. Подобно всем своим сверстникам, деятелям нового искусства, Коневской искал двух вещей: свободы и силы. Но в то время как другие искали их в "преступлении границ", в разрешении себе всего, что почему-либо считается запретным, будь то в области морали или просто в стихосложении, — Коневской взял вопрос глубже. Он усмотрел рабство и бессилие человека не в условностях общежития, а в тех изначала навязанных нам отношениях к внешнему миру, с которыми мы приходим в бытие: в силе наследственности, в законах восприятия и мышления, в зависимости духа от тела»[2]. И далее

[1] Там же. С. XIII.
[2] Там же.

Брюсов приводит фрагменты одного из стихотворений Коневского, в котором внутреннее «я» автора раскрывается со всей наглядностью:

В крови моей — великое боренье.
О, кто мне скажет, что в моей крови?
Там собрались былые поколенья
И хором ропщут на меня: живи!

<..>
Ужель не сжалитесь, слепые тени?
За что попал я в гибельный ваш круг?
Зачем причастен я мечте растений,
Зачем же птица, зверь и скот мне друг?

Но знайте — мне открыта весть иная:
То — тайна, что немногим внушена.
Чрез вас рожден я, плод ваш пожиная.
Но родина мне — дальняя страна.

<..>
Не только кость и плоть от кости, плоти —
Я — самобытный и свободный дух.
Не покорить меня слепой работе,
Покуда огнь мой в сердце не потух.

Это стихотворение написано в 1899 г. Но сходное по сути своей сочетание поэтических смыслов мы встречаем и во фрагменте, относящемся к 1894 г. — начальной поре творческого самоопределения Коневского:

Я с жаждой ширины, с полнообразья жаждой
Умом обнять весь мир желал бы в миг один:
Представить себе вдруг род, вид, оттенок каждый
Всех чувств людских, и дел, и мысленных глубин.

Рано сформировавшийся мир поэтических образов Коневского в дальнейшем не обнаруживает отчетливо выраженных признаков внутренней эволюции — и это особенно наглядно проявляется на фоне других мастеров, заявивших о себе в 1890-е гг.: каждая новая книга Бальмонта или Брюсова, изданная в это десятилетие, манифестирует собой новый этап творческого развития автора, преемственно связанный с предыдущим, но в то же время отмеченный именно ему одному присущими особенностями; даже Александр Добролюбов, ушедший в 1898 г. из прежней обиходной и литературной жизни, в своем «Собрании стихов» (1900), составленном из текстов, написанных до «ухода», обнаруживает существенно иные черты поэтической образности, чем те, которые были заявлены в его дебютной книге «Natura

naturans. Natura naturata» (1895)[1]. У Коневского же все стихи, написанные после выхода в свет книги «Мечты и Думы», могли бы органично вписаться в ее состав, войти в нее в виде дополнительного раздела или нескольких разделов. Безгранично расширив пространство своего поэтического мира до метафизической беспредельности и вместе с тем ограничив его параметрами рефлектирующего сознания, обращенного к самому себе, Коневской оставил для себя лишь одну возможность творческой самореализации — погружения в глубину собственной индивидуальности. Ранняя гибель поэта, сделавшего лишь первые шаги на поприще литературной деятельности, дает основания для сожалений о том, чему не суждено было воплотиться: «...когда заново знакомишься со стихами и прозаическими размышлениями Коневского <...>, чувствуешь, какой творческой силой сделался бы он, живи еще — ну хотя бы лет десять!»[2] «Какое направление приняло бы его творчество впоследствии — это тайна, унесенная с собой смертью», — осторожно замечает его отец[3]. Разумеется, нельзя отрицать возможности, роковым образом нереализованной, движения от себя самого, воплотившегося в «Мечтах и Думах», к себе другому; и вместе с тем нельзя не констатировать, что в единственной книге Коневского и в последующих опытах его творческая личность нашла законченное и многостороннее воплощение, предстала как определившаяся и четко очерченная система философско-эстетического мировосприятия. Трудно предугадать, повторим вслед за отцом поэта, какими существенно новыми сторонами она могла бы развернуться.

Цельность «чающей и чующей» натуры Коневского сказывается не только в том, что каждое из его стихотворных произведений являет ту или иную грань единой поэтической системы, но и в заведомо несуверенном статусе этой системы по отношению к более универсальной общности — всему комплексу творческих опытов автора. Все, что выходит из-под его пера, — это в конечном счете «думы»: стихотворения в той же мере «думы», что и прозаические этюды, философские изыскания, заметки о литературе, критико-аналитические обзоры, дневниковые записи и даже письма, адресованные духовно и житейски близким людям. Сочетание стихотворений и прозаических произведений в одной книге имело и до Коневского целый ряд прецедентов (ближайший по времени образчик — сборник Ф. Сологуба «Рассказы и стихи, кн. 2», изданный в 1896 г.), но именно в «Мечтах и Думах» оно предстает как форма реализации выстроенного в согласии с хронологическим принципом творческого дневника, воплощающегося в различных литературных формах. Центральный раздел книги, «Умозрения странствий», составлен из прозаических этюдов, распределенных по двум

[1] См.: *Кобринский А. А.* «Жил на свете рыцарь бедный...» (Александр Добролюбов: слово и молчание) // Минский Николай, Добролюбов Александр. Стихотворения и поэмы. СПб., 2005. С. 444—445 («Новая Библиотека поэта»).
[2] *Маковский Сергей.* Портреты современников. С. 414.
[3] *Коневской Иван.* Стихи и проза. С. X.

частям — соответственно, 1897 и 1898 год, с примыкающей ко второй части статьей «Живопись Бёклина (Лирическая характеристика)», — в которых разворачиваются в различных формах медитативной прозы впечатления и размышления автора, вдохновленные двумя его летними путешествиями: природоописания соседствуют с эстетическими рефлексиями, порожденными современной нидерландской живописью, картинами Швинда, Бёрн-Джонса, Уоттса, Бёклина, росписями Владимирского собора в Киеве. Этот раздел книги еще обладает относительной самостоятельностью — рассекает на две неравные части раздел «Мельком», состоящий преимущественно из стихотворных текстов: подразделы I—V этого раздела предшествуют «Умозрениям странствий», подраздел VI замыкает книгу. Сдвоенный же («III. IV») подраздел в «Мельком», озаглавленный «Видения странствий» и столь же симметричный с «Умозрениями странствий» по содержанию и хронологическому членению (ч. 1 — «1897. Лето», ч. 2 — «1898. Весна и лето»), включает в себя стихотворения наряду с прозаическими этюдами; в их расположении друг за другом соблюден дневниковый принцип: последовательность отображенных в стихах и прозе «видений странствий» соответствует хронологическим вехам летних переездов автора. Если же принять во внимание, что в опубликованном варианте книга «Мечты и Думы» не вполне отвечала исходному замыслу, что из нее исключен раздел переводов в прозе, то можно говорить уже о трех составляющих этого единства, и по праву: переводы для Коневского — полноценные формы воплощения его собственных «дум», изложенные им на русском языке стихотворения и фрагменты иноязычных поэтов и мыслителей — такие же неотчуждаемые элементы его творчества, какими являются его оригинальные сочинения. Как провозглашал он сам в «Предисловии переводчика», «венца сподобится тот один, кто в своем единичном и личном бытии возмог обращаться в неисчислимое множество иных сущностей, но в каждой сущности ощущал заодно с вновь и впервые приятным все, что исстари с первых дней и от века ему было присуще, что был он сам»[1].

О том, что для Коневского не существовало средостений между текстами различной жанровой природы и целевого назначения, писал И. Г. Ямпольский; он сопоставил опубликованное им письмо к Вл. В. Гиппиусу (Люцерн, 2 июля 1898 г.), включавшее подробный рассказ о заграничном путешествии, с прозаическими этюдами из «Видений странствий» и «Умозрений странствий» и пришел к выводу о сходстве многих мотивов, манеры описания, деталей, фразовых конструкций[2]. Весьма любопытны и показательны в этом отношении записные книжки Коневского, в которых аккумулирована та первичная творческая плазма, которая позднее обретает свои индивидуальные очерта-

---

[1] Цитируется по копии, восходящей к собранию Н. Л. Степанова.
[2] См. предисловие И. Г. Ямпольского к публикации писем Коневского к Вл. В. Гиппиусу (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. С. 82—83).

ния в форме различных жанровых образований. Наряду с заметками деловыми и справочными в этих книжках фиксируются — и преобладают — записи творческого характера: наброски и полные тексты стихотворений, черновые и беловые, отвлеченные размышления и дневниковые заметки, содержащие более или менее развернутые описания впечатлений от произведений искусства и увиденных городов и местностей. Записная книжка осознается Коневским как прототекст для последующей работы, ведущей к оформлению исходного материала в соответствии с жанровыми, композиционными, стилевыми заданиями. Иногда записная книжка и внешне оказывается у него подобием внутренне организованного и тематически определенного текста. Так, записная книжка № 6 (нумерация обладателя) имеет заглавие «Лето 1897 г. Летопись странствия. II» (т. е. продолжение предыдущей книжки, озаглавленной «Летопись странствия. I. 4—28 июня»), а также эпиграф из Вордсворта, позднее предпосланный 1-й части раздела «Видения странствий», и обозначение хронологических рамок содержащихся записей («28 июня — 20 июля»)[1]. Совокупность этих записей может быть осмыслена как дневник, разнородный в жанрово-тематическом отношении. Стихотворные автографы чередуются с регистрационными записями, фиксирующими программы музыкальных вечеров и экспонаты музеев, путевые заметки, иногда посредством заглавий («Выход в долину Лихты и Шварцы», «Возвращение по нижней долине Шварцы» и т. п.) отделяемые от других записей в относительно самостоятельные и законченные прозаические микроэтюды, перемежаются «Мыслями» — отвлеченными рассуждениями, также вычленяемыми автором в особую рубрику (в 6-й записной книжке так озаглавлены семь пронумерованных им фрагментов). Некоторые из этих и подобных им фрагментов, содержащихся в других записных книжках, были впоследствии опубликованы в составе посмертного сборника Коневского (например, набросок в 7-й записной книжке, озаглавленный автором «Западная Европа и русский мир», был напечатан как раздел I цикла «Русь (Из летописи странствий)»[2]), некоторые вошли в «Мечты и Думы», иногда в переработанном и расширенном виде (как набросок без заглавия «Вся жизнь и знакомый нам мир...» в 5-й записной книжке, в печатной редакции под заглавием «Предательская храмина» открывающий цикл «Умозрения странствий»[3]), но зачастую без существенных изменений: так, разделы «Рейнский край», «Lore-Ley», «Гейдельбергский “Schloss”» во 2-й части «Умозрений странствий» восходят к столь же развернутым и литературно оформленным рассуждениям в 7-й записной книжке[4].

[1] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 19. Л. 1.
[2] Там же. Ед. хр. 25. Л. 17—18; *Коневской Иван.* Стихи и проза. С. 190—191.
[3] Там же. Ед. хр. 18. Л. 25 об. — 26 об.; Мечты и Думы Ивана Коневского. СПб., 1900. С. 93.
[4] См.: Там же. С. 136—139; РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 19 об. — 27 об.

Стихи являются равноправным, но отнюдь не главенствующим компонентом этого многосоставного дневникового целого. Вообще случаи противопоставления стихотворных и прозаических составных частей в корпусе текстов Коневского единичны: очевидный пример — относительно ранняя «небольшая поэма» (согласно авторскому обозначению) «Землетрясение», первая половина которой излагается стихами (регулярными четверостишиями пятистопного ямба), а вторая — прозой: сначала — благостные картины («день солнечный, сияющий и яркий»), впечатления от созерцаемого «сброда костюмов, лиц», затем, уже прозой, — собственно землетрясение, разверзающиеся бездны, образ гибели мира; в стихах воссоздается гармонический строй бытия, в прозе — сметающий его хаос. В общей же системе творчества Коневского стихи и проза дополняют друг друга, одна форма самовыражения оказывается естественным продолжением, разворачиванием другой. В стихах «думы» Коневского облекаются, как правило, в более концентрированные и интегрированные, по сравнению с его же прозой, образные построения и способы высказывания, в прозаических этюдах логически-дискурсивные ходы мысли более наглядны, подробнее прочерчены, дают более определенное представление о специфике авторского индивидуального сознания.

Небольшой прозаический этюд «Гейдельбергский "Schloss"» может быть привлечен в качестве иллюстрации, демонстрирующей механизмы творческого мышления Коневского. Текст разделен на три абзаца. Первый абзац содержит описание возвышающегося над Гейдельбергом феодального замка с фиксацией отдельных деталей и резюмирующей характеристикой: «...во всей этой пестроте и лепных украшениях явно сохранена четвероугольная, светлая и светская стройность общего построения дворца. Нас обступило зодчество Возрождения, роскошное, изнеженное, игривое и внутренно-стройное»; это — первичный слой постижения объекта, описание видимого и введение его в обозначенную культурно-историческую орбиту. Следующий абзац представляет собой попытку перейти от видимого к воображаемому, реконструировать в общих чертах умопостигаемую картину минувшего, слагающуюся из сочетания усвоенного посредством книжных источников и музейных экспонатов с аналитической авторской фантазией: «Здесь жил блестящий двор германских владетелей прирейнских краев во время германского "гуманизма". <...> Богатые достояния древних культур и их прямых наследников — южноевропейских народов здесь с жадностью присваивались тяжеловесными дебелыми князьями Германии с их меховыми мантиями и пушистыми бородами; и пиршественная утварь чистого итальянского изделия увивалась рейнскими виноградными лозами, и пфальцские вина лились рекой. Это было широкое роскошное время в этом светлом, живом краю мягких холмов, зеленеющих виноградниками и рощами, и долин, пестреющих богатыми городами. Много в треске и блеске его празднеств таилось странных смесей; с придворной манерностью и нарядным лоском не-

разрывно мешалось зверство и скотская порочность», и т. д. Наконец, все эти обобщенно очерченные, но насыщенные конкретными деталями образы прозреваемого исторического прошлого сменяются — в третьем, заключительном абзаце — переходом от заявленной частной темы, порожденной созерцанием Гейдельбергского замка, к синтезирующим умозаключениям, для которых ранее развернутые первичные впечатления и картины, возникавшие в авторском воображении, служили лишь необходимым первотолчком: «Так — всегда изо всех памятников Возрождения веет самой прихотливой разноцветностью тонов и составных частей. <...> Этот быт обаятелен, для вкусившего от всех образов человечества, своим небывалым ароматом, вышедшим из тонкого химического соединения между знаниями, созданиями и вымыслами самых разноличных племен и веков. В этом пряном вкусе совершается волшебная мечта — ощутить их всех не по-прежнему, порознь, а в единой совокупности»[1].

Все опыты творческой самореализации Коневского вдохновлены, по сути, одним импульсом — восприятия любого частного явления под знаком всеединства. Все его созерцания и «умозрения», отображенные в стихах и прозе, представляют собой апологию воспринимаемой реальности как совокупности отблесков мирового единства, в которых отображается предвечная Красота. «Πᾶν, Единство — безвидный водоем бытия, — провозглашает он в записи, датированной 30 мая 1897 г. — Силы разделительные, силы множественности действуют на него, подобно солнечным лучам на поверхность океана. Они высасывают из него влагу и отделяют ее от водного лона в виде постоянно расположенных смешаться, но уже в некоторой мере имеющих очертания испарений. Потом уже испарения эти еще более уплотняются в несколько обособленных друг от друга облачных клубов. Это — первые тени множественной жизни. Но великий Водоем бытия никогда не оскудевает, потому что он беспределен. Каждое испарение его вознаграждается новым притоком из беспредельности»[2]. Переживания предустановленной мировой гармонии, раскрывающейся Коневскому в творческих медитациях, обретают торжественную, одическую тональность, подобную ломоносовским размышлениям о «Божием величестве»:

И плавал он в сверкающих волнах,
И говорил: вода — моя стихия!
Ныряя в зыби, в хляби те глухие,
Как тешился он в мутных глубинах!
Там он в неистовых терялся снах.
Потом, стряхнув их волшебства лихие,
Опять всплывал, как божества морские,
В сознаньи ясном, в солнечных странах.
(«Сын солнца. 2. Среди волн»).

[1] Мечты и Думы Ивана Коневского. С. 138—139.
[2] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 32 об.

Коневской убежден в том, что (как формулирует в заметках к статье о нем его друг Н. М. Соколов) «человек должен уподобляться отрешенной красоте, т. е. представлять в высшем согласии соединение сознания своей личности с безграничным простором всех своих душевных качеств»[1]. И в то же время почти экстатические порывания к слиянию с всеединством сочетаются у поэта с осознанием своей индивидуальной отверженности от благой абсолютной субстанции, рождая разлады и противоречия в его душе. Стихийные, хаотические начала будоражат его внутренний мир, пытаются овладеть им, но встречают сопротивление и отпор:

Нет, не ликуй, коварная пучина!
Я — человек, ты — бытия причина,
Но мне святыня — цельный мой состав.
Пусть мир сулит безличия пустыня —
Стоит и в смерти стойкая твердыня,
Мой лик, стихии той себя не сдав.
(«Сын солнца. 4. Starres Ich»).

В конечном счете поэт, взыскующий полноты бытия и одновременно из этой полноты исходящий во всех своих жизненных восприятиях, приемлет и деструктивные, земные, плотские формы как необходимую составляющую динамического равновесия мировой гармонии. Эти начала окрашивают его мировосприятие в драматические тона, но вместе с тем обладают стимулирующей силой для роста и становления самосознания, для обретения духовной свободы. Многие произведения Коневского представляют собой диалог между различными голосами, звучащими внутри единого авторского «я», нескончаемый метафизический спор, как в одноименном стихотворении, в котором «вся толща вещественного бытия» (по формулировке Брюсова) осмысляется как необходимое условие постижения духовной субстанции:

Долго ль эту призрачную плоть
Из пустынь воздушных выдвигать?
Долго ль ею душу облагать,
Воздвигать ее, чтоб вновь бороть?

Без тебя безжизненно-волён,
Без тебя торжественно-уныл,
Я влекуся в плен твоих пелен
И тобой я — уж не то, что был.

<...>
Не престань меня в пяту колоть,
И затягивать, и вдаль гонять...

[1] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед.хр. 26. Л. 1а.

Так из века в век нас не разнять,
О творец мой и борец мой, плоть!
(«Спор»).

Метафизическое содержание в корпусе текстов Коневского не просто преобладает — оно главенствует, подчиняя себе любые конкретно определенные творческие задания. Как отмечал в уже цитировавшихся заметках Н. М. Соколов, «отличие Ореуса от поэтов старого времени — Тютчева, Фета и др. — в том, что он *сознал* и провел чрез *научно-философскую рефлексию* свое художеств<енное> созерцание, усиленно *развил* в себе чувство "бездны" <...> и стремился поддерживать его в себе непрерывно <...> При этом он насильно вводил в пределы своей личности разные настроения и старался проникаться всякими <...> во имя *расширения личности* <...>»[1]. Вбирая в себя «разные настроения», воспринятые благодаря освоению широчайшего круга литературных и иных источников, Коневской, однако, не выстраивал из них эклектическую совокупность, а неизменно пропускал сквозь реторту собственного «я». В своих стихах он, как справедливо подмечено, «создавал новый тип поэтического творчества, своеобразную "метапоэзию" — поэтическое философствование, в качестве главнейшего компонента включающее в себя "поэтическую рефлексию" о самой природе творчества на примере раскрывающего диалога с предшествующими поэтическими системами и образами»[2]. Те же начала «метапоэзии» Коневской стремился уловить и осмыслить в стихах своих старших современников, о чем свидетельствует, например, его статья «Стихотворная лирика в современной России»; «метапоэтические», мировоззрительные критерии были для него исходными и главенствующими при вынесении собственных критических вердиктов. В своих оценках творческих достижений Фофанова, Минского, Мережковского и других мастеров Коневской старается сохранять безупречную объективность и толерантность — и вместе с тем он неизменно остается верен собственным критериям, собственному «я», которое для него не может не быть на первом плане. Разные поэтические лики, воссоздаваемые им в этой обзорной статье, обладают — при всей глубине и тонкости отдельных наблюдений — очевидным сходством между собой, и это не удивительно: все они — прежде всего феномены, рождаемые аналитическим сознанием автора. В представленной галерее литературных портретов, в характеристиках «чужих» стихов, в цитатах из них, влившихся в текст статьи, отображаются, как в зеркале, собственные стихи Коневского, насыщенные возвышенно-риторическими размышлениями и признаниями о разладах и противоречиях души, понимаемых и освящаемых как необходимая составляющая мировой динамической гармонии.

---

[1] Там же. Л. 2.

[2] *Грякалов А. А., Дорохов Ю. Ю.* От структурализма к деконструкции (Западные эстетические теории 70—80-х годов XX века) // Русская литература. 1990. № 1. С. 244.

«Мировоззрение поэзии» — главное и едва ли не единственное, что привлекает внимание Коневского к поэзии вообще. Его статья о Н. Ф. Щербине, ярче всего выразившем себя как автор антологических стихотворений, вариаций на античные темы, а также как сатирик, юморист и эпиграмматист, озаглавлена «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины»; эстетические влечения и достижения поэта трактуются в ней как отблески целостного философского миропонимания, им самим, видимо, не осознанного и не обоснованного, но реконструированного его пытливым интерпретатором: «В кругозоре Щербины поэзия и пластика классической древности были наиболее совершенным образом такого мировоззрения, в котором — с одной стороны — вся стихийная вселенная представляется *мирозданием*, в самом полном смысле этого слова, целокупной красотой, необъятным живым существом, а с другой стороны — идеальные человеческие облики, все устроенные, отчетливые оболочки, изъявляют все необъятное величие внешнего мира. По этому мировоззрению — во всякой части есть целое, всё, бесконечность, и в бесконечности, во всем, в целом есть всякая часть»[1]. Чей облик отчетливее проступает за этими предельно обобщенными аттестациями — Щербины или самого Коневского?

А. К. Толстой, творческая личность еще более широкого диапазона, чем у Щербины, опять же, близок Коневскому прежде всего «мировоззрительными» элементами, сосредоточенными наиболее интенсивно в драматической поэме «Дон Жуан». Прорицания Духов из этого произведения могли бы стать эпиграфом ко всей поэзии Коневского, аккумулируя в себе основной ее смысл и пафос:

Едино, цельно, неделимо,
Полно созданья своего,
Над ним и в нем невозмутимо,
Царит от века божество.
Осуществилося в нем ясно,
Чего постичь не мог никто:
Несогласимое согласно,
С грядущим прошлое слито,
Совместно творчество с покоем,
С невозмутимостью любовь,
И возникают вечным строем
Ее созданья вновь и вновь[2].

---

[1] Северные Цветы на 1902 год. М., 1902. С. 195. В этой посмертной публикации статья «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины» дана в сокращении, полный ее текст — в архиве Коневского (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 16).

[2] *Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1963. Т. 2. С. 88. Приводя слова небесных духов из «Дон Жуана» Толстого, О. Ронен справедливо указывает, что историко-литературное значение этой драматической поэмы «определяется не ее генезисом, а ролью, которую она сыграла в поэзии позднейшего времени», и проводит непосредственные парал-

Коневской приводит эти строки в философском этюде «Общие космологические основы моего мировоззрения» (октябрь 1896 г.)[1]. В набросках аналитической статьи об А. К. Толстом (один из вариантов заглавия: «Поэзия Алексея Толстого — ее положение в ходе русской стихотворной мысли») он рассуждает о проявлениях индивидуализма у Толстого и о близости его метафизики к учению Платона, об отражении в его самосознании «любви мировой» и об иных отвлеченных материях: «...этот поэт полон борьбы за личность и неудовлетворенных порывов ее в состоянии несовершенном. Тем большей восполненности и удовлетворения достигает он в идеале. Его откровения сущности, божества, это — такие состояния, в которых нет больше желаний дальнейшего, будущего, иного неизвестного, полное безразличие, равнодушие воли, и в то же время — "творчество", "пыл", значит — развитие, значит — развитие, движение, открытие новых составов и форм»[2]. Аналогичным образом интерпретируется поэтический облик Кольцова, в стихотворчестве которого Коневскому ближе и ценнее всего то, чем он в наименьшей мере запечатлелся в читательском сознании, — философские «думы»: «В Думах Кольцова кругозор степи развертывается вольным размахом в поднебесную ширь горизонта вечных тайн. <...> Под оглушительным дыханием вечного неведомого вихря его обуял трепет ужаса перед новыми исполинскими силами, которые ему угрожали, и ничтожеством своего человеческого тела, воли, мысли и чувства. Мироздание предстало перед ним как лютый враг и противник, как неведомое чудовище, как бездушная громада, которая оказывает на человека уничтожающее давление. И так лучше всего загорелся он мечтой самому померяться своими частными силами с сокрушительными могуществами мировых сил в незапамятных и нескончаемых их порядках и расположениях» («А. В. Кольцов (личная его природа и строй мыслей)», 1900)[3]. Во всех подобных случаях эстетическая конкретика, позволяющая судить о «лица необщем выраженье» каждой поэтической индивидуальности, не занимает Коневского сама по себе, она привлекает его внимание прежде всего открывающейся возможностью перенестись от нее в область универсальных понятий и абстрактных категорий, отображающихся в веренице возводимых им условных метафорических построений.

Среди русских авторов Коневского прежде всего влекут к себе, разумеется, те поэты, для которых философская проблематика составляет основу и главный внутренний смысл творчества. Самое почитаемое имя — Тютчев: анализом его поэтического мировидения открывается статья Коневского «Мистическое чувство в русской

лели с Вл. Соловьевым и Вяч. Ивановым (*Ронен Омри*. Литературно-историческое значение драмы гр. А. К. Толстого «Дон Жуан» // Шиповник. Историко-филологический сборник к 60-летию Романа Давидовича Тименчика. М., 2005. С. 385—386).

[1] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 31.

[2] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 11. Л. 3 об.

[3] Там же. Ед. хр. 15. Л. 26.

лирике» (1900). Наряду с Пушкиным Тютчев осмысляется в ней как «первоначальный русский поэт», отважившийся погрузиться в «бездну» — «бытие безначальное и бесконечное» — и тем самым постичь и передать глубочайшие тайны ищущего духа: «Тютчев ощущал вечность движения, движение вечности, то есть вечность, переходящую из точки в точку и из мига в миг, вечность, сущую в пространстве и во времени. Его прозрящее созерцание мироздания не разрешилось ни во что иное, как в это зияющее из века в век внутреннее противомыслие»[1]. В очередной раз нам предоставляется возможность убедиться, как, погружаясь в Тютчева, Коневской познает самого себя. Н. К. Гудзий, исследовавший влияния Тютчева на поэзию конца XIX — начала XX века, пришел к выводу, что из ранних русских символистов наиболее органически связан с ним был именно Коневской[2]; он указывает на очевидные заимствования тютчевских тем, образов и фразеологии в стихотворении «Природа...»:

И вдруг кругом меня всё тишь святая,
Как суша, все незыблемо стоит,
И, красотой бесстрастною блистая,
Из недр своих природа жизнь струит,
и т. д. —

обнаруживающим аналогии со стихотворением Тютчева «Певучесть есть в морских волнах...», усматривает вариацию тютчевского «Полдня»:

Лениво дышит полдень мглистый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.

И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф спокойно дремлет —

в стихотворении Коневского «Душный час»:

Таинство душное дышит
В полдень, в сосновом бору.
Зноем так воздух и пышет.
Небо в кипучем жару.

---

[1] *Коневской Иван.* Стихи и проза. С. 199, 203, 204.
[2] См.: *Гудзий Н. К.* Тютчев в поэтической культуре русского символизма // Известия по русскому языку и словесности АН СССР. 1930. Т. III. № 2. С. 480—488. См. также: *Grossman Joan Delaney.* Ivan Konevskoi's Tiutchevan Pilgrimage // O Rus! Studia litteraria slavica in honorem Hugh McLean. Berkeley Slavic Specialties, 1995. P. 398—405.

Запах брожения плоти,
    Дикий, смолисто-сухой.
Млеет во влажной дремоте
    Мир сладострастно-глухой. —

прослеживает целый ряд других параллелей, включающих формы повторений и анафоры, ораторские приемы речи, составные эпитеты и др.

Вровень с Тютчевым для Коневского встает другой поэт-мыслитель — Баратынский. В эпоху, когда подлинный масштаб творчества этого мастера был осознан еще очень немногими, Коневской расценивал его стихи в ряду наивысших достижений русского поэтического слова. Баратынский в его восприятии — гениальная личность, опередившая свое время, не понятая Белинским — «апостолом земного благоденствия, основанного на разумной энергии»[1], — а также и его последователями, критиками-утилитаристами, длительное время определявшими и ограничивавшими кругозор читающей публики. В 1900 г. в связи с юбилеем Баратынского Коневской попытался обозначить, опять же в своем привычном абстрактно-умозрительном ключе, основные черты «мировоззрения поэзии» любимого автора, которые в очередной раз оказываются зеркальным отображением его собственного мировоззрения — если не во всей полноте, то по крайней мере во многих существенных аспектах, и прежде всего в осмыслении трагического диссонанса между самосознанием индивидуального «я» и надличностным мировым началом: «19-го февраля нынешнего года исполнилось 100 лет со дня рождения одного из величайших русских поэтов Е. А. Баратынского. В русской поэзии это — первый по времени и по силе таланта поэт, который сознал в своем творчестве *безысходное* состояние человеческой природы. Он пережил всю скорбь этого сознания и вместе с тем нашел некоторый исход не из самого сознания, но из скорби, которая им внушается. Живее и прежде всего он ощущал *ограниченность* человека во всех его ощущениях, как в деятельности познания, так и в деятельности инстинктов. Первоначальным источником душевной боли была для него *зависимость* всех предметов восприятия и желания от не им установленных порядков. Тоска Баратынского — это жажда *бесконечного* бытия, бесконечного счастья и свободы и сознание ограниченности и конечности всех предметов ощущения — воли и разума»[2].

Баратынский чрезвычайно близок Коневскому в равной мере как содержанием и тональностью поэтических медитаций, так и самим творческим методом, в котором главенствующую роль играло рефлектирующее начало:

---

[1] *Коневской И.* Судьбы Баратынского в истории русской поэзии // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 12. Л. 9 об.
[2] Там же. Л. 33.

Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!
О жрец ее! тебе забвенья нет;
Всё тут, да тут и человек, и свет,
И смерть, и жизнь, и правда без покрова.
Резец, орган, *кисть*! счастлив, кто влеком
К ним чувственным, за грань их не ступая!
Есть хмель ему на празднике мирском!
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.

Апология мысли, провозглашаемая в этом стихотворении Баратынского, всецело отвечает магистральным и сокровеннейшим творческим идеалам Коневского. Столь же привлекательна для молодого поэта-символиста явленная здесь словесная фактура с ее четко обозначенными семантическими контурами в прямых номинациях и в метафорических уподоблениях; отвечает его личным предпочтениям и утяжеленный стих: пятистопный ямб у Баратынского интенсивно дополняется сверхсхемными ударениями — спондеями (выше соответствующие лексемы выделены курсивом), и Коневской в собственных поэтических опытах продемонстрирует аналогичную склонность: «Ты слово знал. В нем свет, в нем жар, в нем — влаги бой» («Старшие богатыри», II) — к шести ударным слогам строки шестистопного ямба добавляются три сверхсхемных ударения. Н. Л. Степанов справедливо заключает: «От Баратынского у Коневского подчеркнутая точность словоупотребления и образа, сочетающаяся с некоторой риторичностью стиха, которая отличает такие “раздумья” Баратынского, как “Последняя смерть” или “Осень” с их архаическим словарем и торжественностью одической интонации. Такие стихи Коневского, как, например, “По дням”:

Сияющие дни, родные встречи,
И днесь, и искони —
Постигну ль тайну ясной вашей речи,
Сияющие дни? —

кажутся как бы написанными современником Баратынского. Даже самая строфическая форма и размер этого стихотворения Коневского воспроизводит аналогичную систему стихотворения Баратынского (чередование пятистопного и трехстопного ямба):

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!

Точно так же и словарь Коневского (“юдоль”, “селянин”, “дебри”, “краса”, “злак” и т. д.) восходит к стихам Баратынского»[1].

[1] Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 192.

Как и для Баратынского, поэтическое слово значимо для Коневского прежде всего в силу своей способности быть вместилищем мысли и формой ее развития и углубления. Мыслью охватывается все многообразие явлений и человеческих представлений о них, фиксируемое в слове, которому Коневской вознес свою осанну в небольшом прозаическом этюде (1900): «Слова речей и языков — они измышлены прорицателями, вещунами и чародеями. В слове бесконечно великое совмещено с бесконечно малым. Вся полнота и широта мыслей, стремлений, побуждений, расположений, образов, звуков, вкусов, запахов, прикосновений, ощущений напряжения мышц, тепла и холода — сосредоточена, сжата в этих крупицах, условных звуковых значках. Волшебная власть их в том именно, что у каждого из них есть значение вещественное, вполне твердое и устойчивое; они не расплывчаты, как звуки музыки, и вместе с тем в этом твердом составе скрыты неисчислимые и неисследимые, призрачные глубины, оттенки, тени и дымки: эти твердые печатки, монетки и слепки бесконечно сжимаемы и растяжимы, то есть упруги. В этих вещественных, замкнутых подобиях, идолах (εἴδωλα) — вся необъятная полнота духа и Бога»[1].

Забота о возможно более точном, веском, семантически емком словесном воплощении мысли в творческих опытах Коневского всегда присутствует на первом плане. Многие беловые рукописи его стихотворных и прозаических произведений содержат незачеркнутые варианты — приписанные над словами основного текста слова-дубликаты, отражающие колебания автора относительно того, какому нюансу смысла следует отдать предпочтение при выборе одной из двух близких или сходных по значению лексических единиц. В этом смысле весьма любопытны вариативные элементы в автографах стихотворений Коневского. Такие варианты относительно немногочисленны — в особенности при сопоставлении с творческим наследием тех поэтов, которые были склонны радикально перерабатывать свои произведения, — но весьма характерны отразившимся в них стремлением подыскать слово или высказывание, наиболее точно формулирующее вынашиваемую поэтическую мысль. Так, черновой автограф стихотворения, опубликованного под заглавием «Недоумение»[2], содержит три варианта заглавия — первоначальное, зачеркнутое («Тревога») и еще два незачеркнутых, записанных в один ряд («Боязнь» и «Смущение»): автор колеблется между двумя словами, по-разному передающими общий, синтезирующий смысл текста; предпочтение же было отдано четвертому варианту. Собственно в тексте того же стихотворения — сходные колебания, отражающие поиск наиболее адекватного слова. В двустишии «И нет всего, что дух лишь заклинает, // Проникнутый собой?» вторая строка заменяется в черновом автографе на «Влекомый лишь собой?», а в печатной редакции — на «Заворожен собой?». Заключительные строки в первоначальной записи: «Предстанет ли

[1] *Коневской Иван.* Стихи и проза. С. 226—227.
[2] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 21.

природы откровенье, // Иль снова дни пойдут?»; первая из этих строк исправляется: «Настанет ли кончины откровенье»; окончательная версия: «Настанет ли навеки откровенье, // Иль снова дни уйдут?» Черновых текстов стихотворений Коневского сохранилось не слишком много (в основном те, которые содержатся в его записных книжках), однако и представленные в большем объеме беловые автографы свидетельствуют о том, что автор при подготовке их к печати часто вносил правку — заменял отдельные слова и фразы, не нарушая общей изначально сложившейся художественной структуры и руководствуясь лишь стремлением к предельной образно-семантической отчетливости, филигранности поэтического высказывания.

Д. П. Святополк-Мирский относит Коневского к тому типу поэтов, чье творчество «складывается не из переживаний и настроений, а из объективированных образов и мыслительных обобщений»; по мнению критика, в русской поэзии этот тип мало представлен: до Коневского — Ломоносовым и Случевским, после Коневского — Хлебниковым[1]. Такое соединение упомянутых четырех поэтов может показаться произвольным, но едва ли опровержима мысль о том, что стихам Коневского трудно подыскать аналогии в творческих опытах его сверстников. И в своем понимании задач, стоящих перед поэтическим творчеством, Коневской занимал особую позицию в кругу русских символистов. Брюсов отмечает: «Коневской был совершенно чужд того *культа формы* в поэзии, которому мы, москвичи, служили тогда до самозабвения. В последнем счете для Коневского поэзия все же была только *средство*, а никак не "самоцель". В каком бы то ни было смысле формула "искусство для искусства" была для Коневского неприемлема и даже нестерпима»[2]. В своей мистической устремленности к постижению мирового всеединства Коневской также стоял особняком среди деятелей «нового» искусства, сформировавшихся в 1890-е гг., во многом предвосхищая творческие искания символистов «второй волны», заявивших о себе в литературе в первые годы XX века, — Александра Блока, Андрея Белого, Вячеслава Иванова. Поэтические дерзания, не исполненные высшего смысла, не вписывающиеся в обобщающую философскую перспективу, представляются ему ненужными, не имеющими никакой серьезной значимости, и с этой ригористической точки зрения он пристрастно оценивает произведения других приверженцев символистского направления. Глубокого содержания для него исполнены творческие устремления А. Добролюбова: «...Создано им было особое творчество — не художественное и не научное, а составленное из отражений и теней, с одной стороны — от внешних впечатлений и настроений воображения, с другой стороны — от понятий и обобщений отвлеченной мысли» («К исследованию личности Александра Добролюбова», 1899)[3]. Самой

---

[1] *Святополк-Мирский Д. П.* Поэты и Россия. С. 202 («Велимир Хлебников», 1935).

[2] *Брюсов Валерий.* Среди стихов. С. 483.

[3] *Коневской Иван.* Стихи и проза. С. 197.

высокой оценки удостаивается Федор Сологуб, мастер точного и неизукрашенного поэтического слова (в письме к нему Коневской признается: «Я верую в святость Вашего творчества»[1]). Стихи Брюсова Коневской принимает строго избирательно: наряду с высокими оценками высказывает — нередко в непререкаемом тоне — критические замечания; таковых в его письмах к Брюсову имеется множество. Сугубо формальные искания, благодаря которым стараниями символистов на рубеже XIX—XX веков произошло радикальное обновление русской поэзии, чужды Коневскому именно в силу своего панэстетизма, провозглашающего взамен «мировоззрения поэзии» самоценные художественные цели, и поэт, наиболее ярко и полно отразивший эти тенденции в своем творчестве, — К. Д. Бальмонт, — со временем начинает вызывать у него все более резкое неприятие. Для альманаха «Северные Цветы» Коневской предложил в ноябре 1900 г. «краткую эпиграмму» (которая тогда осталась неопубликованной), содержащую отзыв о книге Бальмонта «Горящие здания»: «Поэт говорит во вступительном стихотворении к сборнику: я хочу кричащих бурь. В этом обозначении исчерпана сущность его новой поэзии. Бури г. Бальмонта не воют, не ропщут, не бушуют, а кричат, визжат, орут "благим матом", как теленок, которого режут, или "караул!", как прохожий, на которого напали мазурики <...> визг не умолкает на протяжении нескольких сотен страниц, и критику остается поплотнее заткнуть уши»[2].

В том же году Коневской занес в записную книжку несколько заметок с обозначением «К размышлению», среди них — фраза: «Поэзии не подобает иметь тяготения к иному центру тяжести — ей подобает иметь центр тяжести в самой себе»[3]. Этот «центр тяжести», однако, в понимании Коневского должен был быть метафизическим, «тайнозрительным» по своей природе, и какие-либо отклонения от него влекли — в частности, по его убеждению, автора «Горящих зданий» — к ложным, «мишурным» целям. Бальмонт был для него далеко не единственным мастером слова, соблазнившимся праздными эстетическими эффектами; аналогичный счет Коневской предъявлял и писателям, обладавшим к тому времени в литературе самой высокой репутацией, — например, Виктору Гюго, «мишурному пророку» («весь запас его художественных орудий — ослепительная мишура»), Альфреду де Мюссе («этот ничего не видит кругом себя, и умеет только, сидя в своем парижском будуаре, то плаксиво, то игриво копаться в своих амурных чувствицах и словоохотливо болтать о них»)[4], а также Гейне, Гофману, Шамиссо и Уланду, совокупно аттестованным как «дешевые, внешние и даже поддельные выразители»[5]. Все эти решительные и,

[1] Письмо от 7 июня 1901 г. // ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 509.
[2] Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 520.
[3] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 29. Л. 43 об.
[4] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 18 об., 67.
[5] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 30.

безусловно, самонадеянные приговоры, свидетельствующие в иных случаях о способности к метким (но не точным и уж никак не верным) обобщающим характеристикам, позволяют заключить, что и в отношении к современной русской литературной жизни Коневской ощущал себя совершенно независимым и не собирался считаться с ее условностями, традициями и приоритетами.

По эмоциональной тональности и общей колористической гамме поэзия Коневского резко контрастирует с доминировавшими в русском стихотворчестве последней трети XIX века темами и настроениями. Надсоновские ламентации, в которых преобладали мотивы отчаяния, уныния, усталости, еще звучали в полный голос и имели свою благодарную аудиторию читателей и подражателей; стихи же непризнанных «декадентов» в большинстве своем также отражали тот тип мироощущения, который по существу не диссонировал с «мечтами и звуками» эпохи «безвременья». Избрав заглавие «От солнца к солнцу» для своего первого поэтического цикла, опубликованного в «Книге раздумий», Коневской заявлял о приверженности к кардинально иному философско-эстетическому мировоззрению, одновременно предвосхищая те тенденции, которые возобладают и у других представителей «нового» искусства в самом скором времени (книга Бальмонта «Будем как Солнце» выйдет в свет в конце 1902 г.). Пафос оптимистического приятия мира пронизывает все поэтическое творчество Коневского. Один из критиков справедливо видит его основной импульс в «панкосмической жажде существования», которая создает из Коневского «настоящего, призванного, стихийного поэта», способного передавать «самые мельчайшие вибрации мирового дыхания»: «В его поэзии играет и бьется нерв чисто-растительной радости, слышен пульс какого-то органического восторга перед величьем и красотой мироздания. Более цельного, экстатического отношения к природе я не запомню в нашей молодой поэзии»[1].

В резкой оппозиции по отношению к старшим современникам Коневской выступает и в аспекте поэтической стилистики. Деградацию традиционного русского стиха, который в массовой эпигонской продукции конца XIX века стал вместилищем отработанного словесного шлака, живо ощущали многие представители «нового» искусства и в своих исканиях, зачастую радикально-дерзновенных, осваивали новую поэтическую семантику, новую звукопись, новые формы метрико-ритмической организации. Коневской в стихотворных опытах также был радикален, но опять же на свой особенный лад: его новое слово — в реставрации, воскрешении слов, выражений, синтаксических конструкций очень старых, в большинстве своем вышедших из

---

[1] *Крымский С.* Неизвестный поэт // Семья. 1904. № 6, 8 февраля. С. 10, 11. Убедительно предположение о том, что под этим псевдонимом выступал журналист С. Г. Кара-Мурза (см.: *Мордерер В. Я.* Блок и Иван Коневской // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 174).

живого употребления и не востребованных современной ему поэзией; словесная «пыль веков» для него — родная и стимулирующая творческая аура. Н. Л. Степанов, анализируя язык и стиль Коневского, характеризует его как последовательного архаиста[1]. Столь однозначная аттестация вполне закономерна для автора, работавшего в 1930-е гг., безусловно, под обаянием концепций, обоснованных Тыняновым в «Архаистах и новаторах» (1929), она недооценивает значимость тех живительных токов, которыми обогащали поэзию Коневского новейшие мастера, и прежде всего французские и бельгийские символисты, оказавшие на него исключительно сильное воздействие. Но в целом интерпретация Коневского как убежденного архаиста соответствует действительности. В этом отношении примечательно, что именно «архаические» черты и вообще затрудненная речь были главным препятствием для установления контактов между его творчеством и читательской средой.

Предисловие Коневского к «Собранию стихов» А. Добролюбова обратило на себя внимание критиков исключительно «тяжелым и странным слогом» (Д. П. Шестаков)[2], «деланною вычурностью и неясностью выражений», прикрывающими «бедность и неясность мысли» (А. М. Ловягин)[3]. Те же акценты — в откликах на посмертный сборник «Стихов и прозы» Коневского: «тяжелая речь»[4], «нелепый набор слов» (Н. П. Ашешов)[5]. Поступиться этими особенностями индивидуального стиля поэт не хотел, да, видимо, и не мог: представлены они были, как и все, что он делал, по глубоко осознанному убеждению. Ореус-отец заключает: «Понемногу выработался у Коневского свой собственный, своеобразный слог, во многом не удовлетворявший “академическим” требованиям. Язык Коневского отличается меткостью эпитетов, верностью образов, красивыми сочетаниями звуков, но синтаксис его запутан. Любил Коневской устаревшие, славянские слова и обороты, в стихах употреблял даже усеченные прилагательные. <...> Этот непривычный нашему времени язык возбуждал против себя много нареканий, но Коневской упорно его держался и против всяких посторонних поправок горячо протестовал»[6].

Индивидуальная манера, сформировавшаяся у Коневского, стала для него единственно возможной формой высказывания: в стихах она продемонстрирована с той же отчетливостью, что и в прозаических этюдах, философских записях, критико-аналитических статьях, дневниковых заметках и письмах (Брюсов свидетельствует, что тот же слог Коневской употреблял и в «дружеских беседах»[7]). В поэтической практике приметы этого архаизированного, синтаксически усложнен-

[1] См.: Там же. С. 192-194.
[2] Мир Искусства. 1900. Т. III. Отд. II. С. 242.
[3] Литературный Вестник. 1901. Т. I. Кн. IV. С. 451.
[4] Русская Мысль. 1904. № 6. Отд. III. С. 172. Без подписи.
[5] Образование. 1904. № 3. Отд. III. С. 137.
[6] *Коневской Иван.* Стихи и проза. С. IX—X.
[7] *Брюсов Валерий.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 248.

ного, нестандартного слога служили формой творческого самоопределения на фоне преобладавшего трафаретного стихослагательства, обнаруживавшего «легкость необыкновенную» в мыслях и образных построениях. « "Я люблю, чтобы стих был несколько корявым", — говорил сам Коневской, которого раздражала беглая гладкость многих современных стихов. И этой "корявости" он, конечно, достигал, и не один читатель затруднится, читая строки вроде:

И был бы мир — венец, что Вечность — шар державы, —

или:

И так бы превозмог мест, сроков протяженье...» —

пишет Брюсов в своем очерке о поэте[1]. Д. П. Святополк-Мирский упоминает о «прекрасной корявости» Коневского[2], но эта особенность вызывала приятие не у всех ценителей его поэзии (например, С. К. Маковский замечает, что «рядом с проблесками гениальности в его стихах много выраженного нечетко, наивно-замысловато», указывает на «неудачные словесные выдумки и попросту ошибки» в словоупотреблении[3]).

В силу отмеченных особенностей стихотворения Коневского вряд ли способны когда-либо завоевать признание и популярность в самых широких читательских кругах, однако их уникальному своеобразию сумеет отдать должное любой искушенный ценитель поэтического слова. Согласно проницательному наблюдению А. А. Смирнова, в архаизаторской тенденции и утяжеленном слоге Коневского на свой лад отображается «глубокая, безусловная искренность» автора, раскрывающего свою «детски-чистую» душу: «С этой искренностью, с этой чистотой ему не страшны никакие трудности, никакие запреты; с ней он преступает все пределы, и не останавливается, не дойдя до конца. Отсюда — его торжественный, изукрашенный слог, запутанный синтаксис, архаизмы. Красивые, громоздкие, шероховатые стихи его часто производят впечатление недостаточной отделки, обработки, какого-то импрессионизма формы; но если вчитаться в них, становится ясной невозможность изменить хотя бы одно слово. Витиеватая, затейливая форма не выдумана, не создана искусственно Коневским, но возникла естественно, необходимо, в силу его торжественного, проникновенного отношения к своим темам»[4]. Эта индивидуальная поэтическая стилистика вбирает в себя широкий спектр составляющих: активно эксплуатируемый арсенал «архаических» поэтических средств, заим-

---

[1] *Брюсов Валерий.* Среди стихов. С. 494.
[2] *Святополк-Мирский Д. П.* Поэты и Россия. С. 105 (Предисловие к антологии «Русская лирика», 1924).
[3] *Маковский Сергей.* Портреты современников. С. 412.
[4] *Смирнов А.* Поэт бесплотия // Мир Искусства. 1904. № 4. С. 82.

ствованный из «золотого века» русской литературы и из еще более ранней, риторико-одической традиции, сочетается с опытами обновления стиховой фактуры, родственными тем, которые осуществляли его современники-символисты, а также представители следующего поэтического поколения. Н. Л. Степанов указывает на ряд примеров нарушения у Коневского метрических схем, на тяготение его к дольнику и свободному стиху, на использование звуковых повторов и паронимов — сочетаний фонетически парных, но далеких по значению слов; приводит, в частности, строку из стихотворения «Порывы» («Здесь жестоко наш прах цепенеет»), замененную другим вариантом: «Ведь жестоко здесь кости коснеют» — «именно для большей звуковой крепости и организованности»[1].

В своих поэтических медитациях Коневской всегда старается следовать основному исходному принципу — фиксировать исключительно те наблюдения, впечатления и размышления, которые поддаются отражению в сфере отвлеченного умозрения. Образцов так называемой «интимной» лирики, продиктованных сокровенными личными переживаниями, в его стихах почти не встречается, а если реальная жизнь все же сталкивала его с проблемами подобного рода, разрешение их переадресовывалось в ту же метафизическую плоскость. Ею, в частности, было поглощено то, по-видимому, по своей первичной сути любовное чувство, которое на какое-то время внесло определенную сумятицу в его внутренний мир. Жизненной установке, сформулированной в строках стихотворения «Многим в ответ» (1897):

Я не любил. Не мог всей шири духа
В одном лице я женском заключить —

суждено было подвергнуться испытанию, когда он зимой 1898—1899 г. познакомился с Анной Николаевной Гиппиус, младшей сестрой З. Н. Гиппиус. Как свидетельствует Брюсов, «Коневской влюбился самым обычным образом и должен был признаться:

Нет! один я — не все мирозданье.
Выйди, мой воплощенный двойник!

В последнем поэт ошибался: та, кого он любил, отнюдь не была “его воплощенным двойником”. Напротив, ей было органически чуждо все особенно дорогое и близкое Коневскому: его миросозерцание, его любимые авторы, его постоянная углубленность <...> Любовь поэта-философа не встретила взаимности»[2]. Осознание того, что «воплощенный двойник» на самом деле таковым не является, привело к прекращению едва завязавшихся отношений: об этом свидетельствует

[1] Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 198.
[2] *Брюсов Валерий*. Среди стихов. С. 488.

письмо Коневского к А. Я. Билибину (июль 1899 г.), в котором излагаются основные сопутствующие обстоятельства[1]. Несколько стихотворений Коневского, отразивших эти переживания, несут на себе отпечаток внутреннего драматизма:

Я расточал блага своих мечтаний,
Я в тысячи лучей их разбивал.
Построил много радужных я зданий —
И ветер жизни в прах их развевал
(«Волне́ния», 2; 1899), —

[1] Ср.: «...был еще эпизод в моей жизни, давший несколько глубоко волнующих и возбуждающих минут, но совершенно загадочных последствий. Не знаю, последний ли это отзвук, или отзвук нового. Я сам вызвал его, и, конечно, именно в виду этой же неизвестности результатов. Известной тебе дриаде, А. Н. Г., я отправил письмо. В нем означалось, "что перед тем, чтобы окончательно отречься от личного с ней общения, не могу не высказать ей несколько прощальных слов". Далее мотивировалось такое заявление тем, что мне слишком тяжело являться перед открытой, звонкой силой ее души, тела, когда те же самые мысли и чувства, которые высказывались в стихах, ей посвященных, и в письме, их сопровождающем, из быстрых, прозрачных, играющих на свете солнца струй обратились в необъятные мутные дымки, и это — несмотря на то, что они не перестают носиться в моей душе такими смутными, светлыми облаками. Потом выражалось, что ей предстоит большая бурная борьба в широкие дни и яркие ночи. Это — борьба, конечно, за новые ощущения жизни, за расширение каждого мгновения в бесконечность, против Времени и всякой ограниченности. <...> В эти слова вплетались некоторые общие мысли о существенных направлениях борьбы с личной ограниченностью и разграниченностью предметов (то есть с Пространством и с Временем). Заканчивалось письмо выражением надежды на то, что она не откажется всегда считать меня своим другом. На это письмо последовал ответ, замечательный по цельности мировоззрения и отчетливой явственности его выражения. Моим мыслям о вмещении всего частного, что было и есть в жизни личности, в одном миге (преодолении времени вдоль) и перевоплощении личности во все окружающее (преодоление времени поперек) противопоставлялось учение о познании вечного и единого во всем множестве частных изменений, одностороннее, но всегда, конечно, великое. Изложение этих мыслей сопровождалось выражением неприятного удивления перед моим решением отречься от личного с ней общения и надеждой на дружеское с ее стороны расположение: "Это противоречие — объясните" <...> В ответ на это письмо я распространился в самых обстоятельных рассуждениях о своем мировоззрении — совмещении всех противоположностей мышления. <...> В заключение я указывал на настоятельную, несмотря на все, необходимость отстраниться от личного знакомства: ссылаясь на прекрасное замечание ее: "поймите, какая огромная разница — понимать и переживать", я говорил: быть может, мы оба слишком далеки от переживания того, что мы понимаем; и нам слишком стыдно за свое настоящее перед обетованиями будущего» (Цитируется по копии, восходящей к собранию Н. Л. Степанова).

однако эти ноты не вносят кардинального разлада в общую систему мировидения. Строки из цитировавшегося выше стихотворения «Многим в ответ»: «Но девы лик и сны вселенной — братья: // К единому всё диву я парил» — ознаменовали разрешение обозначившейся личной коллизии: «девы лик» поглощался «единым дивом»; следующие строки того же стихотворения: «Так — обнимусь я с женской красотою, // Но через миг — с горой или с ручьем» — уже намечали иерархию ценностей, в которой экстазы, переживаемые при соединении с природой, определенно обретали высший статус. «Человеческие чувства вообще исключены из его поэзии», — утверждал А. А. Смирнов, безусловно, доводя до крайности свои выводы о тех психологических изъянах, которые он подмечал в личности Коневского, и продолжал: «Можно кратко и полно обозначить болезнь Коневского двумя словами: отрицание плоти. Отрицание плоти, а следовательно и всей вообще личной, реальной жизни — главный мотив его творчества. <...> Наша литература хорошо знакома с чувством вражды, борьбы против плоти, но такого спокойного и искреннего отрицания, игнорирования ее никогда еще не бывало. И рядом с этим бесстрастным философским отрицанием в душе Коневского уживалась не менее искренняя, не менее глубокая любовь к жизни»[1]. Во всеохватном и безраздельном приятии жизни возможность слиться «с горой или с ручьем» компенсировала драматическую отчужденность поэта от многих иных составляющих благого всеединства.

Среди «обширных всезрелищ»[2], открывавшихся благодарному взору Коневского, созерцания феноменов природы вызывали у него наибольшее воодушевление. Он погружался в царство природы с подлинной страстью, и оно представало перед ним всеми своими глубинами и тайнами, резонировавшими в унисон с вибрациями его самопознающего духа. В этих восприятиях сочетались, по наблюдению Н. О. Лернера, «мудрость старца и joie de vive <жизнерадостность> ребенка»[3]; натурфилософские аналитические рефлексии претворялись в литургическое священнодействие, вдохновленное ощущением слияния со стихийной мировой жизнью. Менее всего стихи Коневского, воплотившие отмеченные особенности его личности, соответствуют привычным стандартам «пейзажной», природоописательной лирики. Цель поэта-«любомудра» — не описать, а постигнуть, охватить синтезирующими усилиями сознания то, что явлено в непосредственном чувственном восприятии. Приближение к сокровенной сути мироздания, предстающей как торжество высшей упорядоченности, метафорически реализуется у него в равной мере воспарением в высшие

---

[1] *Смирнов А.* Поэт бесплотия. С. 82, 83.
[2] Формулировка из фрагмента «Ильменау и дух зрелого Гете» (Мечты и Думы Ивана Коневского. С. 112).
[3] Письмо Н. О. Лернера к В. Я. Брюсову от 8 мая 1904 г.; приведено в статье В. Я. Мордерер «Блок и Иван Коневской» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 173).

сферы отвлеченного созерцания и погружением в хаотическую толщу органического мира, воспетым в большом стихотворении — своего рода натурфилософской оде — «Дебри»:

Извивы троп, глубины кущ
Моей душе всего милей —
Святилища дремучих пущ,
Где я пугливей и смелей:
Ничто здесь явно не лежит.
Все притаилось за углом,
И чутко сердце сторожит
Нежданный, странный перелом.

В своих наблюдениях за природной циркуляцией поэт уже использует ту микроскопическую оптику, которую впоследствии возьмет на вооружение Н. Заболоцкий, созерцая «природы вековечную давильню»[1]. И вместе с тем «дебри» открывают Коневскому за видимой суетой и разноголосицей надмирный, космический строй и согласие; микрокосм преображается в макрокосм:

Покой и жизнь — на всем окрест.
Трава растет, и корни пьют.
Из дальних стран, из ближних мест
Незримые струи снуют.
То углублюся я в траву —
Слежу букашек и жуков;
То с неба воздух я зову,
Лечу за стаей облаков...
<.................................>
Брожу в сиянии немом,
Пугливо ждущем торжестве.
И явствен свет, и незнаком.
И замер чуткий дух в траве.
Свершится! шепчет чуткий дух.
Раскрылся радужный чертог.
И так прозрачен мир вокруг,
Что за стволами — некий бог.

Тот же лад и строй, раскрывающийся при созерцании природных явлений, видится Коневскому, когда он осмысляет мир человеческих связей, воплощающийся в истории, современности, мифологических и эстетических образах. Общий метафизический ракурс, характер-

[1] Параллели между двумя поэтами устанавливает Дж. Д. Гроссман, сопоставившая, в частности, стихотворение Коневского «Призыв» с «Метаморфозами» Заболоцкого (*Grossman Joan Delaney*. The Transformation Myth in Russian Modernism: Ivan Konevskoi and Nikolai Zabolotsky // Metamorphoses in Russian Modernism / Ed. by Peter I. Barta. Central European University Press, 2000. P. 41—60).

ный для всех его жизненных восприятий, закономерно сказывается и при обращении к этим сферам. Более всего он ценит органическую культуру, развивающуюся преемственно и самопроизвольно, постепенно реализующую заложенные в ней животворные потенции, и соответственно с неприязнью относится ко всем формам искусственной стимуляции роста и преобразовательным экспериментам. В этом отношении характерно убежденное неприятие Коневским своего родного города: Петербург чужд ему своей умышленностью и сконструированностью. «Но что̀ увидишь ты, попав на проезжие улицы невской столицы? — риторически вопрошает он А. Я. Билибина (5 июня 1900 г.). — Убийственно прямые и длинные, пересекающиеся под прямым углом и зияюще-широкие мостовые между домами, которым подобных по пошлому уродству не найти ни в одном западноевропейском или русском городе <...> в то время как Москва и германо-романские средневековые города свиваются как гнездо, внутри их чувствуются живые недра, взрастившие и питающие их, обаятельны затаенными завитками и уголками своих закоулков, Питер весь сквозной, с его прямыми улицами, проходящими чуть не из одного конца города в другой; внутри его тщетно ищешь центра, сердцевины, в котором сгущались бы соки жизни, внутри — зияющая пустота, истощение»[1]. Образ «демонического» Петербурга воссоздается в стихотворении «Убийственный туман сгустился над столицей...», в котором, однако, пугающие фантомы в конечном счете лишь оттеняют и на свой лад утверждают всеблагое начало, выявляя свою неподлинную сущность:

Ты — в мире демонов, зловонных и холодных,
И в их руках теперь — теснящая судьба.
Но сущий — ты один, создатель чар природных
И тех же демонов, чтоб с ними шла борьба.

Столь же искусственными, идущими вразрез с определившимися формами общественного мироустройства представляются Коневскому попытки изменить это мироустройство организованными волевыми усилиями. От радикальных политических устремлений своего времени он далек; во время студенческих волнений, охвативших в 1899 г. Петербургский университет, чувствует свою глубокую отчужденность от основной массы однокашников, не в состоянии разделять их эмоции, но и репрессивные действия со стороны властей решительно не приемлет:

Кто вы, откуда вы, юноши бледные?
Что вы беснуетесь в чахлом весельи?
Иль закручусь я и с вами в метели,
И увлекусь в эти шумы бесследные?

[1] Писатели символистского круга. С. 184. Ср.: *Осповат А. Л., Тименчик Р. Д.* «Печальну повесть сохранить...» М., 1987. С. 139—140.

Шутки докучные, буйства печальные,
Но и зачем же гоненья ненужные?
(«Zeitgedichte», I. «Сумятица»).

Невосприимчивый к вирусу социально-политической активности, Коневской, однако, выказывал живой, но при этом вполне отстраненный интерес к многоразличным формам общественной жизни — в аспекте общего преклонения перед разнообразными яркими манифестациями витального начала, перед «биениями жизни». Самое законченное выражение этого начала он видит в поэзии Верхарна; в ней — «ожесточенная воля художника-эпика, художника-ваятеля, борющегося с расплывчатостью жизни, да и в среде жизненных явлений избирающего для изображения лишь проявления стихийной или волевой мощи»; в ней и новое совершенное воплощение национального фламандского типа, преодолевающее, разумеется, в восприятии Коневского свои конкретно-исторические очертания и благодаря творческой силе мастера обретающее высший смысл: «Вергэрен — достойный преемник Рубенса, Тениерса и Иорданса по преображению родного народа своего в вечное знамение буйного потока плоти. <...> Но живой энергией, сообщенной ему лоном того же родного края, он, конечно, неизмеримо вырастал из граней этого быта, и перед порывом этой энергии должны были расступиться стены и плетни фламандских сел. В тоске сумеречных осенних полей он выносил страстную мечту о борьбе самовластной воли с ширью мира»[1]. Столь же высоко, как и Верхарна, Коневской ценит и почитает гораздо менее знаменитого поэта-современника Франсиса Вьеле-Гриффена, активно разрабатывавшего в своем творчестве легендарно-исторические и фольклорные сюжеты: «Вьелэ-Гриффин обаевает меня сочетанием тонкой сложности и углубленности мысленных мотивов с изобилием образов, подчас — задушевных, нежных, подчас — державно-великолепных»[2]. Ощущение полноты и насыщенности жизни привлекает Коневского в молодом Андре Жиде (совершенно еще неизвестном в России в 1890-е гг.); он переводит фрагмент из его книги «Яства земные» («Les nourritures terrestres», 1897; у Коневского: «Земные кормы»), с похвалой отмечая, что в ней «этот отрешенный от мира умозритель воодушевляется верой в телесные ощущения жизни, и строгая и свободная душа его страстно разливается в самых явных, очевидных ощущениях сознания и тела, ликуя поет, превознося надо всем воображаемым и умственно созерцаемым каждое мгновенное прикосновение жизни к организму человека»[3]. С воодушевлением откликнулся Коневской и на

[1] *Коневской И.* Стихотворная лирика в современной французской поэзии // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 13, 14, 15 об.
[2] Письмо Коневского к В. Я. Брюсову от 6 января 1899 г. // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 450.
[3] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 14. Л. 9—9 об.

прочитанную им в рукописи поэму Брюсова «Царю Северного полюса», воспевающую плавание викингов в полярных широтах: в ней его привлекает «ширь горизонта и размах воздуха», а также «полная гармония этих свойств с крайней яркостью и пластичностью образов»[1].

Завороженность интенсивностью и безбрежностью проявления созерцаемых мировых сил влечет Коневского от форм индивидуального творческого самовыражения к эпическим картинам, которые наиболее полно и ярко разворачиваются для него в отдаленных исторических временах и в мифологической перспективе. В этой устремленности вновь сказывается оппозиция поэта по отношению к преобладающим в общественной психологии и литературе конца века сумеречным, пессимистическим и «декадентским» настроениям: «безгеройному» времени он противостоит манифестацией героического начала, прославляет ясность и бодрость духа. Знаменателен эпиграф, который он предпослал своим записям «Дума, сердце и размахи. Некоторые размышления», относящимся еще к зиме 1893—1894 гг.: «И в героическом, удалом движении заиграл луч вечной идеи» — из стихотворения «Теперь и всегда» («Ora e sempre») Джозуэ Кардуччи[2]. «Удалого движения» исполнены фольклорно-мифологические герои, которых Коневской увлеченно живописует («Старшие богатыри»), и исторические пращуры («Варяги», «Среда»). Соответственно и в современном русском изобразительном искусстве наибольшего внимания у него удостаиваются В. Васнецов и М. Нестеров, вдохновивший его на стихотворный диптих «Образы Нестерова», а также М. Врубель как автор картины «Микула Селянинович и Вольга Святославич»: «Проникновенный и необъятный символизм стихийной былины запечатлен на этом холсте с мощью каких-нибудь доисторических исполинов, переворачивавших камни»[3]. Концентрируется мифотворческая энергетика Коневского, опять же, в тех культурно-географических сферах, которые обозначены избранным псевдонимом. «Варяжское» и «славянское» начала переплетаются и обогащают друг друга на финской почве, ему интимно близкой («древний город края моих праотцев»[4], — говорит о Выборге он, правнук выборгского губернатора). Финский национальный эпос «Калевала» — один из вдохновляющих источников для его стихотворных вариаций[5]. Самый

[1] Письмо к В. Я. Брюсову от 24 октября 1899 г. // Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 472.

[2] РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1 об.

[3] Запись от 3 сентября 1896 г. // Там же. Ед. хр. 16. Л. 40.

[4] Письмо к А. Я. Билибину от 2 июля 1899 г. // Писатели символистского круга. С. 175.

[5] Подробнее см.: *Grossman Joan Delaney*. 1) Ivan Konevskoi's Metaphisical Journey to Finland // Studia Slavica Finlandensia. T. XVI/2. Школа органического искусства в русском модернизме. Сб. статей. Helsinki, 1999. P. 104—119; 2) From the Finland Station: Ivan Konevskoi // Twentieth-Century Russian Literature. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies. New York, 2000. P. 6—15; *Hellman Ben*. On Ivan Konevskoi's Finnish Roots // Aspekteja. Slavica Tamperensia.

живой отклик в его душе находят и картины северной природы; с нею Коневской чувствует глубокую внутреннюю связь, истоки которой он прозревает в глубинах родовой истории:

И в луче я все солнце постигну,
А в просветах берез — неба зрак.
На уступе устой свой воздвигну,
Я, из-за моря хмурый варяг.
(«С Коневца»).

3

31 июля 1901 г. Н. Г. Дьяконов, деверь Ореуса-отца (муж его сестры) писал Брюсову: «Знакомый Вам Иван Иванович Ореус после последнего письма его из Риги от 8 июля не давал о себе знать ни отцу своему, генералу Ореусу, ни мне, его дяде. Наводя всюду справки, генерал Иван Иванович Ореус поручил мне запросить Вас, не получали ли Вы каких-либо известий за последнее время от его сына»[1].

Последнее письмо Коневского, сохранившееся в архиве Брюсова, датировано 21 апреля 1901 г.; видимо, Брюсов и оповестил об этом Дьяконова, прося одновременно сообщить о результатах предпринятых поисков. 10 августа Брюсову написал Ореус-отец: «Согласно желанию вашему, уведомляю о трагической судьбе, постигшей моего сына — он утонул, купаясь в р<еке> Аа, в Лифляндии. Вы его знали и ценили. Прошу вас — если вы человек верующий — помолиться о его детски-чистой душе»[2].

Обстоятельства гибели установил Дьяконов, отправившийся на поиски по следам предполагаемого летнего маршрута Коневского. В предисловии отца к посмертному сборнику произведений сына об этом говорится: «Коневской скончался 8 июля 1901 года, 23 лет от роду <...> Как и в предыдущие года, в этом году Коневской поехал в небольшое летнее путешествие ("странствие", как говорил он), на этот раз по Прибалтийским губерниям. Выехав из Риги, он вспомнил вдруг, что забыл в гостинице паспорт, и сошел на станции Зегевольд, чтобы дождаться встречного поезда и вернуться. День был жаркий. Около станции протекает река Аа. Коневской стал купаться... и утонул.

Все эти подробности выяснились, конечно, позже, так как свидетелей его смерти не было. Тело Коневского было найдено через несколько дней и предано земле местным лютеранским пастором. Только после усиленных розысков отцу удалось узнать о судьбе единственного сына... Немецкая аккуратность местных властей сберегла все остав-

V. Tampere, 1996. P. 95—100.

[1] *Ямпольский И. Г.* Письма А. Миропольского к И. Коневскому // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1988. С. 22.

[2] Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 534.

шееся от неизвестного покойника: одежду, вещи, бумаги. По этим признакам узнали безымянное тело и восстановили события последнего дня.

Останки И. Коневского были вторично преданы земле уже по православному обряду. Особого православного кладбища в Зегевольде не оказалось. Тело Коневского было положено в лесу, прекрасно содержимом. <...> Коневской любил лес, любил ветер; лесу и ветру посвящено у него немало задушевных стихов. И его хоронили в лесу и, при чудной, ясной погоде, бушевал сильный ветер. Скромная могила осенена кленом, вязом и березой»[1].

Некоторые дополнительные штрихи можно почерпнуть в воспоминаниях О. В. Яфа-Синакевич: «Иван Иванович погиб жертвой своей рассеянности, — друзья не доглядели таки за ним: возвращаясь со свадьбы одного из них (А. Ф. Каля <...>), он спохватился в пути, что забыл у него свой паспорт, и вышел на небольшой станции (Зегеволь<д>), чтобы тотчас за ним вернуться. В ожидании обратного поезда, он сдал вещи на хранение и пошел купаться. Предполагают, что он увлекся и зашел слишком далеко. Может быть, он слагал стихи в свои последние минуты и, в экстазе вдохновенья, нечаянно, по рассеянности, перешел в вечность... <...> На берегу была найдена его одежда, а сданный на хранение чемодан оказался наполненным его рукописями»[2].

Отсутствие очевидцев гибели и реконструкция картины происшедшего по косвенным признакам и свидетельствам невольно вызывали подозрения относительно того, не был ли уход поэта из жизни сознательным. «Тогда же, — вспоминает Маковский, — пошел слух в литературных кругах: Коневской не утонул случайно (хотя река Аа и славится опасными водоворотами). Нет, он погиб добровольно, ушел из мира плоти (как истый романтик), плывя до потери сознания, до блаженного обморока, отдавая себя под рассветным небом возлюбленной стихии. Мечта поэта обратилась в его "безумие". Стала явью, бессмертной в смерти». «Это миф, разумеется... — отвечает на давние пересуды сам Маковский. — Разве поэты такого духовного закала и такой религиозной озаренности кончают самоубийством?»[3]

[1] *Коневской Иван.* Стихи и проза. С. X—XI.

[2] *Синакевич О. В.* Жили-были. Воспоминания. Тетрадь 10-я. Ч. III. Юность 1894—1900 гг. // РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 26 об. — 27. В другом фрагменте своих воспоминаний Яфа-Синакевич приводит сведения о Коневском, взятые из письма В. Ф. Штейн: «Помню еще, что когда Ореус пропал без вести, Дьяконов поехал разыскивать его — и узнал его только по зубам и особому строению его лба, настолько уже было сильно разложение, когда его выкопали из земли» (Там же. Ед. хр. 355. Л. 84).

[3] *Маковский Сергей.* Портреты современников. С. 426. Ср. письмо Н. М. Минского к Л. Н. Вилькиной (Берлин, 19 октября 1901 г.): «Меня глубоко поразила смерть Ореуса. Помнишь последние строки его поэмы, кот<орая> кончается словами "И живы пращуры мои"? Он как будто пророчески предвидел свою смерть. Утонул он или утопился? Где? Когда?» (ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 884. Подразумеваются строки из сти-

Действительно, думается, что достаточных оснований для версии о внезапном суицидном озарении, охватившем Коневского, не имеется: она решительно не согласуется с определяющими чертами мировоззрения и психологического облика поэта. Напротив, смерть в результате какой-то несчастной и непредвиденной случайности представляется объяснимой и в известном смысле даже закономерной: зафиксировано несколько эпизодов, в которых непрактичный, неприспособленный к жизненным условиям, рассеянный и погруженный в себя Коневской оказывался в опасном, угрожающем положении[1].

В русской печати гибель Коневского осталась почти незамеченной. В разделе «Некрологи» журнала «Литературный Вестник» появилось краткое сообщение с двумя ошибками в двух строчках текста: «*Иван Коневский* <так!>, поэт-символист, по образованию филолог Московского университета <так!>, утонул летом в р. Аа (в Лифляндии)»[2]. Оплакивали поэта, кроме родных, лишь немногие ценители его творческого дара в кругу писателей-символистов, а также близкие друзья и товарищи по университету. В мемуарах Яфа-Синакевич приведено незамысловатое, но продиктованное искренним чувством стихотворение Марии Станюкович «Памяти И. И. Ореуса (Ивана Коневского)»:

Он плавал в воде в день таинственно-жаркий,
Его унесла серебристо-седая волна.
И солнечный луч — и палящий, и яркий
Его озарил пред лицом благодатного сна.

Он юноша светлый с изысканной странностью думы,
Он юноша вещий, исполненный трепетных сил.
Его оглушили небесные, долгие шумы,
Он, тихий и ясный, в глубоких волнах опочил[3].

Стихотворение Брюсова «Памяти И. Коневского», датированное 3 октября 1901 г., написано непосредственно вслед за получением

хотворения «Дебри»: «Влечет болотистый ручей // В меня студеные струи...»). Миф о самоубийстве оказался живучим: более чем сто лет спустя можно встретить упоминание о «ритуальном самоубийстве» Коневского (*Пискарев В. А.* А. Блок и европейское средневековье. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Иваново, 2007. С. 10).

[1] Например, в воспоминаниях О. В. Яфа-Синакевич излагается (со слов А. Я. Билибина) такой эпизод: «...За границей Ив<ан> Ив<анович> в гостинице писал ночью стихи при раскрытом окне, причем свечу поставил так, что загорелись тюлевые занавески, чего он, в пылу вдохновения, не замечал, несмотря на крики толпы под окном, пока пожарный не влез через окно к нему прямо на стол, за которым он сидел...» (РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 21).

[2] Литературный Вестник. 1901. Т. II. Кн. VIII. С. 380.

[3] РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 27 об.

письма Ореуса-отца (от 29 сентября) с рассказом о вторичном погребении сына «по православно-христианскому обряду»;[1] скорбно-поминальные формулы отступают в нем перед торжественным прославлением духовного величия ушедшего поэта:

Ты просиял и ты ушел, мгновенный,
Из кубка нового один испив.
И что предвидел ты, во всей вселенной
Не повторит никто... Да, ты счастлив.

Лишь, может быть, свободные стихии
Прочли и отразили те мечты.
Они и ты — вы были как родные,
И вот вы близки вновь, — они и ты![2]

Существует множество свидетельств того, насколько глубоко пережил Брюсов трагическую гибель Коневского, насколько большие надежды он возлагал на дальнейший рост его творческой личности. В «Мире Искусства» Брюсов опубликовал некрологическую статью «Мудрое дитя (памяти И. Коневского)»[3], ставшую основой для его последующих очерков о поэте (наиболее развернутый был помещен в 1918 г. в 3-м томе «Русской литературы XX века» под редакцией С. А. Венгерова). По инициативе Брюсова было предпринято посмертное издание сочинений Коневского. Осуществлялось оно в сотрудничестве с генералом Ореусом и с помощью Н. М. Соколова, одного из близких друзей покойного, которому были предоставлены для работы над книгой творческие рукописи поэта. Предложение подготовить для издательства «Скорпион» посмертный сборник было сделано сразу же после получения известия о смерти Коневского (в неизвестном нам письме Брюсова к Ореусу-отцу, на которое тот откликнулся 29 августа 1901 г.[4]). Работа над книгой затянулась на два года. По первоначальному замыслу Брюсова, который он изложил осенью 1901 г. в письме к Н. М. Соколову, она предполагалась более объемной и многосоставной, чем тот сборник, который увидел свет и вобрал в себя большинство стихотворений Коневского и лишь малую часть написанного им в прозе: «... не начнете ли Вы уже теперь розыски *писем* Ив<ана> Ив<ановича>, из которых многие непременно должны бы войти в сборник? <...> Далее, не пора ли уже составлять те "воспоминания" и "характеристики", которые мы приложим к изданию? Кто именно предлагает их? Вы, Семенов, Конради — трое? или еще кто? Вот что мне кажется самым первым делом. Во всяком случае раньше

[1] См.: Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 536.
[2] *Брюсов Валерий.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 352.
[3] Мир Искусства. 1901. № 8/9. С. 136—139.
[4] См.: Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 534.

осени 1902 года нельзя надеяться напечатать книгу, значит время есть. Хорошо бы весь матерьял собрать (хоть не переписанным) к середине декабря. Я буду в Петербурге, и мы могли бы устно и сообща распределить между собой работу. По моим представлениям книжка могла бы быть тогда составлена в рукописи к марту или апрелю»[1]. Ни по срокам, ни по составу задуманного издания воплотить этот план не удалось. 18 марта 1902 г. Брюсов писал тому же адресату: «Я видел Вашу работу над книгой Коневского. Кажется мне, это то самое, что нужно. Если Вам это дело по сердцу, — продолжайте его. Вам, вероятно, уже указали на замеченные мною (конечно, случайно) варианты, Вами не отмеченные, в длинненьком альбомчике у Ив. Ив. Ореуса-старшего. Этот альбомчик следовало бы использовать. Раньше лета приступать к печатанию не придется. Но соберем ли мы матерьялы к тому времени?»[2] Но и ровно год спустя дело существенно не продвинулось. В письме к Н. М. Минскому от 18 марта 1903 г. Брюсов сетовал на нерасторопность издательства «Скорпион»: «Друзьям Ореуса-Коневского обещали издать его посмертный сборник (кстати — это *десятое* обещание) два года назад, а тоже еще не начинали...»[3]

Выход в свет «Стихов и прозы» Ивана Коневского в последние дни декабря 1903 г. вызвал несколько печатных откликов. В изданиях, занимавших в целом негативную позицию по отношению к «новому» искусству, формулировка на титульном листе «Посмертное собрание сочинений» лишь в малой мере сумела приглушить негодующий пафос критиков-«традиционалистов». Более других готов был считаться с указанным обстоятельством анонимный рецензент в «Русской Мысли»; по его мнению, «книга эта не может иметь литературного значения», она — «только история исканий рано умершего человека, и только в этом смысле, в смысле документов, рисующих историю тяжелых душевных усилий, она интересна», в целом же «личность автора остается неясной и непонятной»: «Если вглядеться в отрывистые, угловатые стихи, в прозу, какую-то лихорадочную, тяжелую, видно только одно: мы, читатели, как бы присутствуем при ряде тяжелых, трудных опытов, которые производил над собой остро мыслящий человек с целью найти, определить самого себя и свой путь»[4]. Н. П. Ашешов, снисходительно отозвавшись о прозе Коневского («Тут хоть что-нибудь можно понять. И мы должны признать, что у молодого автора было несомненное критическое чутье и искренность»), в оценке его стихов беспощаден: «чепуха, в которой разобраться может только модернист, освободившийся от законов восприятия, мышления, умственных понятий и т. д.»[5] Наконец, поэт и консервативный публицист Николай Матвеевич Соколов в своем отзыве счел необходимым отмежеваться

[1] ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 42.
[2] Там же.
[3] Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 664—665 (публикация Э. С. Литвин).
[4] Русская Мысль. 1904. № 6. Отд. III. С. 172.
[5] Образование. 1904. № 3. Отд. III. С. 137.

от составителя посмертного сборника, Н. М. (Николая Михайловича) Соколова, а при аттестации стихов Коневского не пожалел бранных слов («глупая белиберда», «предел глупости», «вымученная и кривляющаяся изломанность»): «Какими идиотами надо считать читателей, чтобы издавать и пускать в продажу эту неутомимую и ожесточенную чепуху!»[1]

Наряду с этими вердиктами появились, однако, и аналитические характеристики творчества Коневского, продиктованные стремлением понять и беспристрастно оценить его своеобразие и художественную значимость. А. А. Смирнов, в 1900-е гг. начинающий поэт и критик из круга петербургских модернистов, а впоследствии видный филолог, историк западноевропейских литератур, в статье «Поэт бесплотия» отметил «редкий, исключительный талант», проявляющийся «в острой сознательности, разумности» его поэзии: «Но эта сознательность — не обыкновенный, будничный рационализм. Принимая безудержный, стихийный характер, она достигает у него сверхчеловеческой силы. Природа, жизнь совершенно преображаются в его творчестве. Это — какая-то новая, мистическая натурфилософия, с ее своеобразным, поражающим "разумом" гор, моря, городов...»[2] Вместе с тем Смирнов осознает внутреннюю недостаточность, ущербность такого всеобъемлющего разума: «Этот холодный, мертвенный разум, эта попытка диалектики разрешить живой разлад едва ли кого удовлетворит» — и идет от такого осознания к предположению о том, что у Коневского не было внутренних потенций для разрешения противоречий, заложенных в его мировоззрении и творчестве (среди которых важнейшее — противоречие между глубокой любовью к жизни и «отречением от плоти»), что его индивидуальность окончательно сформировалась и воплотилась: «...ясно видно, как он все более замыкался в своем кругу. Какой-то рок, казалось, завладел им, и неожиданно ранняя смерть его не удивляет, не возмущает. Заметно, как творчество Коневского слабеет в последние два года его жизни. Он совершил свой малый круг, и совершить другой, более великий, ему не было дано»[3].

Еще более высокую оценку творчества Коневского дает автор статьи «Неизвестный поэт» С. Крымский (С. Г. Кара-Мурза). Если Смирнов прислушивается особенно чутко к нотам внутреннего разлада в самосознающей душе поэта, то для С. Крымского его художественный мир привлекателен прежде всего отображением в нем стихийной цельности и полноты бытия: «Коневской, по своим творческим настроениям и по своим теоретическим воззрениям на искусство, несомненно примыкает к группе наших молодых поэтов, во главе которых идут гг. Бальмонт и Брюсов. Но ни у одного из них я не встречал такого непосредственного, такого первобытно-девственного,

---

[1] Русский Вестник. 1904. № 6. С. 740, 742.
[2] Мир Искусства. 1904. № 4. С. 81—82.
[3] Там же. С. 83.

чисто овидиевского проникновения в жизнь природы, каким отмечены все произведения Коневского. И в этой-целомудренной любви к космосу таится <...> вся красота и прелесть его поэзии»[1]. На тех же мажорных началах акцентирует внимание Н. О. Лернер в своем почти восторженном литературном портрете Коневского, обретающего под его пером черты нового Эвфориона — прекрасного юноши, сына Фауста и Елены из второй части трагедии Гете, гибнущего в своем неудержимом стремлении в мировую беспредельность. Коневской в интерпретации Лернера — «вечный тайновидец», способный «зорко и пытливо» взирать на «солнце истины»[2].

В 1904 г., когда вышел в свет посмертный сборник произведений Коневского, уже заявили о себе в литературе наиболее крупные представители второй волны русского символизма, поэты мистико-теургического склада, по отношению к которым автор книги «Мечты и Думы» во многом оказывался предтечей. Однако это обстоятельство утверждению высокой репутации натурфилософской поэзии Коневского существенно не способствовало. Влияние ее на поэзию начала XX века было не магистральным, а своего рода «боковым», спорадически сказывающимся у авторов, принадлежавших к разным литературным поколениям. Замкнутый в своей самодостаточности, художественный мир Коневского лишь в редких случаях способен был стимулировать и обогащать творческие силы других поэтов.

Андрей Белый, дерзновенный «новатор», чьи первые литературные опыты побудили Брюсова летом 1902 г. с надеждой провозгласить: «Вот очередной на место Коневского!»[3], — живого интереса к произведениям укорененного «архаиста» не проявил. Очевидные черты сходства с Коневским находили у Вячеслава Иванова; кажется, первым на эту параллель указал в упоминавшейся статье С. Крымский: «Стих Коневского, по большей части, легок и как-то мечтательно прозрачен, и это несмотря на то, что слова и эпитеты поэта временами бывают как-то умышленно тяжеловесны. Он нередко употребляет архаические русские слова, из боязни банальным обиходным словом навлечь оттенок будничной пошлости на изображаемый предмет. В этом отношении Коневской несколько напоминает другого, также мало известного, но весьма оригинального поэта Вячеслава Иванова»[4]. Последний сумел воспринять творчество Коневского надлежащим образом («Его искания и постижения представляются мне полными глубокого значения, а его душевный облик стихийно-загадочным и прекрасным»), но серьезного внимания к нему не выказал и от родившейся было идеи написать о нем отказался: «...влечет — но и пугает трудностью

[1] Семья. 1904. № 6, 8 февраля. С. 11.
[2] См.: *Лернер Н.* Ив. Коневской // Книга о русских поэтах последнего десятилетия: Очерки. Стихотворения. Автографы / Под ред. Модеста Гофмана. СПб.; М., <1909>. С. 109—124.
[3] *Брюсов Валерий.* Дневники. С. 121.
[4] Семья. 1904. № 6, 8 февраля. С. 11.

тонкой задачи»[1]. Н. Л. Степанов справедливо видит развитие круга тем и мотивов, характерных для Коневского, в поэзии Ю. Балтрушайтиса, в которой также «основной философской идеей <...> является соотношение личности и мира, познание его трансцендентной сущности», а в плане выражения «сказывается сочетание абстрактно-философской схемы и словесной точности, отличающее и поэзию Коневского»[2]. Но в данном случае скорее можно говорить о созвучии творческих индивидуальностей, чем о непосредственном влиянии. Наиболее отчетливым и глубоко проникающим было воздействие Коневского на лирику Блока. В рецензии на книгу А. Л. Миропольского (1905), включающую поэму «Лествица», посвященную Коневскому, Блок воспользовался этим поводом, чтобы очертить в нескольких строках тот образ покойного поэта, который сложился в его сознании. По мысли Блока, Коневской представляет собой определенный этап русской поэзии, когда она из «собственно-декадентства» стала переходить к символизму; «одним из признаков этого перехода было совсем особенное, углубленное и отдаленное чувство связи со своей страной и своей природой», и в стихах Коневского он улавливает самое подлинное и глубокое постижение этого многосоставного «почвенного» начала: «финская Русь была воспринята им сильно, уверенно — во всей ее туманности, хляби, серой слякоти и страшной двойственности»[3]. Многообразные следы влияния Коневского на Блока, фиксируемые в целом ряде скрытых цитат и реминисценций, концентрируются в основном в плане раскрытия «родовых», эпических пластов бытия (наиболее наглядно эта связь иллюстрируется сопоставлением стихотворения Коневского «В роды и роды» с циклом Блока «На поле Куликовом»)[4].

Среди меньших по масштабу поэтов символистской школы «гениального Ивана Коневского»[5] почитал Вл. Пяст; тому свидетельство — его стихотворение «На мотивы Ив. Коневского»:

> Не хочу я глубин *своеволья,* —
> Мне лишь *Воли* мила безграничность;
> Пусть глубинно, — но *смрадно* подполье:
> В нем задохнется сильная личность.

---

[1] Письмо к В. Я. Брюсову от 19 февраля / 3 марта 1904 г. // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 447.

[2] Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 198. В одном из писем к Коневскому (середина марта 1900 г.) Брюсов называет Балтрушайтиса в числе «почитателей и полупочитателей» его поэзии (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 487).

[3] *Блок А. А.* Полн. собр. соч. и писем. В 20 т. М., 2003. Т. 7. С. 184, 399—404 (комментарии Е. А. Дьяковой).

[4] Затрагиваемая тема с доскональной подробностью раскрыта в статье В. Я. Мордерер «Блок и Иван Коневской» (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 151—178).

[5] *Пяст Вл.* Встречи. М., 1997. С. 24.

<...>
Собери ж своей Воли зачатки
Для достойного плоти боренья. —
Будут вновь непорочны, и сладки,
И безмерны тебе откровенья[1].

Былой сподвижник и затем пристрастный критик его поэзии, Вл. Гиппиус после смерти Коневского сумел воспринять его творчество новыми глазами. Разделу «Преходимость» в книге стихов Гиппиуса (Вл. Бестужева) «Возвращение» предпослано посвящение: И. И. Ореусу[2], — а другой сборник того же автора, подписанный псевдонимом Вл. Нелединский, в подборке сонетов на темы пережитых литературных интересов и привязанностей («Л. Толстой», «Иные», «Федор Сологуб», «А. Белый и Чехов» и др.) содержит и сонет «Ив. Коневской»:

Ореус милый! отрок прозорливый,
Встревоженный от колыбельных дней
До ранней смерти сумраком зыбей,
В которых и погиб — за то, что так любил их.

Любил ты зыбь во всем, что есть; улыбкой
Встречал ты смену равнодушных дней,
И ты любил усиливать их зыбкий
И мерный гул — в разгуле их скорбей,

В разливе их страстей. — Неутолимый
В тоске и радости, ты мимо, мимо
Всего, что чувственно, — скользил, скользил;
Но чувственно — лишь холод струй любил:

И он тебя настиг — и охватил
Последней зыбью — так неодолимо![3]

Память о Коневском побуждала к паломничествам на его могилу. В первую годовщину гибели поэта там побывали его отец и Н. Г. Дьяконов, а также А. Я. Билибин, возложивший венок от товарищей Коневского по гимназии, в июле 1903 г. — они же вместе с А. Ф. Калем и Ф. А. Лютером[4]. В июле 1911 г. могилу Коневского посетил Брюсов (эту поездку описала в своих воспоминаниях сопровождавшая его

[1] *Пяст Вл.* Ограда. Книга стихов. <СПб.; М.>, 1909. С. 43.
[2] *Бестужев Вл.* Возвращение. СПб., 1912. С. 41.
[3] Томление духа. Вольные сонеты Вл. Нелединского. Пг., 1916. С. не нум. (Сонет LXIX).
[4] См. письма И. И. Ореуса к Брюсову от 28 октября 1902 г. и 22 июля 1903 г. (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. С. 545, 547).

Н. Петровская[1]). В результате возникло его стихотворение «На могиле Ивана Коневского» (13 июля 1911 г.):

Я посетил твой прах, забытый и далекий,
На сельском кладбище, среди простых крестов,
Где ты, безвестный, спишь, как в жизни, одинокий,
Любовник тишины и несказанных снов.

Ты позабыт давно друзьями и врагами,
И близкие тебе давно все отошли,
Но связь давнишняя не порвалась меж нами,
Двух клявшихся навек — жить радостью земли![2]

Еще один литератор, побывавший на месте упокоения Коневского, — давний его почитатель С. Г. Кара-Мурза, упомянувший об этом в одном из своих газетных очерков: «Зегевольд — это прелестное горное местечко, прозванное Ливонской Швейцарией. Покрытый яркой зеленью лиственного леса, глубокий обрыв навевает помимо красоты своей величественной картины яркие, исторические воспоминания, так как в густом лесу притаены остатки громадных рыцарских крепостей, возведенных ливонским орденом меченосцев <...> На дне этого колоссального обрыва протекает быстрая речка Аа, где и нашел свою погибель Коневской <...>»[3].

И еще один посетитель Зегевольда поведал о своей близости к Коневскому, «позабытому давно», как думалось Брюсову, «друзьями и врагами», но сохранившему способность вызывать живой отклик у новых мастеров поэтического слова, — Осип Мандельштам, живший там с семьей в ранней юности, летом 1906 г., а до того обучавшийся русскому языку и литературе в Тенишевском училище у «формовщика душ», Вл. В. Гиппиуса. В «Шуме времени» воспоминания о Зегевольде сливаются с мыслью о Коневском: «Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью: он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот в Зегевольде <...> я, по духу, был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков <...>»[4].

Обойденный вниманием со стороны «русской молодежи», по слову Мандельштама, и вообще широких читательских кругов, Коневской со своими «трудными стихами» был воспринят и выделен из общего ряда

---

[1] См.: Жизнь и смерть Нины Петровской / Публикация Э. Гарэтто // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Paris, 1989. С. 42—43. См. также: *Парнис А., Тименчик Р.* Эпизод из жизни Валерия Брюсова // Даугава. 1983. № 5. С. 113—116.

[2] *Брюсов Валерий.* Собр. соч. В 7 т. М., 1973. Т. 2. С. 63—64.

[3] *Саддукей <Кара-Мурза С. Г.>.* Декаденты первого призыва (10-летие «Грифа») // Московская Газета. 1913. № 245, 1 апреля. С. 2.

[4] *Мандельштам О.* Собр. соч. В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 376.

предшественников в 1910-е гг. поэтами, принадлежавшими к различным литературным «конфессиям» — Вл. Нарбутом и Н. Гумилевым[1] в той же мере, как и С. Бобровым, Б. Пастернаком и Н. Асеевым: стихи «трудные» и «корявые» обнаруживали свою притягательную силу для тех, кто уже был пресыщен символистской мелодической виртуозностью. Знали о Коневском и стихотворцы, лишь мимолетно промелькнувшие на литературном горизонте. Выступавший в начале 1920-х гг. со стихами в витебских и петроградских изданиях С. М. Дионесов[2] написал в 1918 г. стихотворение «Памяти Ивана Коневского», которое позднее включил в свой рукописный сборник «Стихотворения» (1925), находившийся в библиотеке Г. А. Шенгели. Приводим эту пробу пера семнадцатилетнего автора как знак того, что личность и судьба Коневского иногда способны были волновать и вполне рядовых представителей «русской молодежи»:

Река таинственно молчала,
аир шептался вдалеке,
на золотящемся песке
младое тело остывало.
Живою Бездной взят певец
святых восторгов мирозданья,
кто сталь горящего сознанья
вонзал в излучины сердец.
Влекла неведомая сила
его к таинственным волнам;
река взяла его и нам
труп бездыханный возвратила[3].

В пореволюционные десятилетия имя Коневского, казалось, вообще растворилось в далекой историко-литературной перспективе. Попытка Н. Л. Степанова выпустить в свет собрание его произведений успехом не увенчалась; сыграли свою роль, вероятно, и случайные причины, но сказалась в этом и определенная закономерность: отвлеченная философская поэзия откровенно идеалистического и даже религиозного содержания, принадлежавшая малоизвестному автору, творившему на рубеже XIX—XX веков и непосредственно связанному с символизмом, воплощением литературной «реакции», была

[1] См. интерпретацию эпиграммы Гумилева «У папы Юлия Второго...» (с упоминанием Коневского) в указанной статье В. Я. Мордерер (Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 156) и в заметке Н. А. Богомолова «Источник эпиграммы Гумилева» (*Богомолов Н. А.* Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 451—455).
[2] См. о нем: *Тименчик Р. Д.* Заметки на полях именных указателей // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 157.
[3] *Молодяков Василий.* Неизвестные поэты // Новый журнал. Кн. 240. Нью-Йорк, 2005. С. 217.

мало приемлемой для советской печати. Всеми сторонами своей личности и характером своего мышления Коневской был решительно чужд тем антропометрическим стандартам, которые насаждались в «стране Советов», и показательно, что людям его ближайшего окружения, с которыми он общался в течение своей недолгой жизни, довелось вспоминать о нем в условиях, не ими самими созданных. О. В. Яфа-Синакевич описывает в мемуарах свое пребывание в ссылке в 1931—1932 гг. в городе Кадникове Вологодской губернии, где она познакомилась с другой политической ссыльной, Верой Федоровной Штейн: «Как только я упомянула братьев Билибиных и Ореуса, — В. Ф. схватила меня за руку и остановилась как вкопанная: — Ореуса?! Вы знали Ваню Ореуса?!! Да ведь мы с ним росли вместе! <...> он, уже будучи студентом, все хотел познакомить меня с какими-то своими друзьями, хотел ввести в какой-то кружок барышень и студентов <...> Так вы, значит, и были одна из этих барышень?»[1] Там же, в Кадникове, покойный Коневской сблизил их обеих еще с одним ссыльным, Вл. Пястом: 25 августа 1932 г. они «возвращались на закате нагруженные букетами полевых цветов, а Пяст тихо вспоминал стихи Ореуса про закаты»[2]. Порой о Коневском вспоминали и в русской эмиграции. В лирико-аналитических рассуждениях Г. Адамовича мимоходом возникает «мало кому уже ведомый Иван Коневской, написавший несколько таких вещих строк о вечернем небе на севере, над валаамскими куполами и соснами, в сравнении с которыми на истинных весах поэзии мало чего стоят десятки отличных поэм, со смелыми образами и оригинальными рифмами»[3].

В краткой заметке, предпосланной подборке стихотворений Коневского, Р. Тименчик отмечает ряд конкретных импульсов, которые получили от поэта, погибшего на заре XX века, русские поэты, этот век определившие: «Стихи Коневского — распутье, перепутье русской поэзии двух веков <...> в складках интонации мерещатся голоса завтрашней русской поэзии. "Обетование" предвещает мелодику гумилевского хоровода пространств и времен. "Душе моей затворнице не выйти на порог" пророчит пастернаковскую "Душу", "Наброски оды" — мандельштамовскую "биологическую поэтику", а в стихотворении "Прояснение" —

Темнолазурные моря,
Недосягаемые скалы,
Златорумяная заря,
Что по горам меня искала,
И девы дивные дубрав
Несутся, силы все собрав, —

[1] РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 354. Л. 11 об. — 12.
[2] Там же. Ед. хр. 355. Л. 52 об.
[3] *Адамович Георгий.* Комментарии. Washington, 1967. С. 16.

против последних двух строк мой покойный друг отметил в унаследованном мной экземпляре: "Хлебников"»[1].

Действительно, стихотворения Коневского аккумулировали в себе многие образно-интонационные ходы и построения, которые будут востребованы поэтической культурой в последующие десятилетия, будут рассредоточены по различным руслам, одно из которых отметил покойный блестящий знаток и собиратель русских поэтических книг XX века Ю. М. Гельперин, и хочется надеяться, что знакомство с «мечтами и думами» поэта, обделенного читательским и даже профессиональным филологическим вниманием, будет способствовать выявлению и осмыслению этих опознаваемых преемственных связей. «Хоть и не узнанный современниками, — писал о Коневском С. Маковский, — он был воистину предтечей "новой" поэзии нашей и останется в ее истории безусловнее, чем многие вожди старшего поколения».[2]

А. В. Лавров

---

[1] Родник. 1987. № 10. С. 38.

[2] *Маковский Сергей.* Портреты современников. С. 411.

СТИХОТВОРЕНИЯ

МЕЧТЫ И ДУМЫ

Bist Alles und Keins, bist Schenke und Wein,
Bist Phönix, Berg und Maus.
Fällst ewiglich in dich hinein.
Fliegst ewig aus dir hinaus.
Bist aller Höhen Versunkenheit.
Bist aller Tiefen Schein.
Bist aller Trunkenen Trunkenheit...

Nietzsche. «Sprüche eines Wassertrinkers»

(И все ты, и ничто, и виночерпий, и вино, и феникс, и гора, и мышь. Во веки веков ты сам в себя впадаешь, во веки веков сам из себя вылетаешь. — Ты всех высот углубленность, — ты всех глубин призрачность; всех пьяных ты опьянение...)

МЕЛЬКОМ

1. ПОСВЯЩЕНИЕ

«Джиоконде» Винчи

...le sourire étrange de la Vie.
H. de Règnier

Сам я смеюсь над собой.
Знаю — я властен, но хил.
Ты же моею судьбой
Правишь, как мудрость могил.

Дерзко метнусь я к лучам:
Смотришь — а ты уже тут.
Взором, подобным врачам,
Правишь над дерзким ты суд.

В зыбких и твердых устах
Ведений тьмы залегли.
Силен ли я, иль зачах —
Век мне открыть не могли.

Вечно и «да» в них, и «нет».
Благо им, слава за то!
Это — премудрый ответ:
Лучше не скажет никто.

26 июня 1898
Lauterbrunnen

2. ИЗ «ВЕЧНЫХ СВОДОВ»...

Я уходил под тени свода,
Я уходил в урочный час.
Со мной спевалась непогода,
И я стоял, лучей дичась.

Глядел в те дни я исподлобья.
Но не терял из виду свет.
Не уходил все глубже в гроб я:
Я помнил радости завет.

А все же мне встречались тени
Сыны: узнав их, я любил
Все муки вещих их видений
И ни на миг их не забыл.

Со мной вы, дети тени лживой:
Ваш бледный лик меня живит,
Когда в день светлый и счастливый
Зарею алой мир повит.

26 сентября 1898 г.
Петербург

3. ПРИЗЫВ

Валерию Я. Брюсову

Давно ли в пущах безответных,
И в недрах гор, и в лоне рек
Витал народ существ заветных.
Кому смешон был человек!

Сей человек, столь закоснелый
В своей коре, в своих корнях —
Он чужд и мертв природе целой,
Вращаясь в безысходных днях.

О племя оборотней чудных,
Всему чужих, всему родных,
Как часто, средь мгновений скудных,
Я бредил о житьях иных —

О днях таинственной свободы
И в горних, там, и под землей,
И к вам, прельстители природы,
Стремился дух ничтожный мой.

3 мая 1899 г.
Петербург

МЕЛЬКОМ

I. В КЕЛЬЕ И В ПОЛЕ

1895/96 — ЗИМА И ЛЕТО.
БОРОВИЧСКИЙ УЕЗД В НОВГОРОДСКОМ КРАЮ.
ПЕТЕРБУРГ

---

4. ВОСКРЕСЕНИЕ

Небо, земля... что за чудные звуки!
Пестрая ткань этой жизни людской!
Радостно к вам простираю я руки:
Я пробужден от спячки глухой.

Чувства свежи, обаятельны снова,
Крепок и стоек мой ум.
Властно замкну я в жемчужины слова
Смутные шорохи дум.

Сон летаргический, душный и мрачный,
О, неужель тебя я стряхнул?
Глаз мой прозревший, глаз мой прозрачный,
Ясно на Божий мир ты взглянул!

Раньше смотрел он сквозь дымку тумана —
Нынче он празднует свет.
Ах, только б не было в этом обмана,
Бледного отблеска солнечных лет...

В сторону — чахлые мысли такие!
Страстно я в новую жизнь окунусь.
Хлещут кругом меня волны мирские
И увлекают в просторы морские:
В пристань век не вернусь!..

Февраль 1895 г.

5. В ОГНЕ ЗАКАТА

Вл. А. Гильтенбрандту

Заревом рдяным небо залито.
Свет ты тревожный, чуткий, манящий,
Сколько в тебе откровений сокрыто,
Правды щемящей!
В сердце щемит... натянуты струны...
Настороже слух вещий душевный.
Вот уже слился в груди с тоской задушевной
Трепет надежды, пленительно-юный...
Ждешь поминутно: вот-вот мечта загорится,
Мир озарит от края до края.
Все напряглось — и что-то должно сотвориться,
Свет неприступный — с земным естеством примириться:
Эти лучи, это — проблески рая!..

Что-то меж тем на дне души шевелится.
Шепчет оно заклинанья глухие:
Свет безвестный, помедли — нам ли с тобой уже слиться?
Наша судьбина — жаждать, рваться, молиться:
Рай утоленья — не наша стихия.
Если зажжешься ты, все же будем томиться:
Ты не обманешь нас — жаждем света иного.
К этому свету мы можем только стремиться:
Гибелен он для ока земного.
Силы мятежные мощь светила вспугнули:
Меркнет оно... тускнеют в душе упованья...
В сумраке томном холмы, поля потонули.
Млеет дух... подернулось дремой сознанье.
Вдруг — луч месяца: новое нам откровенье!
Вот — исполнитель того светового обета...
Свет безнадежный — наш вождь в бездне ночного забвенья:
Ждем неземного рассвета.

Всё же, всё же... о, тот восторженный миг ожиданья,
Блесток и тени,
О, осени меня вновь на земном ты скитанье!
Пусть отодвинул ты в вечность с горним светом свиданье —
Был ты и будешь знаменьем новой ступени.
Жизни венец — этот час напряженности дивной
В этом пророческом свете заката.
Всякий раз отзовусь и кинусь вперед без возврата
Я на завет тот солнца, прощальный, призывный.

6—7. ОБРАЗЫ НЕСТЕРОВА

I. СВЯТОЙ КНЯЗЬ БОРИС

Алексею Веселову

С детства вид знакомый:
Косогор песчаным,
Ельником поросший,
Мутненькая речка.
Небо так же мутно,
Пасмурно и немо.
Но под этим небом
Вырос витязь статный.
Строен он и тонок.
Кругом — ельник чахлый,
Сам же он как елка,
Елочка густая.
Как с вершины елки
Зелень вниз склонилась,
Так и он глазами
И главою никнет.
Никнет точно в воды,
Воды дум волнистых,
Смутных и заветных,
Вещих, несказанных.
Есть в нем кровь и удаль:
Волос — черный, жаркий:
Жгучая печать то
Пламени плотского.
И его тянула
Вся роскошь земная —
И любовь, и взрывы
Воли молодецкой.
Глубоко все это
В душу западало,
Сердце колыхало,
Ночью в снах смущало.
Но... еще поглубже...
Гасли жизни вспышки,
Затихали вихри:
Там тоска таилась —
Тоска беспредельная,
Тоска безответная
О чем-то неведомом,
Прозрачном, воздушном.
Все росло, всплывало
Смутное влеченье,
Просилось наружу

И все вытесняло.
И всю жизнь ярко-алую
Одолеть должно было
Оно неминуемо...
Море вдруг открылося.

***

Замерли порывы
При вторженьи Бога,
Силы все смирились
Пред давно желанным,
Кинулись к Нему оне:
Бери нас, Родимый!
От тяжести оторваны,
Тебе отдаемся!
О как часто Ты нам
Мерещился, снился...
Отблеск Твой — ведь вот в чем
Наша суть святая.

***

И вникает витязь
В думную пучину.
Вздымаются волны,
Душу заливают.
И уж меч взял в руки он.
На брань снарядился —
И с буйством преступности,
И с глыбой косной биться.

***

Весь как бы из недр он
Нашей жизни вырос:
Прорвалося в нем
Всё, что в нас накипело.
Будь же нам отрадой,
Отблеск наш родимый.
Лучистым видением
Среди мелколесья.

II. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА

Florestano Kallio

Кручи, камни бесплодные,
Неба своды холодные,
Белый, тусклый, тоскующий,
Чуждый жизни ликующей,
Свет, бесплотное чующий,

Цветики, свету сродные.
В странных ущелиях дивная дева живет.
Вот она высится — Бог неотступно зовет!
Нетленно-белоснежною
Одеждой безмятежною
Вкруг стана вся закрылася...
Лицо же растворилося
В улыбку — и прилежную,
И умиленно-нежную,
И на все дни — безбрежную.
Приголубь меня, сердца больного родимая мать!
Вознеси на улыбке своей, дай мне духам внимать!
Из очей провидящих
Хоть слеза скатилася,
Но в улыбку и она
Тут же обратилася.
Вглядываюсь в лик ея,
Чтоб земная боль моя
В глубь земли спустилася.
И отдаться готов безвозвратно, вполне,
И нет тела на мне, и нет веса во мне,
И мне радостно дышится в вольной стране.

Декабрь 1895 г.
С.-Петербург

8

(ОТРЫВОК)

Первозданная свежесть и резкость весны,
Крепкий запах весенней стихии!
Ты впиваешься в нас до нежнейшей струны,
И неистовства едко-сухие
Мы вдыхаем, сильны.

Дикий дух мятежа и войны,
Исступленные соки глухие,
Нас мутите вы властно, природы сыны.
Захмелеем же мы,
Словно древние гунны лихие...
....

9. НА ЛЕТУ

Внедряйся в меня ты, о свет прославленный, горний!
Скачу на коне я, весь отшатнулся назад...
Поводья отпущены... Всё просторней, просторней
Поля разбегаются, дерзко дали глядят.

Струись, лучезарный, вторгайся в душу и в тело!
Я всё распахнул, ворота все настежь стоят.
Собой не владею я: мной краса овладела,
И хмелем привольным эфира волны поят.

Вместить бы себе кругозор в разверстые очи!
Да, вырваться хочется им из тесных орбит.
Они расширяются... но вместить нет им мочи:
Лик цельной красы в человечьем оке убит.

И весь свой состав предал ветру, лучам я в руки.
Волна набежала... крепчает грозный напор.
Вот дух захватило, я вздрогнул: восторг и муки...
И что за неистовый, непостижимый простор!

10. ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ

Во храме сумрака —
Сиянье рдяное
И песня, брезжащая
С тихим трепетом.
И в неисследимом,
В неизглаголанном
Мерцают отзвуки
Из детства милого.
Ниц простираюсь я
В благоговении,
И свет украдкою
Ко мне заглядывает:
Как из-под низкого
Свода пещерного,
Так я на мир смотрю.
Просвет залетный мой,
Из-за теней, его
Приосеняющих,
Стал затаеннее
И точно вдаль ушел
Еще зазывнее.

То — в пуще сказочной
Просека вещая.
Меж гор, в расселинах
Мелькает степи ширь.
То — на окраинах
Большого города
Глухая улица,
Где меж дворов уже
Поля виднеются.

Песчаным лесом я
В полдневный зной иду.
Вдруг ветр откуда-то
Пахнул свежительный.
Струя бодрит меня,
Струя пронизывает,
Как ток лозы живой.
Знать, с моря ближнего
Ко мне донесся он,
С моря незримого,
Но уже ближнего.
И не натешусь я,
Не налюбуюся
На этот вкрадчивый
Привет из-за моря.

Приподнимаюсь я...
О, как прозрачно все,
И благолепием
Как озарилося!
И жутко на сердце,
А все же ласково,
И вся душа
Мгновенно обновилася.

Меня захватывает
Этот новый мир.
Крылья широкие
Везде расправлены.
И весь он зыблется,
И весь колышется,
И весь летит, летит...
И сердце замерло
В багровом зареве
Святого вечера.

На подвиг добрый так
Я препоясался.

А ночь меж тем кругом
Все расплывалася
И все сгущалася...
Как есть надвинулась,
Кругом захлынула...

Я бьюсь и плаваю.

Владыко, мощи дай,
Дай одоление!

11. МЕЖ НИВ

Прозорливой старице А. И.Д.

Почивают золотые,
Благодатные, святые
Нивы вдоль пути.
Только небо все да нивы...
Час смиренный, сиротливый!
Время спать идти.

***

Тихо мы бредем до дому
И вверяемся седому
Морю спелых нив.
Убаюкивает с лаской
Зыбь их, думной, сизой краской
Боль угомонив.

***

Там овец плетется стадо
В хлев свой: дома лишь отрада!
По углам — пора.
Минул час дневного пыла.
Солнце, просиявши, скрыло
Свет свой до утра.

***

Утро... о рассвет волшебный!
Навевайте сон целебный,
Волны нив, на нас,
И про утро нам шепчите,
И в гнезде нас заключите
В этот тихий час.

***

Лейте мир и упованье,
Так что с солнцем расставанье
Сил в нас не убьет.
Дремля наяву, кончаем
Жизнь, и лишь рассвета чаем.
Так наш дух поет.

12. ПО ДНЯМ: I

Ф. А. Лютеру

Други мои, просите у Бога веселия. Будьте веселы, как дети, как птички небесные.

Достоевский

Есть не только тайны заката,
О, не только есть таинства ночи:
Есть и тайны рассвета, откровения утра,
Легче, воздушней, короче!
За тканями света денного
Эти тайны вьются и реют,
Это — легкие, стройные, приветные духи,
Кротостью, ласкою веют.
Да, да, эти светлые тайны,
Озаренные отрадой виденья...
Вот жизнь, и блаженная, и духом просвеченная —
Благодать возрожденья!
Это — весна, но в небесах растворенная,
Это — дни после Воскресенья Христова,
А венец этих дней — вознесение духа,
Вознесение воплощенного Слова!
Легкой, мягкой дымкой облака собралися,
Застилают они солнце покровом.
Пополуденный час...
Свет не яркий, но ясный:
Час, отмеченный вознесеньем Христовым!
Вот таких-то часов мы и алчем, и жаждем,
Как предвкусья горней отрады.
Ловим проблески их, упиваемся тайной,
Тайной ясной, полной услады.
Занавесимте окна в сияющий полдень,
Заведем веселые речи;
Тут и в свете, и в слове нам скажутся духи,
Радости беспредельной предтечи.
Вешнее утро...
Ступайте в поля и дубравы,
И почуете тех же благостных сил дуновенье.
В сладком детском восторге ваше сердце сожмется,
Осенит вас мощь вдохновенья.
И средь кущей, в праздничном, радужном,
свежем уборе,
Узрите лик Христа живоносный.
Тело с духом, со страстью покой сочетаются в хоре,
В необъятном просторе
Жизни безбурной, но и не косной.

13. МНОГИМ В ОТВЕТ

Я не любил. Не мог всей шири духа
В одном лице я женском заключить.
Все ловит око, все впивает ухо,
И только так могу в любви почить.

Когда б, простясь с возлюбленною девой,
Вперил я взор в роскошный неба свод,
Иль в сень широколиственного древа,
Иль в думу, вещую, как рокот вод, —

Простер бы к ним стремительно объятья,
Во мне б не девы образ уж царил;
Но девы лик и сны вселенной — братья:
К единому всё диву я парил.

Так — обнимусь я с женской красотою,
Но через миг — с горой или ручьем,
Но душно составлять одно с четою,
Скорбя в разлуке с частным бытием.

Нет — естество свое стремясь раздвинуть,
В него рассвету, полдню и звездам,
И всем людским порывам дам я хлынуть,
Впитаю их — и всё пребуду сам.

Летом 1897 г.
Петербург

МЕЛЬКОМ

II. СОНЕТЫ

1896. ПОЗДНЕЕ ЛЕТО И РАННЯЯ ОСЕНЬ.
БОРОВИЧСКИЙ УЕЗД В НОВГОРОДСКОМ КРАЮ.
ПЕТЕРБУРГ

---

14. СВЯЩЕННЫЕ СОСУДЫ

В сосудах духа много мыслей есть,
Что бережно, внимательно, тревожно,
— Ах, так легко расплескать нам их можно! —
Как ценное вино, должны мы несть.
Как приговор, страшит нас эта весть:
Что за томленье — жить так осторожно!
А расплеснет вино тот раб ничтожный,
Что буйствовать захочет, пить иль есть.

Ужель же должен всяк из нас, в теченьи
Всей жизни, в судорожном напряженьи
Держать сосуд — не то дрожит рука?
Смирим сердец мятежные порывы:
Тогда пройдем, свободны, горделивы,
Сквозь жизнь — и будет длань, как сталь, крепка.

15. НАСЛЕДИЕ ВЕКОВ

Вере Ф. Штейн

Когда я отроком постиг закат,
Во мне — я верю — нечто возродилось,
Что где-то в тлен, как семя, обратилось:
Внутри себя открыл я древний клад.
Так ныне всякий с детства уж богат
Всем, что издревле в праотцах копилось:
Еще во мне младенца сердце билось,
А был зрелей, чем дед, я во сто крат.

Сколь многое уж я провидел! Много
В отцов роняла зерен жизнь — тревога,
Что в них едва пробились, в нас взошли —
Взошли, обвеяны дыханьем века.

И не один родился в свет калека,
И все мы с духом взрытым в мир пошли.

16. ДВЕ РАДОСТИ

Ф. А. Лютеру

Когда душа сорвется с высоты,
Куда взвилась она тяжелым взмахом,
Она сперва оглянется со страхом
На мир веселой, бойкой суеты.
Как ей не помнить горней красоты?
Но принята она в объятья прахом:
И прах ей сладостен, а в ней зачах он —
Цветок вершин и снежной чистоты.

Страдать невмочь нам, и к земле прижмется
Наш детский дух, и кровно с ней сживется,
И вот уж тесный угол наш нам мил.
Ах, если б праздник неземной потребы,
Как пастырь, что благословляет хлебы,
И пестрых будней игры осенил!

17—21. СЫН СОЛНЦА

Другу моему Асканию

...В переливах жизни
Нет бессильной смерти,
Нет бездушной жизни.
Кольцов

1. РОСТ И ОТРАДА

В полуязыческой он рос семье
И с детства свято чтил устав природы.
Не принял веры в ранние он годы:
К нам выплыл он пытателем в ладье.
И вот однажды, лежа в забытье
Под деревом, в беспечный миг свободы,
Постиг он жизни детской хороводы
И стрекозы благое бытие.

«Ты, стрекоза, — гласил он, — век свой пела.
Смеяться, петь всю жизнь — да, это — дело
И подвиг даже... после ж — вечный сон».
А солнце между тем ему палило
Венец кудрей, суровый свет свой лило
В отважный ум — и наслаждался он.

2. СРЕДЬ ВОЛН

И плавал он в сверкающих волнах,
И говорил: вода — моя стихия!
Ныряя в зыби, в хляби те глухие,
Как тешился он в мутных глубинах!
Там он в неистовых терялся снах.
Потом, стряхнув их волшебства лихие,
Опять всплывал, как божества морские,
В сознаньи ясном, в солнечных странах.

С собой он брызги вынес из пучины.
Мы брызгаться пустились, как дельфины,
И ослепительный поднялся плеск.
Я ослеплен и одурен метался.
Его же прояснял тот водный блеск:
Дух в лучезарных взрывах разрастался.

3. СНАРЯДЫ

Мир тайных сил, загадок естества,
Хвала вам, исполинские снаряды!
Как рока песнь, что воют водопады,
Держава ваша ужасом жива,
Здесь человек забыл свои права,
Нет упоенью дикому преграды,
И у безличья молит он пощады,
И в хаосе кружится голова.

Здесь весь наш мир, здесь рок неумолимый,
Каким-то жаром внутренним палимый,
В снарядах дивных предо мной живет.
Но царство то теснят родные тени:
Рок отступил под натиском хотений,
Наш ум его в приспешники зовет.

Нижний Новгород
(Машинный отдел выставки)

4. STARRES ICH

С. П. Семенову

Проснулся я средь ночи. Что за мрак!
Со всех сторон гнетущая та цельность,
В которой тонет образов раздельность:
Всё — хаоса единовластный зрак.
Пошел бродить по горницам я: так...
В себе чтоб чуять воли нераздельность,
Чтоб не влекла потемок беспредельность,
Смешаться с нею в беспросветный брак.

Нет, не ликуй, коварная пучина!
Я — человек, ты — бытия причина,
Но мне святыня — цельный мой состав.
Пусть мир сулит безличия пустыня —
Стоит и в смерти стойкая твердыня,
Мой лик, стихии той себя не сдав.

5. ОТ СОЛНЦА К СОЛНЦУ

И потому, сын солнца, ты не прав.
В стихийной жизни, в полусне громадном
Я погружался взором робко-жадным,
Но не сломил я свой строптивый нрав.
Ужели же оцепененьем хладным
Упьешься ты, о резвый сын забав?
Нет, обмороков негу восприяв,
Рванешься снова к играм, нам отрадным.

Прильнув столь кровно к роднику движенья,
Ты не познаешь ввек изнеможенья,
Пребудешь ты ожесточенно-жив.
От наших светов призван оторваться,
Под новым солнцем будет наливаться
Дух вечно-обновимый, как прилив.

III. IV. ВИДЕНИЯ СТРАНСТВИЙ

Сей дивный мир...
С разнообразием своим.
....
Чрез веси, грады и поля,
Светлея, стелется дорога.
Тютчев

1
1897. ЛЕТО

For the power of hills is on thee...
Wordsworth

22. ПОД ЗВУК УЩЕЛЬЯ

Облаками реют паруса,
    Росы высь поят.
Льются и гуляют голоса,
    Негой лес объят.
Меж собою гуторят дубы,
    Веет лаской бук.
О, куда умчат меня судьбы,
    Тьмы незримых рук?
Цвет фиалки небом овладел,
    Барвинок — водой.
Зелен бархат, что весь край одел,
    Думчив мох седой.
И безмолвны горные снега,
    А утес грозит,
А мечта, пуглива и нага,
    По хребтам скользит.

Дорога из Salzburg в Königsee

23. В ЛИСТВЕ

Раскидисто, развесисто
Здесь кущи шелестят.
Их горы так увесисто
На горы громоздят.

Я на сучке качаюся,
Обнявши ствол сырой,
И чаю — не отчаюся,
Заворожен горой.
Исходит мощь матерая
От лиственных громад.
Зеленого простора я
Вдыхаю аромат.

Salzburg

24. СИЛЫ

Ф. А. Лютеру

Мир жизнью кипит.
Кольцов

Вейте, силы Божия,
С грозного подножия!
Разливайтесь, чистые,
Ярые, лучистые!
Стан орлов испуганных,
Дерзких, непоруганных,
Прошумел над дикими
Соснами великими.
Воздух возмущается,
Бор сырой качается...
Разыгрались буйные
Ветры многоструйные.
По горам — обители...
Вам привет, родители!
Яр-хмель наливается,
Ветер надрывается.

И цветет веселие,
Рдеет новоселие.
Воск сребристый топится,
Гулы грома копятся.
Молнии, что свечи вы,
В дрожь мечите плечи вы!
Горы благодатные,
Тьмы — вы, силы ратные!
Листва, ты — явленная
Невеста нетленная!

Salzburg

25. МИГ ЗРЕНИЯ

Отовсюду — древесная сила...
В небе топится снег.
И душа свои крылья раскрыла,
Устремила свой бег.
О, дубрав необъятных прохлада,
Неба летнего пыл!
Откровеньем верховного лада
Мне союз этот был.
И за то, что поток здесь катится,
Но по злачным лугам,
Вожделеет мой дух приютиться
К этим мощным брегам.

Schwarzathal (Thüringen)

26. ГУЛ

Зинаиде К. Станюкович

Чьей-то ропщущей думе
— Духи думают в шуме —
Я внемлю.
Шум растет, замирает.
Духи грустно играют —
И не сплю.

Строги игры вселенной,
То нетленной, то тленной —
Ветра вой,
Мерный рокот потока...
Игры жизни глубокой,
Роковой!

Schwarzburg

27. УТРЕННИЙ ПРИВЕТ

Отцу

Колыбели таятся в кустах,
Тайна лона родного сквозит.
В ясном сумраке, в сонных листах
Фея чащи зеленой скользит.
Рдяный шар из-за облак встает:
По стволам пробежали лучи.
Что в лучах этих алых поет?
То — младенческой жизни ключи!
То — неведенья свежий порыв,
Для которого всё — впереди:
Он, еще ничего не открыв,

Небывалое чует в груди.
А уж выше Даж-бог молодой
В золотистом нетленном венце:
Ключевой он омылся водой,
Простота — в его ясном лице.
В детский рай обратилась земля,
К резвым играм лужайки зовут.
Серебрятся в росинках поля,
Веселее тропинки бегут.
Если на сердце точно легко,
Если думы ничуть не томят,
Будем в роще мы пить молоко
Или ягод вкушать аромат.

Гора Inselsberg

28. ДУШНЫЙ ЧАС

Таинство душное дышит
В полдень, в сосновом бору.
Зноем так воздух и пышет.
Небо в кипучем жару.

Запах брожения плоти,
Дикий, смолисто-сухой.
Млеет во влажной дремоте
Мир сладострастно-глухой.

Eisenach

29—30. В ПОДНЕБЕСЬИ

Софии И. Станек

I

Вот, с поморьями, морями, островами,
Небо, словно мир весь, надо мной.
По раздолиям его, над деревами,
Носится коней табун шальной.

Белоснежные развеялися гривы,
Мчатся вплавь по синим озерам.
Гонит ветер их, погонщик их ретивый,
К отдаленным облачным горам.

А с земли ковыль широкий шум доносит
Сосен устремляются стволы —
И все в тот же край табун лихой уносит,
В край, где реют белые валы.

Гора Inselsberg

II

Бог отец с бородой серебристой
На престоле сидит в облаках.
Фимиам к нему вьется волнистый.
Он стопы утвердил на реках.

Лики праведных, агнцы живые,
Белоснежным светяся руном,
Ввысь текут, и струи голубые
Их питают душистым вином.

Ветры, волю гласящие Божью,
Совершают движение сил.
Много нив с поспевающей рожью,
Поселян обвевающий дрожью,
Благодатью их дух оросил.

Дорога из Eisenach в Coburg

31

(Bayreuth)

Роются звуки так томно и больно
В тревожной груди,
Им отдаешься бессильно, безвольно.
А что впереди?..

Вот вопиют они из преисподних,
Вот катятся ввысь.
Еле коснулись покровов Господних
И вспять полились.

Замерли снова — так жутко и чутко
Чуть слышно звенят...
Дремлет умильно душа, как малютка,
И сон ее свят.
....

32

(Bayreuth)
(Последние звуки «Парсифаля»)

Выше, выше,
Шире, шире, звуки!
Если нет к тому преград...
Страсти нет, но поднялися руки,
И — миры отрад...

Ах, куда же звуки эти
Дух забитый занесут?
Как отныне стану жить на свете?
Ждет великий суд.

33

Александру Билибину

Не могу снести неволи.
Я хочу изведать горе.
Жить хочу, и жить до боли,
Словно море на просторе.
А. Б.

Заломивши лихо
Шапку набекрень,
Залился ты взором
В ясный Божий день.
И, тая под оком
Накипевший хмель,
Слышишь ты в далеком
Тихую свирель.
Мимоходом думу
Вещую родишь:
Тут же, так что небу
Жарко, начудишь.
И на все ты смотришь
Мельком, хоть в упор:
Дальше бродит, ищет
Захмелевший взор.
И, внемля свирели,
Внятной и прямой,
Беззаветно к цели
Ты идешь, немой.

При въезде в Киевские степи

34. С КОНЕВЦА

Я — варяг из-за синего моря,
Но усвоил протяжный язык,
Что, степному раздолию вторя,
Разметавшейся негой велик.

И велик тот язык, и обилен:
Что ни слово — увалов размах,
А за слогом, что в слове усилен,
Вьются всплески и в смежных слогах.

Легкокрыло той речи паренье,
И ясна ее смелая ширь,
А беспутное с Богом боренье
В ней смиряет простой монастырь.

Но над этою ширию ровной
Примощусь на уступе скалы,
Уцепившися с яростью кровной
За корявые сосен стволы.

Чудо-озеро, хмуро-седое,
Пусть у ног ее бьется, шумит,
А за ним бытие молодое
Русь в беспечные дали стремит.

И не дамся я тихой истоме,
Только очи вперю я в простор.
Все, что есть в необъятном объеме, —
Все впитает мой впившийся взор.

И в луче я все солнце постигну,
А в просветах берез — неба зрак.
На уступе устой свой воздвигну,
Я, из-за моря хмурый варяг.

С.-Петербург
Весна 1898 г.

2
1898. ВЕСНА И ЛЕТО

The secret strength of things
Shelley

(Тайная мощь вещей)

...room is there for a prayer
That man may never lose his mind in mountains
black and bare
John Keats

(...приходится молиться, как бы человеку не потерять разума средь черных и нагих гор)

35. В РОДЫ И РОДЫ: I

Где вы, колена с соколиным оком,
Которым проницалась даль небес, —
Те, что носились в пламени глубоком
Степей, как бес?

Махал над ними смуглыми крылами
Он, бес лихой полуденной поры.
Раскидывал над тягостными днями
Их он шатры.

И ночь сходила, лунная, нагая.
А всё кругом — куда ни взглянешь — даль.
И свалятся в пески, изнемогая...
Луна — как сталь!

Хоть не было конца пути степному.
Порой им зрелась в воздухе мета.
И стлалась ширь, и к мареву цветному
Влеклась мечта.

С коней срываясь, приникали ухом
Они к земле, дрожавшей под конем.
И внятен был им, как подземным духам,
Рок день за днем.

Им слышалось нашествие незримых
Дружин за гранью глади голубой.
Так снова в стремена! Необоримых
Зовем на бой!

Сходились в полдень призрачные рати.
Далече разносился бранный гром.

А к вечеру уж нет безумных братий:
  Уж — за бугром!

Яснее дня был взор их соколиный,
И не напрасно воля их звала.
Примчалися ли буйною былиной
  Во град из злата и стекла?

Апрель

36

С. П. Семенову (набросок светотени)

Стезя войны грозна и безотрадна.
Стезя весны шумлива и буйна.
Но сквозь туман затейливо-нарядный
Мне зрится бледно-белая страна.

В стране витают тени и виденья:
Они — бесцветно-желтые, как свет.
Они живут средь мертвенного бденья.
  Я белым теням шлю привет!

37. В МОРЕ

посв. П. П. Конради

С душой, насыщенной веками размышлений,
С чужими образами, красками в уме,
Которыми я жил в стенах в домашнем плене,
И брезжил бледный свет в привычной полутьме;

Тебя почуял я и обнял взором, море!
Ты обдало меня, взяло и унесло.
И легок я, как луч, как искра в метеоре.
И жизнь моя — вода; в ней сумрачно светло.

Все ветер да вода... И ясно все, и сумно.
Где умозрений ткань? Молчит, но явен мир.
И вьются помыслы, так резво и безумно,
  Туда, за даль, где мысли — вечный мир.

Май. (Балтика)

38. В ГОРАХ — ПРИШЛЕЦ

Витаю я в волшебной атмосфере,
Где так недостижимы небеса,
Но предано все мощной, чистой вере,
И где отшельник слышит голоса:
Отшельник утра, радостный и свежий,
И дух, потоков пенных властелин, —

Живут они одни здесь, вечно те же,
И не слыхать ни звука из долин.

Пока торжественно сияет день,
Дышу я робко в царственных чертогах.
Но сумрак снизойдет и ляжет в логах,
И по горам прострет святую тень.
И эта тень, и синь ее густая
Меня благословеньем осенит...
И я пойму тогда, в горах витая,
Что принят я в их величавый скит.

Brünigbahn (Schweiz)

39. ОЗЕРО

Вл. А. Гильтебрандту

Дева пустынной изложины,
Лебедь высот голубых,
Озеро! ввек не встревожено
Дремлешь ты: праздник твой тих.

Тих он и ясен, как утренний
Свет вечно юного дня:
Столько в нем радости внутренней,
Чистого столько огня!

Ласково духа касаются
Влаг этих млечных струи.
Небо свежо улыбается:
Нега — и в беге ладьи...

Berner Oberland

40. В ГОРНИХ

С полудня путь вился вверх по уклонам, кручам и уступам все обнажающихся и каменеющих гор. Вверху восторженно сияли, синея, небеса. Во все стороны их переплывали, как белоснежные ладьи, ясные облачки. За мною все глубже и отчаяннее низвергались в ущелья стремнины. Ближе, выше они отливали еще матово-зелеными и изселена-черными чащами елей, ниже, дальше синелись уже прозрачными, думными дымками. Порою вся ширь воздуха, устремлявшаяся с выси в долы, дышала в этой нежной сини сквозь стволы придорожных елей.

Как разливалась эта воздушная глубь все привольнее и привольнее за мной и подо мной!.. Неслышно приливала она целыми потоками в союзе с разливом небес, что необъятно обдавал меня с высоты.

Между тем крутые бедра гор становились все кремнистее и скуднее руном. Путь подымался по глинистой, кочковатой и

изрытой земле, среди редких еловых перелесков. Впереди, выше одиноко протягивались в ярком небе гряды совсем лысых гор.

Вот, как бы в крайний и последний раз, чахлый ельник впереди начал редеть, а за ним торчали ровные, палимые солнцем склоны в жидкой, серой траве.

Над этими склонами возлегли гряды громадных кудрявых облак. Как живые, взирали они. Я отвечал на их взоры, и вот на моих глазах облачный пух в одном месте своего состава уплотнился в дивно блистающий кристалл — белоснежный, крупный, зернистый. Через миг я понял, что это — глава белого волхва, который, древний, как мироздание, и вечно юный, волхвует там, в ясном эфире.

Никогда еще он не открывался мне так въявь, и в такой близи, в такой страшной близи.

С чудной радостью двинулся я к нему навстречу; и вскоре из-за облачного покрова выступил целый сонм его собратьев по волхвованию. Тут я почувствовал перед собой обитель небожителей; а этот мир облак, прямо уже как бы путь мне застилавший, представлялся на рубеже тех небесных чертогов смутными обителями, подобными «limbo» древних верований.

Позади же на меня все так же широко дышали, таясь в сизой мгле, глубины ущелий и лощин. И как храм рассекается светящимися столбами пыли, так и они сверху донизу пересекались огромными косыми тенями, тенями светоносными, что спускались с парящего за тучами дальнего солнца.

Наконец, за перепутьем на краю крутизны, я вступил в совсем уже нагой мир, мир мертвенно-белого тумана. Ничего не видать было больше вне темневшей впереди дороги, что вилась по буроватым травяным буграм. Да из тумана грозно вздымались временами острые тиары все тех же белых чародеев. Явно было, что здесь — их полновластное царство.

Так вот где скрывалась бездна мира. И уже ничем от нее не укрыться: ужас объемлет, и вольно и прохладно дышится в предвечном воздухе, в «бытности хаоса довременной».

41. GIESSBACH

Чуть слышно и томно влечет струя млечно-свежей, зеленым мрамором отливающей влаги. Неизмеримые кручи в утреннем солнце и светлой тени возвышаются дымчатыми и светозарными призраками. Свежо, чисто блестит бледным блеском весь окрестный край. Как юные витязи, веселы, праздничны эти гордые и мощные крутояры. Нежат они и холят, став вокруг нее тесным кругом и укрыв ее в этой изложине, как в тихой колыбели, эту нетленную и сочную влагу озера, как цветущую красавицу-сестру.

И вот среди этих обрывов, вооруженных еловой хвоей, словно копьями и гребнями шлемов, буйно резвым скоком выбрасывается иной ликующий сын этого утра и этой земли: то — поток,

рвущийся вниз, в бездну. Его призвание — не бережная охрана святыни нетления: он чистый и легкий дух в своей нежной, снежной пене, — но как широко и роскошно разметывается он ею во все стороны! Радость его — радость нетленного, вольного и бурного полубога. Это отрок Сигурд, что гуляет в вешней дубраве и ничего не боится, и всё сделать вправе. Да, он ринется вниз, хоть в беспредельные пучины, но вечно пребудет свеж и горд. А всем слабым теням, которые увлечены будут туда же в его порыв, и в гибели не нарадоваться будет на его ясную красу!

42. КРАЙНИЕ СТОЛПЫ

На пути моем вырос мир непонятного, неведомого величия. И непреложно сказалось, что всему конец, дальше двинуться некуда. Впереди было нечто необъятно-великое, ужасающе мрачное и белое. Все оно как бы волновалось: это было целое море в бурю, да и шумело-бушевало что-то непрестанно в его глубине, а в то же время оно было немо и бездыханно, вовеки не подвигнется. Но всякий раз, как обращались на него взоры, так и испуг охватывал: а что как захлынут все эти громады мертвых волн.

Да, это была совсем, совсем мертвая, но неодолимая мощь. Она угнетала взоры, леденила жизнь в груди.

Эти пласты льдов — такие неживые и, как наваждение, одолевающие душу. Голубые и зеленые тени лукаво, зло играют по нижним отрезкам, мелко расколотым, точно истолченным. Прозрачным цветным стеклом искрятся и отливают они. О, как они безжизненны и злы...

Вот наконец твердыня, где грызут во мраке цепи навеки оцепенелые титаны, вот обитель бессмертного Кощея.

Над этим миром — дымные облака: свет убит, движение стало. В воздухе — серый, ясный, холодный полдень. Он ложится свинцом на грудь.

Berner Oberland

43. ВЕЧЕР ЮГА

Голубые, фосфорные горы.

Гоголь

Широко, тихо и нежно разливаются и уплывают вдаль воды озера. Близь берегов зеленая окраска их ярка, сочна и прозрачна, во всю ширь они бледно-лазурные. Серебристые отливы широко и спокойно разлитые. Нет помину больше о млечной сочности альпийских вод. Эти воды легче, матовее и привольнее. Пышнокудрые горы торжественно возвышаются над озером. Там все просвечено бледным и ясным блеском: все застыло в немом сиянии. Под самым престолом заката горы обратились в

дымчатые и светозарные грезы. От них остались лишь верхние очерки и чистые, золотистые тени склонов. И мы скользим вдаль по водам.

Солнце, низложенное со своего престола, опускается за горы. И вещие эти горы, на которые оно воссело, предстают сначала в темно-голубых, потом в лиловых тканях. Тайны и волшебны теперь их сны. Волею судьбы их в покорности лежит под стопами светила их изломанный хребет. А само оно кроется за тонкими облачными покрывалами, что теплятся его догорающим пламенем.

Так по одной стороне озера совершается это роковое таинство. Горы совлекли с себя зеленые опушки и бахромы-одежды яркие и мишурные, и обнажились их ровные, темные одеяния, в смутных, но однообразных переливах: глубоко сизые, они светятся бледно-рдяным отсветом светила. Обреченные на священный подвиг, они служат страдальческому солнцу, внемлют его последнему стону. Это — стража при гибнущем свете мира.

А там, на другом берегу, высокие склоны унизаны сверху донизу густыми рощами, кущами, живыми и пестрыми поселками. И этот мир мирной, светлой и свежей жизни чист и ясен. Прозрачный воздух, движась над ним и по нем, омывает его и просветляет. Корабль близится к берегу. Над водою белый и розовый городок. Кругом купы густолиственных древ, свежие луга. От глубокой и безмолвной думы сумрачных гор дух обращен к животрепетному и безмятежному бытию и не верит взорам.

Вечер летит дальше, распространяясь и приникая все ниже к земле и водам. Синевшиеся, только что темно-сизые горы осенили свергшееся солнце, стали на страже перед его могилой, и безмерна теперь их скорбь. Они возвышаются, осиротелые и обнаженные, с величавым содроганием простершись в одиноком воздухе. Скорбные, темные и широкие призраки — они чернеют, но все рдеющий свет в себе таят — а над ними одна мертвенно-бледная и золотисто-ясная даль. Страшно, больно там от грозного, тайного рока — свершившегося...

Воды озера чуть движутся, жизнь замерла... бледна, еле жива их даль. Все береговые высоты покрылись пепельно-серыми рясами, вретищами плача. Вверху небеса глубоко померкли — ближе к горизонту выскользнули робкие звезды; но ясна и чиста ширь. А бедные горы — все до единой — словно испытали обморок, стали тоньше и бестелеснее. Очерки их над водой как бы сузились и тихо задрожали. Слабо и безнадежно плыли они, сами не зная куда.

А на озере дышалось темно, ясно и вольно. И велика была грусть о дне, и неведомо было в сини сумерек, неведомо все впереди: но душе было смутно и легко.

44. НОЧЬ ЮГА

Озеро и берега объяты были серебристой, иззелена-голубой ночью. Вдоль вод расставлены были ряды низких, но развесистых дерев, и черная их стража охраняла и пропускала между собой всю, всю ночь. Над головой небо зажгли уже мириады звезд. Воздух был теплый, душистый, даже душный. Под крутой набережной, у озера, воды были темно-темно-зеленые, и ни одна струя не смела дохнуть.

Велика была глубина теплых небес и их темных огней. Тихо и нежно увлекала она и погружала взор.

Над обрывом набережной, ниже фонарей и домовых огней, можно было подойти лицом к лицу к невидимой воде. Неслышно билась она и дышала здесь у ног. Справа в нее выдвигались белые тени челнов, дальше белый очерк каменной ограды, а там берег уклонялся внезапно назад, и ничего больше не было вне широкой и влажной тьмы.

Невзначай воды вздрагивали: в них таилась смутная жизнь, жизнь бледных рыб и земноводных. Днем эта же жизнь отдавала крепким и тягучим запахом.

Но чуялась в тех же водах и иного рода призрачная жизнь. Если взор проникал в них, там начинали играть и порхать неживые звезды, двойники небесных. Влажны и трепетны более своих небесных братьев были эти тихие светы.

И там, в вышине, бродили и мерцали несчетные сонмы звезд, возносясь в неисповедимую глубь.

В ночи было тепло и укромно, как в великом потаенном покое. Из каких-то щелей струились украдкой со всех сторон вкрадчивые, еле слышные дуновения: атмосфера эта была в полном смысле — парная, как в термах древнего мира.

Со мной был юноша, стремившийся быть художником, живописать мир Божий. Теперь на душе у него было мутно и глухо. С южной ночью, — говорил он, — в меня входит какой-то черт... ему хотелось женщины, ему хотелось мелкого забвения. Он страшился одиночества наедине с ночью. Мне было жаль его: юноша, когда же он сделается всецело художником?

45—47. ДЕНЬ ЮГА

I

Свет его — это как бы лунный свет, только пышущий зноем, в огне. Как лунный свет, он — серебристый, как лунный свет, замлевший, бездыханный, и ежеминутно готов дрогнуть и вскипеть жизнью. И при луне, и в южном дне всё замрет в таком лихорадочном ожидании.

II (В МАНЕРНОМ ПАРКЕ-ПАЛАЦЦО)

С гладких каменных помостов открываются внизу столь же гладкие, яркие и темные поверхности иззелена-лазурных вод.

Камни набережных тонут в них, ничем не огражденные. Обширные ступени с роскошными балюстрадами смело нисходят и обрываются в воды. А набережными с балюстрадами этими резко, в свою очередь, очерчиваются и пресекаются струи вод; влага разбивается об их квадратные устои и острые углы, и торжественно закругляются над перилами, по углам гладких лестниц, лепные вазы и кошницы.

По хрустящим под ногой, утоптанным аллейкам мягко скользят вниз ступени из неплотного старинного камня. Змейками перебегают но ним тонкие, бледные от зноя тени.

Там, над выложенными камнем берегами, свесились совсем золотисто-зеленые под солнцем пучки кустов. Сверху, со стороны над ними подняли свои завитые и прямые головы кипарисы. Строги и роскошны они, недвижны и незыблемы в невозмутимой лазури воздуха.

Жизнь их — в этом блистательном и застывшем небе — вольна и горделива. Непостижима ее стройность и пышность. И воздух проникает ее, торжественно немой и знойный.

А жизнь жеманного и чопорного сада вся распалена: каждый камень его ступенчатых террас и каждая песчинка его дорожек горючи, порою до жгучести. Всюду доступ легок, по гладким аллейкам и сквозь листву редких, зарастающих промежутки между ними дерев и кустиков — едкому солнцу, отовсюду легко ему прокрасться. Как-то насмешливо торчат вдоль дорожек, в своей чинности и прибранности, диковинные деревца и кустики. А там тянутся сквозные ходы и своды оранжерей, там дышится сырой садовой землей, туфом и мелким гравием — и в них зловещая сырость и чинная строгость склепа.

Старинный камень террас, ворот, ступенек — чернеет вдалеке, точно потрескался и обуглился он от палящего солнца.

Закоулок былого быта — нарядного, тощего и изощренного — ныне он печален и мертв в блеске дня. А жгучая лазурь нависла над ним, объемлет отовсюду. И точеные очерки берегов и террас замерли, как в завороженном сне. Чудится, что в блестках света мелькают, роятся и щекотят, как пылинки, мелкие, но ядовитые мошки. И недобрая усмешка — у высоко торжествующего, всепроницающего солнца.

III

Из глубин своих распаленные
Небеса льют пламени ток.
Волны — солнцем все опыленные,
Как блестящей пылью — цветок.

По земле же бьются, сбегаются
Стаи ярких теней, лучей.
Перед светом тьма содрогается:
Грозен свет, грознее ночей.

Лучезарный день, день неведомый —
Стоном в воздухе он стоит.
С ним летим к великим победам мы:
Что же нам еще предстоит?

Lago Maggiore
(Pallanza)

48. ЗАСУХА

Нет удержу ветру из степи,
Из края сыпучих песков.
Вблизи все так пусто, как в склепе:
Лишь даль, лишь гряды облаков.

Последние Руси оплоты...
Чу, близится вражий обоз!
А нам не уйти от дремоты —
Так больно в нас солнце впилось.

Ах, полдень безмерный и рьяный
Ползет, разевая свой зев.
Стремится в далекие страны
Бессильно-тревожный напев.

Рязань

49. ЭПИГРАММА

Ивану Б-у

Не сравню тебя с горным потоком:
Я сравню тебя с горным ручьем,
Что журчит в раздумьи глубоком,
Чист и тих в раздумьи своем.
А подчас он пустится скоком...
И тогда с тобою мы пьем
(А, бывало, друг друга бьем).
И все тот же ты перед роком:
Ты поешь пред ним соловьем.

50. ДО И ПОСЛЕ

За что люблю я с детства жизнь и землю?
За то, что все в ней тайной веселит.
За то, что всюду вещему я внемлю —
Ничто не дарует, но все сулит.

Когда, крутым крушеньем удрученный
В погоне за надменною мечтой,
Спущуся в сумрак жизни обыденной,
Вниз по ступеням лестницы витой, —

В безвестной тишине я буду весел,
Скользнув в укромно-милую мне клеть:
Косящата окна я не завесил,
И думно буду духом я светлеть.

Видны мне из окна небес просторы,
Волнистая вся область облаков —
Уводы млечные, седые горы
И тающие глыбы ледников.

И, рассевая ласковые пены,
Как целой тверди безмятежный взор,
Сияют во красе своей нетленной
Струи небесных голубых озер...

24 апреля 1898 г.

V. ДЕБРИ

1897/98. ЗИМА. ПЕТЕРБУРГ

51. ДЕБРИ

Посвящается Владимиру Г.

Какая ж тайна в диком лесе
Так безотчетно нас влечет,
В забвенье погружает душу
И мысли новые рождает в ней?

Ужели ж в нас дух вечной жизни
Так бессознательно живет,
Что может лишь в пределах смерти
Свое величье сознавать?

Кольцов. «Думы»

I

Не в чистом поле я живу,
Не в степи ровной и прямой,
Где просто все и наяву,
Так мертв и светел снег зимой,
И только колос шелестит,
И только чернозем изрыт,
А то все гладко, все блестит,
И воздух во всю ширь открыт.

В дубравах только жив мой дух,
Приютах вьющихся тропин,
Где шелестом исполнен слух
От глушей темных и купин.
О, сколько тихих тайн сулит,
Когда крадется в тень дубов
Тропа, и сумрак шевелит,
И дышит сыростью грибов.
И вот — под сению листвы,
Под сенью зелени густой
Ступаю я, среди молвы
Широколиственной, святой.

Извивы троп, глубины кущ
Моей душе всего милей —
Святилища дремучих пущ,
Где я пугливей и смелей:
Ничто здесь явно не лежит.
Все притаилось за углом,
И чутко сердце сторожит
Нежданный, странный перелом.

К распутью роком приведен,
Я стал в раздумии, как вдруг
Мелькнул налево, — с полуден,
Как бы пещеры полукруг.
Сомкнулись ветви в частый свод.
У ног их приютилась тень,
Редея там, где пройден ход,
Где предугадан тайный день.

II

Поляна! вот избранный мир,
Заветный странника приют.
Кругом — дубравной твари пир:
Прозрачно хоры птиц поют.
Вот сокровенный тот затон,
Где ткутся нити легких дум.
Его искал сердечный стон,
Открыл навесов зыбких шум.
И ясен, и таинствен свет.
И кто к поляне путь найдет?
Пока иной душе привет
Она шепнет, о сколько лет,
Как много тихих лет пройдет!

Покой и жизнь — на всем окрест.
Трава растет, и корни пьют.
Из дальних стран, из ближних мест
Незримые струи снуют.
То углублюся я в траву —
Слежу букашек и жуков;
То с неба воздух я зову,
Лечу за стаей облаков...
Простерлась над поляной сеть —
Паров невидимая ткань...
И где-то промелькнула лань...
И дню пора завечереть.

Трепещут вещие лучи
В просветах лип, на мураве.
Они ярки и горячи:

Они созрели в синеве
Небесных вольных тех морей,
Что вечно в вышине шумят.
О вечер, сниди же скорей!..
Верхи дерев тебя манят.

Он озарил, он опалил
Поляну заревом своим,
С собой узоры листвы слил,
Неоспорим, неодолим.
Опять открылся рок дневной:
Час чаяния лес проник.
Под осиянной вышиной
Украдкой крякнул лесовик.

Брожу в сиянии немом,
Пугливо ждущем торжестве.
И явствен свет, и незнаком.
И замер чуткий дух в траве.
Свершится! — шепчет чуткий дух.
Раскрылся радужный чертог.
И так прозрачен мир вокруг,
Что за стволами — некий бог.

III

Всё здесь он... тень его блестит.
Но он таится, нелюдим.
А свет пророческий дрожит,
И тает теплый луч, как дым.
Мгновения летят стрелой:
Горит заветной жизни час.
Плывет все выше день былой;
Венцы лишь млеют, золотясь.

И руки я туда простер,
Куда горящий гость летит.
За ним, томясь, стремится взор:
Кругом ничто уж не блестит.
Яснее, наги небеса:
Реками в них излился свет,
Но побледнел, чуть поднялся:
В дубраве жизни жгучей нет.

Покинут в сумраке больном,
Я содрогнулся и вздохнул,
На влажный мох упал ничком
И внял великий смутный гул.
Вверху всё так же твердь ясна,
Но с каждым вздохом — всё темней;

И дышит чащи глубина,
И веет силою корней.
Ужели ж всё обман? — и там,
Над лесом, свету не блистать?
И рвется к мертвым небесам
Душа — а ночь ползет, как тать.

В уныньи я глаза смежил.
Но и внутри объемлет ночь.
И мир видений окружил,
И гнать его душе невмочь.
Ведь в полночь обернется год.
Играют дико светляки.
А в лоне дремотных тех вод
Проплыли девичьи венки.
Стрекозы блестками звенят.
Свили русалки хоровод.
Их тихо буки осенят,
Как кров зеленых, свежих вод.
Гадает лето о судьбе —
В ночи темно, в ночи тепло —
К его великой ворожбе
Меня скитанье привело.

Глаза раскрылись... я вскочил
И оглянулся; где же свет?
Сквозь ветви отблеск чуть светил.
В лесу — всё шага ночи след.
Поляна та же... как тиха!
Еще и тише, и звучней.
А на душе всё холодней:
Тоска чутка, тоска глуха.
Все — и светил небесных тьмы,
И травы ждут вас из кустов:
Так что ж таиться, ведьмы тьмы?
Уж объявляйтесь! дух готов.
И мы дождались... Вдруг пахнул
Беззвучный ветр, как дух листвы,
В кусты, в их тень меня шатнул:
Из них вспорхнула тень совы.

IV

Ведь в куще каждой есть тайник.
А за кустом залег овраг.
И там поет, живет родник.
А я в кустах над ним поник.
И мне он шепчет: глубже ляг!
Родник и плещет, и поет

В лощине дикой и крутой.
И травы влага обдает,
И уж дышу я влагой той.
Поляна плачет надо мной.
Деревьев сонм угрюм и свеж.
И тянет в глубь овраг лесной.
Ах, папоротник всё шальной...
А небеса — ужели те ж?
Влечет болотистый ручей
В меня студеные струи...

Но жив нетлеющий Кощей,
И живы пращуры мои!

МЕЛЬКОМ

VI

ПЕРЕЖИТКИ,
СОВОКУПНОСТИ,
ПРЕДВЕЩАНИЯ

1898/99.
ОСЕНЬ, ЗИМА, ВЕСНА.
ПЕТЕРБУРГ

Die Welt ist voller Widerspruch, —
Und sollte sich's nicht widersprechen?
Goethe: Vorklage z. d. *Liedern*

52. МОРЕ ЖИТЕЙСКОЕ

Откуда, откуда — из темной пучины
И смутных, и светлых годов
Мелькнули подводного мира картины
С забытых и детских листов?

Всё — синие хляби, открыты, пустынны...
Строй раковин, строго-немой.
Кораллы плетутся семьею старинной
Полипов, семьей вековой.

И звезды морские, и звезды морские...
Зеркально и влажно вокруг.
И снятся чертоги, чертоги такие,
Что весь занимается дух.

Читал одинокую мудрость я в книге,
Где ум по пределам плывет —
И вот мне припомнились мертвые бриги
Глубоко, под пологом вод.

Я ваш, океаны земных полушарий!
Ах, снова я отрок в пути.
Я — в плаваньи дальнем в страну араукарий,
Я полюс мечтаю найти.

И смотрят киты из волнистого лона
Тем взором немым на меня,

С которым встречался преступный Иона,
Что в чреве томился три дня.

Я ваш, я ваш родич, священные гады!
Влеком на неведомый юг,
Вперяю я взор в водяные громады
И вижу морской полукруг.

О, правьте же путь в земли гипербореев,
В мир смерти блаженной, морской...
За мною, о томные чада Нереев —
Вкушать вожделенный покой!..

53. ОБЕТОВАНИЕ

1. Из туманов и топей мшистых
Мы когда-нибудь да умчимся
За края морей золотистых,
Где давно уж в мечтах кружимся.

2. Наглядимся на тамарисы,
Разбежимся по странным взморьям,
А потом проникнем в край лысый,
К незапамятным плоскогорьям.

3. Что в тех странах свершится с нами,
На безвестных лугах Памира,
Заодно с волшебными снами,
В праотчизне людского мира?

4. Обретем ли родник гремучий,
Где впервые жизнь закипела,
Где, под шорох кедров дремучий,
Няня рода людского пела?

5. Нет, змея, вся в бронзе узорной,
Из-под трав суровых восстанет,
Потрясет главой непокорной
И на нас внимательно взглянет.

6. Мы прильнем к ее кольцам гибким
И за ней поплывем без страха,
Вниз по травам крупным и зыбким,
На волне воздушного взмаха.

7. Будет пышно гордиться небо
Глубиной и ширью лазури,
Но оно — не наша потреба:
Мы вручились мудрой лемуре.

54. ОТГОЛОСКИ

Le pays de mon rêve...
Verlaine

Я прохожу меж вас, неслышный и незримый.
О Боже, от меня как все вы далеки!
И жму я руки всем — и протекают мимо
Таких различных душ живые тайники.

В несбыточных странах, обширных и уютных,
Я дух свой позабыл, и где его сыскать?
Ужель отдаться играм проблесков минутных,
Ужель махнуть рукой, и вне себя порхать?

Друзья, я вас люблю, но чужды вы безмерно.
Вот несколько уж лет я вашим миром жил.
Что ж — сердце старое всему осталось верно,
Что было родиной, чем я не дорожил.

Мне кажется порой, что снова в путь далекий
Направлюсь я в тот край, где дышат города,
Где лентой голубой развиты рек притоки,
Где горы грозные и кроткие стада,

Меж ясных мудрецов и полных тайн поэтов
Там, в теплый летний день, я сяду на холме.
И много я приму от этих мест приветов,
Прохладой веявших в младенческом уме.

Так я вкушу опять от сладости врожденной,
Твоей, о вольный и преданий полный край!
Так и всегда, воображеньем огражденный,
Вокруг меня свои пределы простирай.

55. ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ

Среди старинных зал, по матовым паркетам,
Где дремлют по стенам поблекшие холсты,
Блуждаю часто я в раздумии, согретом
Негаснущим теплом наследственной мечты.

Мне снятся пращуры, столь полные преданий,
Облюбовавшие то творчество веков,
Что созидалось там, в земле великих зданий,
Под белым пламенем нетленных облаков;

Но что-то душам благородным их сказало,
Внушило чувство их покоев родовых —
И убрана стена блистательного зала
Наследием племен отживших, но живых.

Привет вам, мужи достославных поколений,
Служители полков, служители земли!
Лишь пред иконами склоняли вы колени,
А перед обществом вы только честь блюли.

В тиши угодия вы чудно возрастали,
Как чужеземный плод, возросший в парниках,
В столицах стройными палатами блистали,
Где в кружеве носился бал, как в облаках.

И кто почил вдали, под небом виноцветным,
Близь мраморных террас и благостных холстов;
Кто — в дебрях и степях, в гнезде своем заветном —
И принесли на гроб из парка сонм цветов.

Пойми же, селянин, без племени, без роду,
С тобой пойду я в лес, заслушаюсь дроздов:
Я так же, как и ты, молюся на природу
И пить ее млеко бегу из городов.

Но не понять тебе, бездомному, нагому,
Какой есть у меня торжественный приют,
Где я причастен достоянью дорогому,
Святому золоту, что мне отцы куют.

56. ИЗДАЛЕКА

Ивану Билибину

Были великие, славные брани...
Брошен я в диких полях,
Здесь, под кустарником... рана на ране.
Ветер шуршит в ковылях.
За мной дымятся дальние Карпаты,
И корни дубов въелись в грудь земли.
Где вы, друзья? беритесь за лопаты,
Курган насыпьте, кости чтоб легли.
В дали степей еще сеча гуляет.
Люди иль пыль — не видать.
В небе уж ястребы вольно ширяют:
С ними ли вам совладать?
Забылся я под тенью ракиты...
И всё мне снились темные глаза,
Чтó в плоть мою вклевались, ядовиты —
И смолкла вдруг побоища гроза.
Снова и день... и ногой мне не двинуть,
Ну же, взметайте курган!
Братцы, о дайте под землю мне сгинуть
Пусть веселится каган.
Здравствуй, ночь слепая и глухая!
Рыхло, сыро сыпется песок...

Любо жить под ним мне, издыхая.
О курган мой, гордо ты высок!

57. В РОДЫ И РОДЫ: II

Много на свете сокровищ несметных,
Много таинственных руд.
Мужайся ж, искатель кладов заветных:
Не тщетен твой труд.

Там, под скалами крутого Рифея,
Много людей удалых.
Рвут они жемчуг из пасти у змея,
У карликов злых.

После же выйдут в загорные степи
С прибылью ценной в руках.
Воздвигнут они свой храм благолепий
На зыбких песках.

Храм пошатнется, и дальше направят
Витязи вольный свой бег.
Так они всей своей жизнию славят
Тебя, Человек!

58. СОН БОРЬБЫ

Я лугами иду: ветер свищет в лугах.
Холодно, странничек, холодно!
Некрасов

В великом сне бродя, в покинутых пределах
Я долго шел по буеракам и кустам.
Полесья дикие порой вставали там...
И даже до границ полей осиротелых
Раскидывался ветр везде, по всем местам.

И ветер видел я: он был мой верный вестник.
Непостоянный дождь он нес мне как привет.
Я страстно восклицал, как вдруг его уж нет:
Непонятых богов тот призрачный наместник
Опять умчался в те края, где кончен свет.

Как я любил тоску бродячего Ветрила!
И вот он налетал... я, пав к нему на грудь,
С суровой радостью стремил вперед свой путь.
Рыдающая песнь так вольно говорила
И увлекала век бесчестие тянуть.

И равнодушием, и горем упоенный,
И с ветром сладостным ликуя и скорбя,

Не постоял бы я ни перед чем смущенный,
Но, всей заботою земною возмущенный,
Я разорил бы все, распространив себя.

Я проходил, как град, в безумные селенья.
И там был связан я, а там я сам разил.
А ветр усердствовал, и гнал свои моленья
В такую даль, где пусто все, где нет творенья,
И на крылах своих, ширяясь, уносил.

Но как очнулся я и как я жив, не знаю.
Я волен был и зол. Теперь я тих и слеп.
На светлом берегу былое вспоминаю
И что такое жизнь людей — не понимаю.
Но ветер — властелин единственный судеб.

59. ИЗ ДРУГОГО МИРА

И вот опять звонит тот колокол глухой,
Что слышал столько раз я в воздухе полдневном.
А я лежу, хриплю, поверженный, нагой,
  В недуге мерзостно-волшебном.

Что хочешь ты сказать, о колокол живой,
О вещий колокол, набат богослуженья?
Да, бей тревогу, бей, над жалкой наготой,
  Дошедшей до пределов униженья.

Великий страж судьбы, гремишь ты: с нами Бог!
Как тот нежданный глас, что грянет над веками.
И не поймет мудрец, а голос будет строг,
  Но благ перед пустынными песками.

60. ПЕРЕГАР

Если нет на свете славы,
Верь, что свет взойдет.
Гул полуночи-державы
Слово соблюдет.
И властительные руки
Распрострет эфир.
И под звуки, бранны звуки
Полетишь на пир.
Кем ты страстно будешь встречен
На ночном пиру,
Тот был знойной славой вечен
В Боге и в миру.
О гряди ж под темной вьюгой,
Верь глуши дорог —
И пройдешь сквозь тлен недуга
В огневой чертог.

61. ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Александру Билибину

Я слышу — на осях бегут шары,
Светящиеся точки небосвода.
И вот уж член я мерной той игры,
И снова мне дарована свобода.

Над теменем вращаются миры,
Звездятся с легким шипом год от года.
Встают снегов печальные пары...
Я — член живой ночного хоровода.

Всё — шум колес, всё — твердый бег игры,
А где же грань победного похода?
Неизъясним размер ночной поры.
Я сам кружусь по воле кислорода.

62

...Subtilitas naturae —
o sancta simplicitas!

Вязи медленно-искусное плетенье,
Гибкой мысли завитки —
Вейся ввысь, тянись, волшебное растенье,
Оперяй свои листки!

Пусть в безоблачной, сияющей лазури
Зыбко зубрится твой лист,
В этой призрачной, причудливой фигуре
Непонятен и игрист.

Волокнами и извивами убора
Непреложный дай урок,
Что природа — не проста, а сеть узора,
Сеть излучистых дорог.

63. СВЕРСТНИКИ

В шумящей пустыне,
В твердыне из камня,
На дальней границе обширной пустой стороны
На свет родилися
Мы, нежные дети,
И не были сказки веков с малых лет нам родны —
Заветные сказки
Обителей отчих...
Росли мы в чуланах, на диких дворах.
А чувства кипели,

И жизнь нас манила:
Вдыхали под солнцем мы извести прах.
О бедные дети!..
Никто нас не пестовал —
И сами сумели мы сразу святыни презреть.
Нас в даль увлекло...
Мы со всем рассчитались —
И кто нам поможет в бореньи мирском уцелеть?

64

Florestano Kallio

Ты всегда слышишь звуки в воздухе?
О, научи меня слышать их!
Если б ты знал, как я жажду звуков,
Как устали мои глаза...
Мир сверкает, мир мелькает.
Луч разбивается на осколки красок.
Дробные блестки всё — предо мною...
Ты же внемлешь полному звуку.
Было время, когда я гнался за темным,
За единым, за невидимым,
Пока не открылись мои глаза —
И яркий день меня ослепил.
Я впился в него сладострастным взором
И целые годы не отрывался,
И тщательно я расчленял все видимое,
И в оттенки, в отливы влюблялся.
Порой я вижу только оттенки,
Одни крупицы живого света...
Где ж тогда воздух? где ширь вселенной?
И где великое сердце слуха?
Но ты — ты любишь лишь за звуки
И свет румяный, и сумрак ночи.
Замолкнет звон — тебя не станет:
Ты жив всегда лишь духом незримым.
Не раз — в тиши, когда дышалось ровно,
Были в воздухе шорохи странные;
Но не было в них широкой свободы:
Они сбивались в стенках ушей.
Ах, распростерлись бы эти шумы
По чистому, смелому небу!
Тогда с тобой мы станем в поле,
Вонмем, вздыхая, тому же пенью.

65

Ф. А. Лютеру

Ты миром удивлен, ты миром зачарован,
Ступаешь по камням суровых городов.
Мечтой ты умилен, любовию взволнован,
И не забыл души младенческих годов.
В своей светлице упоен ты солнца светом,
Но сердцем чающим стремишься в дальний путь.
Часы все дня и лет звучат тебе приветом,
Наперерыв шепча: меня не позабудь!
Вступив с тобою в речь, ту жизнь я обретал,
Которой жаждал я, пред коей трепетал,
Когда не верилось ее бодрящей неге.
Но я к тебе приду, наставник мой родной,
Мечтая увидать всегда, как той весной,
Березы Божьей светлые побеги.

66. ВЕЧЕРНЯЯ ДУМКА

Люблю две свечи в горнице:
Не мил златой чертог.
Душе моей — затворнице
Не выйти за порог.
Там где-то блещут светочи
В зеркальных хрусталях.
Сижу в своей я клеточке,
Гадаю о полях.
И бродит дева думная
По ласковым полям,
Как свеченка, бесшумная —
Кропит по всем стеблям.
Кропит росою чистою,
Росою тех криниц,
Что в утро голосистое
Сбирали рой юниц.

О дева рос целительных,
Приди и в мой покой!
Я в дни часов медлительных —
Душа с большой тоской.
Нет сил — и все бессильные...
Но бьется чуткий дух.
Я взоры шлю умильные,
Как думчивый пастух.
И, как в полях, о нежная,
Объятия сомкнем.
То будет нега снежная:
Мы в свежести уснем.

Мы молоды, но древностью
Веков возращены —
Великою плачевностью
Всех былей старины.
Мы — сироты юдольные,
О Лада и сестра!
Мечтая реки вольные,
Нам в сон идти пора.

Так в горнице, за свечками,
Я мыслию бродил.
Под ивняком, над речками,
Тебя я находил.
Придешь ли ты, желанная,
Подательница рос?
Тоскою неустанною,
Быть может, я возрос.

67. НА СОН ГРЯДУЩИЙ

Тебе, царевна сна святого,
Опять мой гимн, опять мой глас, —
Отрада вздоха излитого,
Что нас не раз от смерти спас!

К сребристым тканям риз широких
Я припадаю весь в слезах,
Скрываясь в их тенях глубоких
И в синих сумрачных глазах.

Под темно-золотою сенью
Волос и сильных, и благих
Глаза открыты вдохновенью
Небес ночных и вод нагих.

И тают вздохи облегченья.
Развеяв вновь епитрахиль,
Ты усыпила все влеченья
И свеяла дороги пыль.

68. ПАМЯТИ ВСТРЕЧИ

Она стояла прямо, ясно,
Она была из юных стран,
И жизнью светлой, жизнью страстной
Жил так же лик ее, как стан.

Улыбка зыбилась немая
На бледных и густых устах,

Простую доброту скрывая
За горечью, внушавшей страх.

Пред этой бледной, свежей силой
Зеленых, как вода, очей
Я трепетал, как пред могилой
Моих решений и речей.

Но вскоре я собрался с духом,
Собрал весь пыл безумных дум
И знал, что овладею слухом
Той, чей приветный взор угрюм;

Что сфинкс откликнется на пенье
И странный бред мечты моей,
Почуяв в нем и те виденья,
Что над реками льнули к ней.

Я не любил, но как стремился
Любить: мой дух кипел, творя,
И ждал, чтоб деве он явился,
Как налетевшая заря.

Но снова носится бесцельно
Она по пустошам земли,
Не вняв тому, что так смертельно
К ней мчится из моей дали.

69—73. ВОЛНЕНИЯ

Любовь, любовь — гласит преданье...
Тютчев

1

Ждав тебя, я истомился,
С тихой страстью рвался, бился...
Дивен мне казался свет.
Пел я темный, светлый бред.
Широко раскрыв зеницы,
Уносяся за границы
Моря, и равнин, и гор,
Я и руки в ширь простер.
Вольно ветры обвевали,
Грустно липы мне кивали.
Я прошел за грань мечты,
Но и там таилась ты.

2

Я расточал блага своих мечтаний,
Я в тысячи лучей их разбивал.

Построил много радужных я зданий —
И ветер жизни в прах их развевал.
Теперь я слышу внятно — отовсюду
Стекаются былые чудеса
К живому, истому, земному чуду:
Всё ближе, ближе плещут голоса.

3

Из великой страны, из глубокого сна
Возникают новые думы.
И уж новая даль мне все боле ясна,
Взволновалися юные шумы.
Ты встаешь надо мной, о высокая тень –
И играют сильные очи:
В них и смелый огонь, и свободная лень,
День открытый, и влажные ночи.

4

К чему эти новые смуты?
И так я измучен душой.
Уста неподвижно-сомкнуты;
В груди — бездыханный покой.
Но всё обаятельней зовы,
И жизнь за порогом молчит.
Уста неподвижно-суровы,
И мысль однозвучно звучит.

5

Нет, один я — не все мирозданье...
Выйди, мой воплощенный двойник!
На распутья земного скитанья
Предо мной он, как вызов, возник.

Мой противник, мой друг драгоценный,
Он восстанет, а я покорю.
И вкушу с ним от влаги блаженной:
С ним борясь, чтоб ожить, я сгорю.

О, доколе ж борьба будет длиться —
Колебаться, сменясь торжеством?
Где мне знать?.. но земля шевелится,
А один — я в пространстве пустом.

74. ПРИЗНАКИ

Я знаю — что́ бы мне ни снилось,
Всё сообщится наяву,

Когда давно оно сроднилось
С чем я и стражду, и живу.

Давно я видел эти руки,
Движенья тела и очей.
Давно и смеха слышал звуки,
Но ныне он еще звончей.

Но лишь о том ли я мечтаю —
И оправдает ли она,
Что бодро в ней предначертаю?
Все ль обоймет ее волна?

Ужель, о дивная дриада,
Тобою все мне суждено —
Утеха мысленного взгляда
И буйной юности вино?

75. ДАВНО И НЫНЕ

I

На утре далекого года,
На утре забытого дня
По логу бродил я... природа
Дремала, чело преклоня.

Неверные тучки носились
По сладостным волнам небес.
И легким дождем оросились
И травы, и ясеней лес.

Едва вспоминал я о ночи:
В том логе я, мнилось, рожден.
И всё расширялися очи,
А свет уж лился в полуден.

И вдруг, все кусты присмирели:
Их сумрак зеленый уснул.
И жалобный звук протянул
Неведомо кто на свирели.

И дрогнуло сердце невольно.
И тихо так звук возрастал.
Так вкрадчиво он и так больно
В мой трепетный слух долетал.

Пустился бежать я тревожно
На звук по откосу холма.
И небо яснело не ложно,
А в сердце сбиралася тьма.

Тропа все вилась и дрожала,
И даль устремлялась в листву.
В ушах непрестанно жужжало,
Свирель заливалась: зову!

И то она в воздухе билась,
То вся приникала к земле.
На легкие плески дробилась,
Качалась на тонком стебле.

То снова вставала, впивалась
Лукавой и смелой змеей,
И в звонкую даль изливалась,
Влекла огневою струей.

Стремился мне ветер навстречу.
К ногам тень от рощи легла.
Ужели на звук не отвечу?
Ответишь — она не лгала!

Так роща мне внятно шептала...
Я стал и шепнул: прогляни!
И песня повсюду витала,
И жило два ока в тени.

В тени, где ветвистые дубы,
Где влага лесов залегла —
Из тьмы непроглядной дупла
Глядели те очи и губы.

....

76. СЛОВО ЗАКЛЯТИЯ

Кругом стеснились камней громады.
Под нами мутный проток урчит.
Сырые своды, в дворах — засады,
Но дух — властитель мой — не молчит.
И против злого
Я знаю слово.

Куда ни взглянешь — нагие степи
И стаи хищные карих птиц.
От наших сил лишь клочки отрепий,
И перед небом мы пали ниц.
Что делать, девушка, чтоб не сгинуть
Иль смолкнуть пред ведьмой, злой судьбой?
Нет, погоди! вот я наземь кинусь.
Шепну ей слово, мой зов на бой:
Твой род я знаю
И проклинаю!

В глуши лесов, по тропе безвестной
С тобой идем мы, и сумрак нем.
Но всюду души в тайге окрестной —
Ужель безответны и чужды всем?
Дохни лишь слово:
Им нет покрова.

О слово вещее, слово — сила,
О мысли членораздельный звук!
Ты всю вселенную допросило.
Познанье — мощь наших слабых рук.
Из тьмы былого
Спасло нас слово.

В финских народных поверьях заговорное слово побеждает чары стихий тем, что раскрывает их природу, происхождение. Таковы все заговоры Калевалы.

77. НА ДРУГОЕ УТРО

Резво вихрятся дымы над белыми крышами.
Я внимаю их песне, всё ими томимый.
И всё утро плывут они, мне только слышимы, —
Дымы, дымы!

Накануне был пир, упоение младости
— Всё плывут предо мной, всё плывут небеса —
Были чудные речи, и жгучие сладости,
И созвучия без конца...

Мне друзья повстречались в моем одиночестве.
Я беззвучно приветствовал странный союз.
Но отрада была только в смутном пророчестве:
Навсегда им упьюсь.

Наконец все смутилось в безумном веселии:
Голоса были дики, разнузданы речи.
Что за бред роковой после вдумчивой келии —
Эти темные встречи...

Здравствуй, бледное утро в простых одеяниях,
Вейтесь, вольно мечтательны, дымы седые!
Я пред вами во прахе, в немых покаяниях:
Нет, не мы, а вы — молодые.

78. В УЕДИНЕНИИ

Что начну отныне? Грустно и безмолвно
Предо мной лежит широкий зимний путь.

На водах соловых — ноющие челны.
Не хватает духу на себя взглянуть.

Много опустело, много погребенных
Под широким сводом, в глубинах души.
Постепенно смолкло все в сугробах сонных:
О, так погоди же: дальше не спеши...

Это — строгий миг немого созерцанья.
Усыпи порывы, смутно не хмелей.
Притаи дыханье, собери вниманье:
Испытуй минуты тише и смелей.

79—85. БЛЕДНАЯ ВЕСНА

Все в той же мудрости бесстрастной
Проходят жизни годы, дни.

В. Г.

1

Сквозь тусклый, теснящий туман
Бредет сиротинка-весна.
И смутен мой день, как туман,
И юная участь смутна.

Убогие стены хранят
Молчанье и тихий свой плен,
Вперед никуда не манят,
А только в былое меж стен.

Немые свидетели слов,
И звуков, и мыслей живых,
Немые хранители снов —
О, все схоронилося в них.

И вот, когда в будущем нет
Блестящих предчувствий и снов,
Весны еще призрачен свет,
Не стало путей ни основ —

Я в вас только, стены, ищу
Отзвучия бывших тревог.
Не верю дневному лучу
И счастью опасных дорог.

В покоев родных глубину,
Под сень этих стен удалюсь.
Быть может, я встречу весну,
Но с ней никогда не сольюсь.

2

Ужели ж и мне неминуемо
Не век безопасно взирать,
Как все это племя волнуемо
И рвется вперед умирать?

Пока — на земле я божественной.
За тлю я не продал всего.
Ужели ж для жизни естественной
Отвергнуть и мне торжество?

В прекрасном бесплодном гадании
Проходят недвижные дни.
Но счастий или страданий
Не будет — чтó ни мани...

3

О постоянные отрады
Моих далеких дней и лет,
За всё, за всё вы мне награды:
Я вашей верностью согрет.

А сколько гордости сокрыто
В протекших чувствах и речах,
Как много неги ядовитой
Во всех струилося вещах!

Приди, смиряющим дыханьем
О новая весна, повей!
Иссякли позывы к исканьям:
Душа безмолвней и живей.

4

И недолго победные звуки
Мне звучали в морозные дни.
Опустилися жадные руки.
Я — один меж людской толкотни.

Это всё ведь не песнь возрожденья:
Это всё еще — внутренний жар.
Не познать ему освобожденья,
Не уйти из-под дремотных чар.

5

На полуслове прерваны слова.
Дохнула жизнь, снесла листву густую.
Иду я... непокрыта голова...
Куда глаза глядят, в страну пустую.

Дохнула ль жизнь? она ль? не враг ли твой,
Себя терзающий, твой демон вечный,
Решил не он ли миг тот роковой?
И оборвалися слова... конечно!

6

К ней

Когда-нибудь,
В иные дни
Мы встретимся опять.
Дни — всё вперед,
И не кляни,
Что не уйти им вспять.

Их песнь гласит,
Вещает нам
Про изобилье сил.
Нам час грозит
И даст нам сам,
Чего вовек не приносил.

7

Пугливый дух, усталый, неизвестный,
Забился над заглохшею водой.
Над ним высоко — светлый мир небесный.
Но вечен ли он, светлый и простой?

Забытый дух, суровый и пугливый,
Ребенок, росший меж седых отцов,
Что ждет твои безмолвные порывы,
Ты выйдешь ли на волю из лесов?

86. ЭЛЕГИЯ

Я жизнь люблю — и я плачусь за то:
Она любовью скупо мне ответит.
Как много слез бессилья пролито,
Как редко славой яркой жизнь мне светит!..

Люблю утра, люблю и вечера,
Под шумным ветром ровное дыханье,
Мила мне так же тишины пора,
Как улицы морское колыханье.

Свой лик душевный в целости храня,
Люблю вверяться тихому движенью:
Пусть увлечет от берега меня,
Да вновь примчит к родимому селенью.

Так внятен каждый жизни переход,
Так живы все концы и перепутья,
И сладостны теченья этих вод,
Что иногда боюсь их всколыхнуть я.

Всё тот же я — средь этих волн и смут:
Не тронуты единственные нити —
И робко я считаю ход минут,
И трепетно внемлю струе событий.

Но человеку не дано вступать
Так пристально и смело в жизни лоно.
И гонит она избранного вспять —
И вновь он в темный омут погруженный,

Глаза он жмурит от ее чудес,
Тревожно лишь себя оберегает.
Боязнью, как бы сам он не исчез,
Его волна житейская пугает.

Ах, то ли было, как вверялся он
Всем этим всплескам, нежным и отважным!
Над ним распространялся небосклон,
А он скользил легко по склонам влажным.

Но небо наглухо мне заперто:
Едва бреду, едва и день мне светит...
Я жизнь люблю, и я плачусь за то:
Она любовью скупо мне ответит.

87. СОГЛАШЕНИЕ

Мне счастья нет, какое людям
Дано в удел.
Не пожелать мне и не сделать
Желанных дел.
Со страстью целей добиваться —
Не жребий мой.
Мой путь — извилистый и чудный,
Путь не прямой.
Мне счастья нет, но рад я жизни,
Пока я жив.
Как можно жить, всего чуждаясь
И взор смежив,
Я не пойму. Со мной — что вечно:
Со мной — мой дух.
Люблю искусств великодушных
Волшебный круг.
Люблю сознанья неизменность
И чуткий пыл,

В природе — гордую нетленность
Творящих сил.
Порой я полных счастий жажду,
Порой грущу,
Но снова к радости умерной
Душой лечу.

88

И абие изыде кровь и вода...
Ев. Иоанна 19, ст. 34

Ты, веками опозоренная,
Неустанно раззадоренная,
О людская кровь — руда,
Неужель с тобой не сложится
Снова, так что плоть обожится,
Строгий недруг твой — вода?

Неужель густою пеною,
И кипучею, и тленною,
Вечно в нас тебе гореть?
И терпеть опустошения
От страстей ожесточения —
Клокотать, потом хиреть?

Если б с легкостию водною,
Смелой, пылкой и свободною,
Совершала ты свой путь —
То огню ль страстей губящему
Иль унынию мертвящему
Смертью на тебя дохнуть?

89

Genus-genius.
Владимир Соловьев

В крови моей — великое боренье.
О, кто мне скажет, что в моей крови?
Там собрались былые поколенья
И хором ропщут на меня: живи!

Богатые и вековые ткани
Моей груди, предсердия и жил,
Осаждены толпою их алканий,
Попреков их за то, что я не жил.

Ужель не сжалитесь, слепые тени?
За что попал я в гибельный ваш круг?

Зачем причастен я мечте растений,
Зачем же птица, зверь и скот мне друг?

Но знайте — мне открыта весть иная:
То — тайна, что немногим внушена.
Чрез вас рожден я, плод ваш пожиная,
Но родина мне — дальняя страна.

Далеко и меж нас — страна чужая...
И там — исток моих житейских сил.
И жил я, вашу волю поражая,
Коль этот мир о помощи просил.

Не только кость и плоть от кости, плоти —
Я — самобытный и свободный дух.
Не покорить меня слепой работе,
Покуда огнь мой в сердце не потух.

90. ПРЕЗРЕНИЕ

Я один на земле, я один...
И пою я в веселии диком.
Бесконечны бурьяны равнин:
Где предел равнодушия кликам?

До последней унылой земли
Достигают свободные вздохи.
В поле труп мой, вы, люди, нашли,
Ну, и бросили... правьте же сохи!

Вами брошен давно я под куст
Там, где листья отжившие тлеют.
Но я призрак, я воздух из уст:
На земле только тело болеет.

По равнинам всесильных дыханий
Вижу темные ваши тела...
И я вею, и ширюсь, как мгла:
Я один без конца и без брани.

91. С ХОЛОДНОЙ ВОЛИ

Что за окнами волнуется?
Это — воздух, это — снег...
И давно уж сердцу чуется
Тихих, быстрых облак бег.

Сердце ноет, как безумное,
Внемля жизни в небесах,
И безмолвно, многодумное,
Стоя долго на часах.

Вон из груди оно просится,
Внемля ветру, облакам,
В те пространства, где разносится
Зов их к морю и рекам, —

От уныний человечества
В жизнь погоды мировой,
В бесконечное отечество
И моей души живой.

92. ТИХИЙ ДОЖДЬ

О дождь, о чистая небесная вода,
Тебе сотку я песнь из серебристых нитей.
Грустна твоя душа, грустна и молода.
Теченья твоего бессменна череда,
И сходишь на меня ты, как роса наитий.

Из лона влажного владычных облаков
Ты истекаешь вдруг, столь преданно-свободный,
И устремишь струи на вышины лесков,
С любовию вспоишь головки тростников —
И тронется тобой кора земли безводной.

В свежительном тепле туманистой весны
Ты — чуткий промысл о растущем тайно жите.
Тебе лишь и в земле томленья трав слышны.
О чистая вода небесной вышины,
Тебе сотку я песнь из серебристых нитей.

93. НЕДОУМЕНИЕ

Когда явленья бьются и играют,
Когда стремится ветер, вьется дым,
Ужель мой дух тогда не умирает
И он не то, что перед ним?

Он тот же, иль себя уж он не знает,
Ни сам себя, ни тверди голубой,
И нет всего, что дух лишь заклинает,
Заворожен собой?

В торжественно-обманное мгновенье,
Когда навесы ветхие спадут,
Настанет ли навеки откровенье,
Иль снова дни уйдут?

94. К ПЛАСТИКУ

Сама себя снедающая сила,
Не знаю я спокойных колоннад,
Где уж не раз душа твоя вкусила
Дыханье вечно истинных отрад.

По целым дням ты солнце созерцаешь,
А я все жду восторженных часов,
Меж тем как ты торжественно бряцаешь
На арфе безглагольных голосов.

Я в зрелища вхожу неудержимо
И жду, куда мой путь меня умчит.
А ты стоишь и внемлешь недвижимо,
И дух твой прям, и голос твой молчит.

Познал ты правду вечную кумиров:
В крушеньях мира только их узнал.
А я всегда лишь ропот буйных клиров
И страстный трепет сердцем понимал.

Так я живу, всечасно пораженный
Сияньем ярким, шорохом глухим.
Куда ж несусь, дрожащий, обнаженный,
Крутясь, как лист, над омутом мирским?

95. ВАРИАЦИИ НА «ПОМИНКИ» КОЛЬЦОВА

Давайте веселья,
Давайте печаль.
Давно уж не манит
Волшебница-даль.
И с мира, и с время
Покровы сняты.
Загадочной жизни
Прожиты мечты.
Шумна их беседа,
Разумно идет.
Роскошная младость
Здоровьем цветет.

Мы многое поняли, много прошли,
Товарищи юности странной моей!
Тропинкою топкой вразброд мы брели,
Где плыл одинокий Борей.

Глаза лишь открыли — узнали судьбу,
Печаль роковую в течении дней.
Казалось, мы долго лежали в гробу —
И сердце щемило больней.

Мы с детства искали смущенье глушить:
Играли, играли, о всем позабыв.
Но часто боялись мы к ночи спешить:
Был в сумерки плача наплыв.

Годами пытали мы думы веков.
Ответов искали мы в книгах седых.
Вспорхнуть порывались из мысли оков —
И не было крыльев живых.

И что ж нам осталось от ранних тревог?
Опять собрались мы в палате пустой.
И все превозмог чудной юности бог,
И в прахе — наш век прожитой.

Победная страсть над пустыней взошла.
Мы всё затаили в сердцах.
И знаем — страданьям не будет числа,
Но все мы — в плющевых венцах.

Так встретим мы утро под пение чаш,
Таинственной жизни нагую зарю.
И жизнь не страшна, если пыл этот — наш:
Угроза он Року — царю.

96. ПРИПЕВ

А земля идет, и солнце светит,
То скупясь, то щедрясь на тепло.
Кто заветный ход вещей отметит,
Кто поймет, откуда всё пришло?

И в реках струи живые стынут,
И в реках же тает нежный лед.
Кто те люди, что перстом нас двинут —
И ускорен будет вечный ход?

Тут — зима, а там — вся нега лета.
Здесь иссякло все, там — сочный плод.
Как собрать в одно все части света?
Что свершить, чтоб не дробился год?

Не хочу я дольше ждать зимою,
Ждать с тоской, чтоб родилась весна,
Летом жить лишь с той мольбой немою,
Чтоб была и осень суждена.

Не хочу, томлюся, и живу я,
И живу я все ж, надеюсь век,
И, вздыхая, жизни не порву я:
Плачь, а втайне тешься, человек!

97. НАРАСПЕВ

Я — служитель жизни. Жизнию-царицей,
Ясною царицей с меркнущим челом,
Будет мне всегда возвращено сторицей
Всё, что я утратил в сказочном былом.

Жизни я служу, а существам не верен —
Верен только ей и собственным чертам.
Ход моих годов причудлив, но размерен:
Нет безудержу, запретов нет мечтам.

Смелыми луками вольно развиваясь,
Катится вперед широкая река:
Там, за поворотом, ждут меня, скрываясь,
Новые свиданья, новая тоска.

Берега цветут и празднуют гражданство.
Берега светлеют и дичают вновь.
Нежась на водах, дивлюсь на их убранство:
Мимо проплывают вереницы снов,

Разнеслися песни с края и до края...
Лес, как пар, — за далью заливных лугов.
И река-царица, Жизнь, не умирая,
Ввек не истощит, не смоет берегов.

98. ПО ДНЯМ: II

Якову И. Эрлиху

Сияющие дни, родные встречи,
И днесь, и искони —
Постигну ль тайну ясной вашей речи,
Сияющие дни?

Когда по стенам алый отсвет взглянет,
Взыграет тусклый свет,
А в небесах волна златая встанет,
И явны дали лет —

Откуда мне сие? — я вопрошаю.
Я вижу жизни путь,
И всю его невидимость вкушаю,
Внемля, как дышит грудь.

И путник я, под солнцем, на распутье:
Вдали — туманный мир.
Мне радостно, и не дерзну дохнуть я:
Я духом смел и сир.

И веет в сердце дымка светлой дали —
Всё те же светы дня,

Чтó всходят век в таинственной печали,
К блаженству нас маня.

99. НОВЫЙ ДЕНЬ

В омраченном свете мая,
В страстных, чистых грозах неба
Вспыхнет вновь душа немая
И у жизни молит хлеба.

Тишиной весны благою
Вся обвеянная, стонет:
Над землей моей сухою
Ветер влаги да нагонит!

Я жила уныло-бледно
И досель гоню волненья,
Всё же тишь твоя победна
И развеет муть сомненья —

Словно чудом, разольется
В грозах — битвах сладострастных,
И желаньям подается
Свежий жар небес вновь ясных.

100. ПРАЗДНИЧНАЯ КАНТАТА

Анне Николаевне Г.

Lust will aller Dinge Ewigkeit,
will tiefe, tiefe Ewigkeit.
Nietzsche

Предводитель: Други, быстрей!
Девы и юноши, в пляске кружитесь!
Если порой вы и наземь ложитесь,
Киньтесь тем радостней в волны морей.
Мы — у священных дверей.
Дружно ломитесь, плотнее дружитесь,
И всё смелей, всё отчаянней мчитесь
Стаями вольных зверей.

Кто против нас? Это — недруг великий,
Недруг великий, как рой саранчи.
Что ж не разгонят его ваши клики,
Что ж не рассыплются злые смерчи?
Имя ему — ползучее Время.
Тучи песчинок на нас он несет,
Очи слепит нам... но, славное племя,
Вашего натиска он не снесет.

Хор:

Мы за вами, летучие искры,
Мы за вами, теченья ветров!
Сила ваша — лишь та, что вы быстры,
Что объяли вы дали миров.
И да будем, как ангелы света —
Всепобедных и рдяных огней...
Просвистевшая эта комета
Не догонит нас, молний-теней.
Любим мы старое, дайте и нового вечно.
Родине близки, к иным горизонтам летим.
Всё мы захватим себе, всё кинем беспечно,
Ибо в безгранном мы всё возвратим.
Нет, мы не тонем: на водах колеблемся смело...
Любим мы солнце, великую ширь парусов.
А как нырнем, мы почуем, что зыбь нас одела,
Но свет нам сиял до подводных лесов.
Тихо мы грезим, грозно бушуем:
То мы забудемся всласть,
То вдруг порывы снова учуем —
Неба — раздолия власть.
Вмиг препоясались мы, встрепенулись:
Дальше бесцельно летим...
Так ни разу и не оглянулись:
Только свободы хотим.
И в смятеньи безмятежны,
И в отраде мы буйны,
Восторжéнно-безнадежны
И в венец облечены.
Ничего мы не теряем:
Сердцем, взором соблюдем.
Так простором мы играем —
Прейдем здесь, а там взойдем.

Предводитель:

Века своего мы не скончаем:
Уж и ныне мы — предвечный род.
Но всегда грядущего мы чаем,
Времени мы слышим оборот.
Нам желанны времена и лета:
Ведь над их узлами мы парим,
И размахом птичьего полета
Тягу мертвую смирим.

Святки 1898/99

101 GENIUS

Не хочу небывалого, нового существования.
Я влюблен и в земные породы, и в зелень дерев.
Но мучительно-тягостно тело, его основания
И тяжелая кровь.

И за юною птицей, что́ плавает в шири
Тех великих воздушных морей,
Я давно унестися пытаюсь... я в мире
Всё быстрей и быстрей!

На земле — там и соки дубрав, там и трав ароматы,
Там и шум плодоносно-кипящей весенней любви.
Этой жизненной страстью и в воздухе жилы объяты.
Но меня ты к себе не зови:

Я и сам налечу на тебя, вселюбивая дева,
О рабыня всей тяги веков!
Но тогда же услышишь в поднебесье взмахи напева,
Что свободен от нежных тисков.

102. СПОР

Kein Subjekt ohne Objekt.
Schopenhauer-Kantiani

Долго ль эту призрачную плоть
Из пустынь воздушных выдвигать?
Долго ль ею душу облагать,
Воздвигать ее, чтоб вновь бороть?

Без тебя безжизненно-волён,
Без тебя торжественно-уныл,
Я влекуся в плен твоих пелен,
И тобой я — уж не то, что был.

Но как образу в тебе я рад,
Как я к звуку дальнему стремлюсь!
В страхе на тебя не надивлюсь,
Льну я к толще всех твоих преград.

Всюду за собой тебя влача,
Я тобой, как путами, обвит.
Устремлюсь ли в небо сгоряча,
Снова шаг твой мой порыв язвит.

Не престань меня в пяту колоть,
И затягивать, и вдаль гонять...
Так из века в век нас не разнять,
О творец мой и борец мой, плоть!

103. К ИНЫМ СОБРАТЬЯМ

Замолкли дикие порывы.
Конец и детским нашим спорам.
Теперь мы тихо-горделивы,
И блеска нет безмолвным взорам.

Природу истины мы знаем —
И убежденья, упованья
Мы редко даже вспоминаем,
Как пошлое негодованье.

Игрой нас мысль очаровала,
Мысль, наша легкая гордыня.
Она все билась, восставала
И на себя встает доныне.

Себя поглотит, и возникнет
Опять из собственной утробы.
И кто к ее игре привыкнет,
В том исчезают жизни злобы.

Он холоден и чужд душою
Порывам, юношеским спорам.
Но жизнь красою не чужою
Открыта скрытным, ясным взорам.

104. СЛОВО К ИСТИНЕ

Вы требуете явного сказанья,
Чтоб обличил я дух свой роковой.
И я сложу, как крайнее признанье,
Нагое слово к Истине нагой.

Солгали все великие ответы.
Вернее, не солгали — правы все.
Но не хочу их — издавна воспеты
Они. Меня влечет к иной красе.

Я не хочу их: грубы и убоги
Их светлые иль темные цвета.
Наскучили все демоны и боги:
Их жизнь закостенела и проста.

Пойми, что и тебя я отвергаю,
О Истина, о истукан людей,
Когда тобой я с бытия слагаю
Хоть часть из всех явлений, всех страстей.

Пойми, что обольщаешь самозванно
Ты слуг твоих, когда один хоть свет,

Который нам сияет так желанно, —
Не твой единый истинный ответ.

Знай, что люблю я и обман твой нежный,
Что гонит с небосклона злую тень
Из-за бессильных, коим мир безбрежный
Тогда лишь мил, когда их греет день.

Но мне не нужно нежного обмана:
Пускай он даже прав, а не обман.
Но взор мой — брат и солнца, и тумана:
Он роскошью всемирной обаян.

Так — только если Красота откроет
Мне славу всех явлений и страстей,
Все истины зараз и врозь построит,
Тогда лишь буду в Истине я *всей*.

29 апреля 1899 г.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1899—1901 гг.

105. ПРЕД СВЕТЛОЙ НОЧЬЮ

> Суровость рек, всегда готовых
> С грозою выдержать войну.
>
> *Некрасов*

На волнах заката, торжественно алых,
Я вольно парил в забытьи,
Покинув движенья народов усталых
И слушая страсти свои.
Леса колыхались грядами немыми.
Суровые реки неслись.
И дали своими чертами земными
С божественным небом слились.
И где не дышала здесь Божия воля?
И где здесь не пел океан?
О вечер багряный и чистое поле!
Огнем я святым обаян.

28 июня 1899. Wiborg

106. КРАЙНЯЯ ДУМА

Живя давно в чаду мечтаний,
В своем великом забытьи,
Я приступал к душам созданий:
Меня коснулись их струи.

Есть утешение большое —
Явленьем всяким пламенеть,
Всё равнодушное, чужое
В себя принять, в себе воспеть.

Но где ж надежды ликований,
Свободно-праздничных времен?
О ложь надежд и начинаний!
Грядущий день — нечуем он.

И робко о былом жалея,
Дышу той явной красотой,
Что льнет на миг, но все теплее
К груди и чуткой и пустой.

10 июля 1899. Nevvola (Suomi)

107. ПЕСНЬ ИЗГНАННИКА

На мотив из Калевалы

Из той унылой Сариолы,
Земли изгнания больной,
Я вновь пришел в крутые долы,
Перевалив за кряж лесной.

Преданья предков вспоминая,
Вхожу под сумрачный намет.
Так — мать на мóлодца родная
Пролила неба вечный мед.

Давно спустил я сети, шалый,
На дно чернеющей реки,
За мрачной щукою Маналы,
В пучины те земной тоски.

Все — похвальба была пустая:
Не удалец я, не герой,
И самого река густая
Сманила в топь глуби сырой.

Нечистые впилися силы
И в грудь, и в плечи мне, и в лик
И истерзали жизни жилы,
И вещий окоснел язык.

Но плоти мерзостную груду
На дне трясины роковой
Открыла мать. Сбылося чудо.
Бессмертен дар пчелы живой.

Обретен мед благоуханный,
Что ломти трупа вновь целит.
А мать снесла на брег желанный,
Который сердце веселит.

И жилы ветхие стянулись
От влаги сладостной небес.
И мысли мертвые очнулись,
Когда узнал я отчий лес.

18 июля 1899

108—109. ПОРЫВЫ

I

Если всмотришься в дальнее небо,
Где блуждают деревьев вершины,
Утихают людские кручины,
Замирает людская потреба.
Ведь жестоко здесь кости коснеют,
И шагам преткновенье — коряги.
А в бушующей облачной влаге
Проясненные сферы синеют.
И великие древа глаголят,
На привольи небесном витая,
Там, где птиц легкокрылая стая
О попутном поветрии молит.
Знаю, слишком легка та свобода,
И отважные борются с телом,
Но надломлен я тягостным делом,
И о воздухе плачет природа.
И всегда, в эти бездны благие
Устремляя прозор свой далекий,
Жду, что в чистом и полном потоке
Увлечет меня духа стихия.

II

Мыслей настойчивых воля
Скована крепко и слепо.
Нет, незавидна их доля,
Доля владетелей склепа.
Только в отчаяньи — благо,
В дерзости — вольная сила.
Это — великая влага.
Та, что и камни сносила.
Ей безразличны обличья,
Ей бы лишь в ширь разливаться —
В буре неистовой мчаться,
В битве сплеча разгуляться:
Только в размахе — величье!

23 июля 1899

110—111. СТАНСЫ ЛИЧНОСТИ

between... deeds and days.
Swinburne. Genesis

I

Я обуян двумя творцами.
Один, то — демон чудных слов.
В них жизнь со всеми чудесами
Своей борьбы излила кровь.

Другой, то — дух неудержимый.
Он всё вперед, всё рвется знать,
Чтó там, там за чертою зримой
Тех слов, тех форм ему обнять.

Меж тем, как этот звал в сраженья,
Их первый смело презирал,
Раз не включить в изображенье
Тот пыл, которым бой сгорал.

Но все же я един в обоих,
Я проникаю их вдвоем.
И дух красот мечтал о боях
В воображении своем.

Была чужда согласья нега
Тревоги судорожной той
И страстному стремленью бега,
Когда дышал он красотой.

И песни пенились так дики,
И так буйна была игра,
И, мнилось, силы так велики,
Что и за дело мне пора.

Но до сих пор я бьюсь средь красок,
Подобий, теней бытия,
И сколько расточаю ласок,
Как ярко устремляюсь я!

Все ж ненавистней жажды вечной
Дух твердой воли и труда,
Затем, что тенью скоротечной
Я не прельщался никогда;

Что жив он только вечной целью,
Мгновенье ж для него мертво,
И он глубоко чужд веселью,
Не видя сердца своего.

Да, он не видит и не слышит
Тех отблесков, отзвучий тех,
Что бой житейский в нем колышет, —
Мир этих внутренних утех.

И, вдаль пустив свое сознанье,
Идет он, грозный и слепой.
И слышно хриплое стенанье
В его груди, зовущей в бой.

II

Ужели ж нет певцов деянья?
Есть хор сказителей простых,
Что отлучили излиянья
От дел и подвигов святых.

И как решились, как терпели —
Нам не поведали они.
Итог лишь мертвый нам воспели,
А не души живые дни.

Нет, я тогда лишь бодро стану
В сомкнутый строго ратный строй,
Коль сладко вникнуть можно в рану,
Которой мучился герой:

Сознать, вкусить все треволненья —
Что привело к победе сил
Отваги над путем сомненья,
К тому, чем деятель разил.

И так, удары направляя,
В душе восторженно вонму,
Какою роскошью сияя,
Они гремят мечтанью моему.

24 июля — 3 августа 1899

112. ПРОЯСНЕНИЕ

От дикой, жаркой качки лет
Разгоряченный и разбитый,
Стою я на стезе забытой,
И мой волшебный мир, мне вслед,
Летит, по воздуху развитый.

Темнолазурные моря,
Недосягаемые скалы,
Златорумяная заря,
Что по горам меня искала,

И девы дивные дубрав
Несутся, силы все собрав.

Из всех минувшего глубин,
Из области туманных дум
Выносит их на свет и шум.
Игра узорна. Дух един.
Созрела кровь. Созрел и ум.

23 августа 1899

113—114. ОСЕННИЕ ГОЛОСА

I

По обширным полям моих дум,
По концам многолюдных земель
Веял в холоде дней моих хмель,
Затаенный в тиши моей шум.

И всегда не хотел я людей.
Я любил беспристрастный обзор
Стен, высот и степных областей,
Величавый, игривый узор.

Я на башни немые взирал,
Я внимал грохотанью лавин
И средь северных явных равнин
Я с осенним дыханьем играл.

Высока моя песнь, высока:
Так холодные токи плывут,
Легкий дым в небесах, облака...
Ни страстей, ни уныния пут!

Так по нивам житейским лечу,
А порой укрываюсь во ржи.
О, дышать вновь и вновь я хочу:
Сказку, ветер, как встарь, мне скажи!

Август 1899

II

Убийственный туман сгустился над столицей.
И ноют, смерть в себе тая, сердца, дома.
Сцепились всюду колесница с колесницей,
И цвет земли погиб, а далека зима.

Удел наш — нищета, уродство и бессилье.
Высасывает кровь из нас сырая мразь.

И Скука распластать губительные крылья
С Тоской седой вослед идут, не торопясь.

Зачем ты здесь, мой дух, в крови глухих страданий,
О ты, что веруешь в блаженство горячо?
Властителен, как царь, строитель славных зданий,
Ты вражьей силе дал ломать свое плечо.

Ты — в мире демонов, зловонных и холодных,
И в их руках теперь — теснящая судьба.
Но сущий — ты один, создатель чар природных
И тех же демонов, чтоб с ними шла борьба.

С беспечностью косясь на призрачное тело,
Чтó в слякоть немощью своей меня влечет,
Прозрящий взор летит к блаженному пределу,
Где радужная жизнь в глуби теней течет.

А тут же, близ меня — я знаю — есть собратья,
Которым нем юдоли покаянный плач.
Он небылица: в нас ведь — бытия заклятье.
Из смертной сей земли вперед! Наш свет горяч.

Сентябрь 1899

115. К СЛУЖИТЕЛЯМ

Вы взором тонули в безбрежных просторах,
Себя не поняв в сокрушенных укорах
Себе и сопутникам дней.
Вы были сосудами силы несметной,
Теснившейся к цели, всё к цели заветной,
С отчаяньем рвавшейся к ней.

И гордые люди идут вам на смену:
Не мечут они возмущенную пену,
Не лезут на стену,
И внутрь обращен у них взор.
Что чуют они, то в себя принимают,
Себя обретают, в себе расцветают:
В себе им простор.

1 октября 1899

116. БЛАГОДАРНОСТЬ

Мне вас ли не благодарить,
О демоны мятежных размышлений!
Сумели вы мне волю, личность покорить,
Отвергнув блага все, со днями примирить,
Найти в себе убежище томлений.

И вот, после того, что узнавал я тьму,
И мертвым холодом на грудь мою дохнуло,
Я доверялся вновь лукавому уму.
И кровь застывшую опять бежать тянуло,
И жар присасывался к сердцу моему.

17 октября 1899

117. ОТРЕЧЕНИЕ

Посвящено А. Н. Г.

Да, всё бегут часы, но уж не так, как прежде.
И светы радуют, и волны дум растут;
Но места нет в душе единственной надежде:
Восторги первой страсти не взойдут.

Ты там же всё вдали, о легкая, как пламя,
И мощная, как плоть густых, сырых дубрав.
С тобой расстались мы широкими словами,
И мысли зов и воли суд мой прав.

Я не создатель, нет — я только страстный голос.
Могу я жаром обаятельным дохнуть.
Но жизнь моя, увы! на части раскололась,
И иногда не дышит грудь ничуть.

5 ноября 1899

118. ЗИМНИЙ ГОЛОС

..The breath of these rude days
Rocks the year...

Shelley

О старость могучая круглого года,
Тебя я приветствую вновь.
Я юн, как мечта, и я стар, как природа,
Хранитель событий и снов.

Так радостно осени ветры свистали,
Носясь по жнивьям, зеленям,
И столько безумных дождей наметали,
Рыдая по сгубленным дням.

Великому жизнь обреклась запустенью,
И ждал обездоленный мир:
Ужели же смерти не минуть растенью,
И край навсегда уже сир?

И ветры с неведомых стран налетели
Под вечер промокшего дня.
И росы хрустальные к утру осели,
Таинственный холод храня.

Так славлю я снова священные зимы.
        Пусть греются зерна, чтó грезят в земле,
И мыслей посев, дальновидный, озимый,
        Медлительно всходит в челе!

3 ноября 1899

119

Откуда силы воли странные?
Не от живых плотей их жар.
Но небеса парят, пространные,
И пламень влажный льют мне в дар.

А все мила земля дебелая.
Как дивен бедный вешний цвет!
И в сладкой страсти нива спелая,
И щокот славий — дерзкий бред.

И кровь кипит в самозабвении
И верит, пламенно любя.
Захлебываясь хмелем рвения,
Кто юн, не сознает себя.

В согласьи древнем мощь животная
С великодушной страстью дел.
И род летит: он плоть бесплотная.
Но хочет личный дух быть цел.

Ах, личность жаждет целомудрия.
Средь пышных рощ, холмов, лугов
Молюсь на облачные кудри я,
На сонмы вечные богов.

22 декабря 1899

120. ГРАНИ ПОЭТА

Macht zu üben nur Genuss.
Novalis

Знаю — суров я и слаб.
Нет мне упругости струй.
Гордости личностной раб
Презрел волны поцелуй.

В чем же свободу искать,
Личной твердыни исход?
Вечной гордыни запрет,
Как мне себя выпускать?

Сладость мне только в бою,
Только в усилии сил.
Зреть самобытность свою —
Дух лишь об этом просил.

В подвиге нежу мечту,
В неге я рвуся к борьбе.
Всё захватить на лету —
Так положил я себе.

Жизни не дам я качать
Мыслей и мышец своих.
Да, я один на двоих:
Кто же придет выручать?

23декабря 1899

121. МАДОННА В. ВАСНЕЦОВА

Небо в вещих звездах...
Край угрюмый и серый,
Весь в стоячих водах,
Мертвых, как дух без веры...
Ниже — дневной небосклон,
Низкий, придавленный, тупо страдающий,
Выше — звезд торжественный звон,
Полный отрады мерцающей...
Недуг снедает весь край:
Край — в лихорадке болотной...
Звезды глубокие шепчут про рай,
Про таинство жизни бесплотной...
Жена над краем воздвигается:
Стопами на земле основана,
Глава звездами очарована,
От женщины той Бог рождается,
Бог-Младенец неисследимый,
Тот, о Ком так грустно бредим мы
В наших топях и песках...
Взор — порыв самозабвения
И огонь проникновения...
Дышит восторг вдохновения
В простертых к небу руках!..
Матери лик величавый
Бездну во взоре таит —
Мир безысходной отравы,
Той, что нам всем предстоит,
Когда окрылится Младенец,
На нас Его духом пахнет,

И что каждый из нас — отщепенец,
Наш род беспокойный поймет...
....

1899 г.

122. НАБРОСКИ

Много в руки нам дано игрушек.
Божий мир и страсти человечьи.
Много нам расставлено ловушек:
Отовсюду нам грозит увечье.

Есть пред нами немощное тело,
И зачем-то к нам оно пришито:
Все, что эту внешность лишь задело,
Почему-то и внутри прожито.

Скверных штук немало в нашей доле:
Лезут всё какие-то предметы.
Так и шмыгают меж ног у воли
И ее расстраивают сметы.

Что ж, чего же, волюшка, ты хочешь?
А козявки эти часто любы.
Ну, пока о них еще хлопочешь,
Их целуй, на них точи и зубы.

Пусть они туда-сюда таскают,
Пусть как будто тешатся тобою:
Их твоя охота лишь ласкает.
Правишь ты сама своей судьбою.

1899 г.

123—125. ГНОМЫ

(Γνῶμαι)

Бежать в нелепость, в небывалое,
Себя бежать?

Случевский

I. ВЕЧНЫЕ МУКИ

В страдании — могущества свобода:
Я есмь — но все, что есть, я отвергаю.
Живу я силами иного рода,
И так жизнь внешнюю превозмогаю.

А радость — чувство не от нашей воли:
В нем покоряемся мы тел потоку.

И если сладость ощутил я в боли,
То просто сердце я подладил к року.

Да, мы к страданью так давно привыкли,
Что полюбили пост и ужас кельи.
И потому мы к радости приникли,
Что не под силу стало нам веселье.

Себя мы нудим к радости летучей,
Чутьем лукавой гордости влекомы:
С тем, чтоб отвыкнуть от тоски плакучей,
Забыть наш рок, заранее знакомый.

Как в первый день, ликуя, мы играем,
Так просто небу ясному смеемся.
И тем, что блескам всем себя вверяем,
Ударам грозным мы врасплох даемся.

Их выдержим спокойно и мятежно.
Нежданной муки жар нас не разнежит.
Пока людское горе безнадежно,
Не прекратится наш зубовный скрежет.

II. БЫТИЕ И ЕДИНИЦА

Нет, не было у смертных большей веры,
Чем Бог, что все творит из ничего.
Борьба посредством данных сил, их меры —
Ничтожное людское торжество.

Нет мощи в том возможном созиданьи,
Что, лишь разъяв себя же, два творит.
Но если часть себя отдать — в страданьи
Возможность величайшая царит.

III. В НЕБЫВАЛОЕ

Стыдитесь говорить: нельзя! взывайте: можно!
«Н а в е к и» — это смерть, а власть — «в с ё д о п о р ы!»
Ведь непреложное так пусто и ничтожно,
Вне всякой вольности и роскоши игры.

«В с ё м о ж е т б ы т ь!» И так быть всемогущ могу я,
«Н е л ь з я н е б ы т ь» — то для невольников закон.
Возможность берегу, в возможность убегу я,
Не вечен ни один заветный Рубикон.

Люблю я Истину, но так же мило Мненье,
И вечность хороша, лишь если время есть.
Под каждым Мнением заложено Сомненье,
Как заповедный клад: то личной воли честь.

10, 12 и 19 января 1900

126. НАБРОСКИ ОДЫ

Wer hat des irdischen Leibes
Hohen Sinn errathen,
Wer kann sagen,
Das er das Blut versieht?
Novalis

Волокна, мышцы всё теснятся
Вперед и вверх; тепло и дух
Зовут, чтоб силами меняться,
Чтоб совершался жизни круг.
Огни земли, огни лесные
Варят для них плоды земные.
Густые, плотные плоды.
И вот, впитав их соки, тело
Опять раздвинуло пределы,
Опять растут людей роды.

И крови мерное теченье
Приемлет тела, солнца жар,
И в сердце плеск круговращенья
Кипит, как в небе звездный шар.
По сердцу, по среде томится
И вместе вне и вдаль стремится
Строительница жизни кровь.
Ей в срок урочный возвращаться,
Чтоб вновь извне обогащаться,
Чтоб ткать живые ткани вновь.

И все творит, и все струится,
И тело — тьмы сплоченных сил.
Но нечто от ума таится:
Их много,— я один пребыл.
Сейчас лишь здесь толпы их были,
Теперь уж сплыли и забыли:
Я не могу быть там, тогда.
Когда б я был всегда и всюду,
То мне не быть, иль сбыться чуду:
Я — это мест, минут чреда.

24 января 1900

127. ПРИСЛОВИЯ

М. А. Е-чу

Есть люди, что жаждут страданья.
Приняв его, боль сознают,
Но в горе им — жизни созданье
И неги суровый приют.

Есть люди, что страстно страдают,
Но скудно так жизнь создают,
Что в счастьи лишь сладость вкушают,
А в горе лишь горькую пьют.

3 февраля 1900

128

Кто мы? неведомой породы переходы.
Она-то наконец до счастья доросла...
И вот влечет и нас свет праздничной свободы.
Порода вновь творит — и нет в желаньях зла.

Питал себя, растил наш род во время оно.
Он мышцы устроял и соки насыщал.
Горящий весь в жару от солнечного лона,
К струям морей и рек себя он приобщал.

Любил он дом родной, и град, и землю дедов,
В ростках супружества он возрождал свой лик.
В совете, на войне — боец без смутных бредов,
Он в смерти веровал: двуногий зверь велик.

Весна 1900

129

Вот опять уж вы объяли, о весенние дали,
Сердца бедного занывающую грусть.
Ах, что раньше вы мне дали, что раньше подсказали,
Я ведь знаю уж давно наизусть.

Что ж, прости — скажу истоме; как в святом водоеме,
В лучезарных искупаюся струях.
В жизни сдавленном объеме, в этом замкнутом доме
Буду жить я, как в волшебных краях.

1900

130. ВЗРЫВЫ ВОД

Ликующие волны-звери,
Белоголовые зубры,
Хвала стремящей вашей вере,
Надежде дерзостной игры!

В пустынях гама несвободных,
Где с пыли высохла гортань,
Толпе скитальцев сумасбродных,
Тоске, унынью нес я дань.

И в бор пушистый, в бор корнистый
Меня привел младенец-бог.
И там распелся голосистый
Широкопенистый порог.

Я был спокойный и согбенный,
И обуял меня испуг.
Я окроплен святою пеной,
И гулом захлебнулся дух.

30 мая 1900. Imatra

131. ВСХЛИПЫВАНИЯ

Из финских голосков

По тропам и по омутам,
По лядинам я брел.
Пробирался я к дрому там —
Ничего не обрел.
Ничего... ни дыхания,
Ни струи не плеснет.
Лишь ольхи издыхание
К тихой тине все льнет.
Смерть мне! — сердце подумало, —
Здесь, где камни и хлябь...
Смилосердился Юмала:
Где-то тронулась рябь...

8 июня 1900. Pellisenranta

132. ЗАТИШЬЕ

Как я люблю тоску свободы,
Тоску долов, тоску холмов
И в своенравии погоды
Покой садов, покой домов!

И дней ручьи луками вьются,
И так играет с ними свет,
И в берега озера бьются,
А море дальний шлет ответ.

В странах безвестных, небывалых
Идет война, гуляет мор —
Страстей, страданий, страхов шалых,
Любви и гнева древний спор.

Но я люблю их шум протяжный,
Призывный, призрачный их шум.
Их проницает помысл влажный,
Их созерцает яркий ум.

Нет душных снов в ночах безвольных.
В привольи дня курю я сны,
Что́, средь пустынь моих юдольных,
Из сердца мысли рождены.

16 июня 1900. Rauharanta

133. ВЕДУНЫ

Мы пройдем над коснеющим городом плавной стопой,
Как пары, мы пройдем над немыми, глухими домами.
Он навек ли кирпичный, булыжный застой?
Нет ли тайной и точной беседы меж ними и нами?

Да, их строили мертвые люди, с пустою душой.
Но забились сердца за тупыми, слепыми стенами.
Исполинская заводь, запруда, о город большой,
Испаряется песнь над зловонными мути волнами.

Если там, за лампадой, убогое сердце горит,
И его не принять ли нам в веденье наше с приветом?
Где ютятся торги, ремесло в полумраке творит,
Это быт устрояется, глушь украшается цветом.

Ты свети, не копти, о подгорных елеев огонь!
И топи, и дыми, о лесов краснобурое пламя!
От осенних снегов до весенних ручьев ты их тронь,
Плоти, крови, что стынут, замкнуты прямыми углами.

Пусть грохочут подводы, повозки по злым мостовым,
Пусть светильные газы бегут неживой вереницей —
Вещуны улетят в небеса по трубам дымовым.
Чтоб витать и гадать над мечтами, судьбами Столицы!

9 августа 1900. Петербург

134. В ЕЗДЕ

Размеры дальних расстояний,
Мне зрим ваш белоснежный смысл.
Вы совершенней изваяний,
Простор и время, беги числ!

Летят пробеги и прогоны.
За стрелкой часа дух следит.
Над родниками тайг — иконы,
И пахарь пашню бороздит.

Пускай леса порою тощи,
Мелеет полный гул дубрав —
В пустынях разрастутся рощи,
Земля насытит вволю нрав.

Величье дебрей самородных
Восстанет в рощенной красе.
И глас живой творцов свободных
Подтянет плугу и косе.

8 сентября 1900. Осташковский край

135—136. СТАРШИЕ БОГАТЫРИ

I

И в годы серые бессилия простого
Вы мне встречались на распутиях души,
Столпы громадные Мечтания святого!

Вы возвышаетесь поднесь в родной глуши,
Один — носясь над ней на исполинских крыльях,
Другой — твердынею обставший рубежи.

О гордый горный царь, пусть ты угряз в усильях,
Но властною главой ты грозен небесам
И степи, что ползет в пыли, в колосьях, в быльях.

В зияньи мертвых скал, в гробнице только — сам,
Ты знаешь — власти нет у неба над землею:
В ее лишь недрах — мощь; за нею дым да гам.

Пускай оратаи потеют над сохою
И сыплют семена из бурой той сумы,
Которой не поднять тебе твоей рукою.

Она не по тебе. — Но честь — под сенью Тьмы.
Ты поднял бы суму — в тебе не стало б славы:
Тревожно б ты ходил, как ходим, бродим мы.

Нет, не затем ты рвал к себе небес составы:
Их кованным кольцом ты с земью бы сомкнул,
И был бы мир венец, — чтó Вечность— шар державы.

Но в бездне ты навек торжественно уснул.
И вещий этот сон. Он ведает: движенье —
Посев и урожай — то издыханий гул.

И так ты превозмог мест, сроков протяженье.
Ты всюду и всегда: иного нет, как ты.
Нет воли — нет судеб, побед ни пораженья.

Дела, тягло живых, — пары твоей мечты.
И светлый небосвод — то вымысел был воли.
И прах семян сорить — вот тяга суеты.

От века, Святогор, владыка ты юдоли.

II

Μανία—μένος—mens

Как вал, восстала высь над ровною землей.
Кто быстр, ширяет тот по всей пустынной шири.
То своевольный смысл, отважный то разбой.

Чем бурный скок да лёт — нет лучше силы в мире.
И кто есть плоть и кровь от всех живых стихий,
В оплоте градов — вождь, и вождь — в кровавом пире.

Так! дивный оборотень, хитрый, мудрый змий,
Ты зорким оком зрел зараз полдень с полночью.
Ты чутким ухом внял трезвонам двух Софий.

Ты чуял, вещий Волх, как корень рос, воочью.
В тебе был сизокрыл-орел, был волк седой.
Проник ты в жизнестрой, в тела, ко средоточью.

Ты слово знал. В нем свет, в нем жар, в нем — влаги бой.
Заклятье бытия — мечта и разуменье:
То обаяние души — плоти живой.

В размахе Думы — Русь, размер без измеренья.
Рядил ты суд и строй в уделе пущ своем.
И тут же ткнул копьем в стол южного княженья.

Родившись, ты прорек. Разнесся в небе гром
И ужас обуял животные обличья,
Бежать пустился всяк в глухой и темный дом.

Сознали воды, дебрь, и зверь, и племя птичье,
Что ты — из рода их, преемник всех их сил,
Что целость ты их благ, богатства и величья.

И так ты их постиг, настиг и изловил.
Объем ты скинул, стал мураш — твердынь не стало:
Громады сплоченные царств ты разносил.

А чья людская власть до власти той достала?
Чтó значит пахарь тот с присошком золотым,
Чью сошку взять и несть тебя с дружиной мало?

О гнет земной груди, ползучий, тяжкий дым!
Он в поле от жары и от дыханий пышет,
И семена в земле рождают только им.

Согбенный человек черты по комьям пишет,
По целым дням влачась в сыпучей их пыли.
А смелый, гордый лёт тех комьев не всколышет.

Но налету проник и ты ведь в глубь земли.
Ты в слух свой уловил ее лукавый шепот,
Излучины корней, протоки струй в стебли.

Те тайны из нее исторг твой конский топот,
Когда неистово на воле ты скакал,
И воздух возмущал дружины славный ропот.

К чему тогда соха? Присошек пусть сверкал,
Пусть дело не твое тягаться с тяготою —
Над Русью власть Восторг Души тебе снискал.

И ты без пахаря не тронут нищетою.
Ведь ум ты, чудотвор: ведь ты воззвал к песку,
И рожь произросла волною золотою.

А взял бы ты соху, и тугу, и тоску,
Впрягись ты в нудящую лямку плоской дали, —
И ты невольник дней, подобно Мужику,

И суть твою и мощь судьбы пересоздали.

Октябрь 1900

137. ВАРЯГИ

Герои личной гордости безмерной,
Служители властительных богов,
Боялись неги вольной суеверно,
Их тешил только лютый звук рогов.

Хмелея лишь от тягостного меда,
Не млея, а лишь с ног своих валясь,
В твердынях Библии и Саг народа
Они замкнулись вдруг, не шевелясь.

В них самолюбье, самогубье было.
Под знаменем владыки, Бога Сил,
Как никогда, гордыня возопила,
Как никогда, их рок превозносил.

Так, проклятые сладкой жизнью тела,
Они прияли горестный урок:
Побил их царь пустынного предела,
Как степь, воздушен, светел и широк.

Он заливался бешеным весельем.
Ликуя, светоч жизни он сжигал.
В нем кровь зверей горела горьким зельем.
Он, край спалив, державу воздвигал.

В нем восставала свежая природа.
Гораздый распускался в нем народ.
И натиск мудросмелого похода,
Как вихорь, смел варягов шалый ход.

Молюсь вам, предков дерзостные тени!
Мечтами самоцельными влеком,
Я не хочу пород и поколений:
Люблю свой рост, но с родом незнаком.

Дышу одним безумным, диким бредом.
За духа честь в бесцельный бой иду.
Но смерть наверно — путь к моим победам;
И от руки пород живых паду.

Осень 1900

138. СРЕДА

Не земля, а так — одна зыбь поднебесная,
и один солдатик сторожевой стоит.

Предо мною — распутье народов.
Здесь и море, и земли, всё мрет
В этих устьях, под грохот заводов,
В хляби мглистых и тинистых вод.
Это крайняя заводь, глухая,
Край лиманов и топей речных.
И по взморьям клубится, вздыхая,
Пар болот и снарядов стальных.
Здесь граждан коренных не бывало;
Но, сойдясь из противных концов,
С укреплений высоких, с забрала,
Всё сшибались кольчуги бойцов.
Здесь заглохли и выдохлись финны,
Шведы строили крайний оплот,
А на них новгородцев дружины
Направляли свой беглый налет.
Так он пуст был века за веками,
Этот край островов и паров.
Меж озерами, морем, реками
Он продрог под бореньем ветров.

И безумные дни наступили,
Царство демона древней Москвы,
Антихриста отеческой были,
Кто чрез дебри прорыл свои рвы.
Порываясь к морям ненавистным,
Он низвергнул свой град родовой,
И, кипящий стремленьем корыстным,
Вел пиры на земле неживой.
Так воздвигнут им город плавучий,
Город зыбкий, как мост на плотах.
Вдоль воды, разливной и дремучей,
Люди сели в бездушных дворцах.

Иноземцы стекались толпами,
Наживаться грузами судов,
Управлять кочевыми полками,
От гражданских кормиться трудов.
Над породой свершилась победа;
Здесь ее не слагали века:
Сын Руси забывает здесь деда,
А у Шведа по Руси тоска.

В ком крепка была сила породы
Перенес ее в быт домовой,
И немногие свежие всходы
Из целины взросли бытовой.
Но вмещали их домы нагие
В духе Цезаря новых веков,
А сады всё квадратно прямые
Иль на лад пасторальных лужков.
Только баре спасались в поместья:
Там сочны были предков хлеба.
Но пробило им смерти предвестье,
Как лишили их власти раба.
....

От казны, от торгов, от заводов,
Не от благ, что из почвы идут...
Так кончаются лица народов —
Самородные лица грядут!

Зима, 1900—1901

139. К П. П. КОНРАДИ

Ты прав — не века сын, я чую лишь отзвучья
На мертвую тоску иль на живую страсть.
Нет, сын цветущего, как сад, благополучья
Судьбам неведомым обрек себя на часть.

Гроза таинственная вечно идет мимо.
Я чутким трепетом всечасно возбужден.
Струятся дрожь, озноб в крови неутомимой.
Чуть замер в сердце дух — уж вновь он возрожден.

И вся вселенная — на лоне вертограда.
Так тайно, жутко все, уютно, верно мне.
В траве и в сенях — цвет, и влага, и прохлада;
А пламя, тьма грозы — вдали, в глухой стране.

7 апреля 1901

140

Солнце на вершине мачты.
Мы за ним летим.
Ветр, заливистый трубач ты,
Ветра мы хотим.

Небо — жизни плащаница.
Воды — ризы волшебной ткань.
О взыграй до восторга, зеница,
До зенита воспрянь!

Ветер, выспренний трубач ты,
Зычный голос бурь;
Солнце на вершине мачты —
Вождь наш сквозь лазурь.

5 июля 1901

СТИХОТВОРЕНИЯ 1890—1899 гг., НЕ ВОШЕДШИЕ В «МЕЧТЫ И ДУМЫ». НЕЗАКОНЧЕННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

141

Блажен, кто долго сохраняет
Чувств детских, мирных простоту,
Кого природа восхищает
И кто таит в душе мечту.

Кто в темном боре, в отдаленьи
От света, шума и людей
Подчас приходит в восхищенье
От обстановки чудной сей.

Блажен он, хоть глупцы иные
Его бранят, его корят,
Над ним смеются люди злые,
О нем с презреньем говорят.

Не сын он века — ну так что же?
Бездушны, грубы стали мы.
Тем мне приятней и дороже,
Что есть поэт средь этой тьмы.

Но также люди есть иные:
В душе поэты все они,
Но стыдно вдруг им, — о, слепые!
Что так мечтают в наши дни.

Когда подчас луны сиянье
Красой своей их восхитит,
И о поэзии мечтанье
В их душу сладко залетит,

Они скорей мечту гоняют,
Желают веку подражать,
В душе поэзью усыпляют
И не хотят об ней и знать.

Да, да, ослеплены вы веком:
Для вас поэзья чуть не зло,

Испорчены вы человеком,
Добро в вас прозой заросло.

Так пробудите, пробудите
Вы это спящее добро,
На лире смело вы гремите,
Беритесь смело за перо.

Поэзию явите миру,
Не бойтесь света, гордецы,
Не поклоняйтеся кумиру,
Прозрите, спящие слепцы.

Боярки, 15 августа 1890 г.

142—143

1

Die Tempelkleinodien des neuen Gott,
Des grossen Unbekannten.
H. Heine, «Deutschland», Kap. II.

ИСПОВЕДАНИЕ

Певцом любви меня природа не создала,
Не буду также я второй Анакреон,
Не веселят меня шальные звуки бала,
И пиршественных чаш противен стал мне звон.

В роскошной зале я брожу без наслажденья,
И тесный угол мне в стократ ее милей,
И, грешен, не могу не кинуть взор презренья,
На пляшущих пустых, холодных богачей.

Людских пороков я хочу быть обличитель,
Мой первый враг — война, второй мой враг — обман.
Союзник будь Ты мне, Христос, о мой Спаситель,
При помощи твоей я не умру от ран.

Несправедливость — враг мой третий и сильнейший,
Мне больно, тяжело везде ее встречать,
И каждый человек, будь он наидобрейший,
Суду врага того обязан подлежать.

Апокалипсис я держу в руках, мечтая,
Паденье Сатаны в нем Иоанн предрек,
Христова эра в нем предсказана святая,
О, скоро ль, Боже мой, настанет этот век.

3 февраля 1892 г.

2

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

В дальней стране, близ залива Лепантского,
Высится древний Парнасс.
Сумрачный старец он, роста гигантского,
Гол, неприветен для глаз.

Дельф уж не видит гора та священная,
Мусор на место их лег.
Всюду царит тишина неизменная,
Море шумит лишь у ног.

«Где ж Аполлон? где вы, Музы веселые?»
Спросит при этом поэт.
«Все здесь наводит на думы тяжелые,
Счастья здесь прежнего нет!»

Да, эти тени навеки умчалися,
Их не воротишь назад!
Люди, что некогда им поклонялися,
Ныне в могиле лежат!

Культ красоты и бездушной пластичности
Культом сменился иным,
Сказки отвергли седой мы античности,
Всё разлетелось, как дым!

Культ альтруизма, любви и прощения,
Вот наш священный закон!
Пусть же звучит наше новое пение,
Новый раздастся пусть звон!

Бросьте, поэты, вы к музам воззвания,
Бросьте о Пинде писать.
«Мертвым оставьте, глаголет Писание,
Вы мертвецов погребать!»

Что нам Парнасс, коли нет обитателей!
Идол был наш не Парнасс,
Музы и Феб — вот предмет обожателей,
Скрылись они с наших глаз!

Ну, так забудем их даже название,
Звук они ныне пустой.
Вступим торжественно в новое здание
Новой годины святой!

4 марта 1892 г.

144. ИЗ ПЕСНИ СТРАННИКОВ

Bleibe nicht am Boden heften.
Goethe

Друг! к земле не прилипая,
Смело в мир пустись — дерзай!
Свежий дух, рука живая —
Им везде родимый край —
Если только солнце ясно
Светит, чужды мы забот.
Разлетимся же! Нас властно
Вся вселенная зовет.

1893—1901

145. СЛАДОСТЬ ЖИЗНИ

(Lebensgenuß: Goethe)

«Ну, право, кто же так живет?
Ни дня усилья не соснут...»
— Но что за славный вечер ждет,
Когда весь день — творящий труд.

Как рвать пойдут туда, сюда,
И силы нет ничем помочь,
Так тут я сам не свой всегда:
Мой день пропал, из рук вон, прочь.

Но вот мне явны нужды всех,
Познал я степень сил своих.
Как жарко дело: вот успех —
И день в руках моих живых.

Так! дни утратили права.
Исчезли грани мест и лет.
Ведь вдохновенные слова
Пускают в вечность свой полет!

Июнь 1893, 1901

146—147

<1>

Латынь и алгебра, история вся в датах,
Над сердцем всё бесследно пролетит,
Ум закует в стальных познанья латах,
Но жизни путь ничем не осветит.

И выбросит питомца в путь тот школа,
Без завещаний, нерушимых в век,
А в голове его мертво и голо,
И в нем не образован человек.

Хаос мирских хлопот и отношений
Предстанет в пестрой пляске перед ним,
Чтоб, лавируя, не терпеть крушений —
Компас, компас ему необходим!

Компаса нет! — А в тех предметах знанья,
Которые зубрил он восемь лет, —
Он ни в одном не сыщет указанья,
Как в этом море устоять сует.

В них есть пробел и роковой и странный,
Науки жизни нет в них и следа

<2>

Часть бóльшая — груба и мыслию тупая.
Их взгляд на жизнь в то время уж созрел
Сложился он у них в шестом иль пятом классе
Взаимодействие товарищеских сил
Жизнь дала этой пестрой, дикой массе,
И гимназист тот взгляд в груди носил.

Труд — барьер, мученье, необходимое зло.
Безделье, наслажденье — цель, идеал.

То отвращение к жизни трудовой

Да, — от труда ловчее увернуться
Жить на достатках, оградившись от труда,
Вот чем весь должен жизни бой замкнуться,
Весь ум и хитрость должно класть туда!

Вот то желание, что в большинстве горело,
Когда учебная тянулась канитель,
Желание, что наконец созрело
До взгляда прочного на жизни цель.

<1893—1894>

148. ПЕСНЯ ПОЭТА ИЗ «КОМЕДИИ ЛЮБВИ» ИБСЕНА

Солнце светит в роще, поле,
Клумбы, изгородь в цвету.
Что грустить о зимней доле,
Ждущей эту красоту!

Вот приветно расстилает
Белый яблоня покров.
Там зимой пускай желает
Сбросить всё напор ветров!

Уж не о плодах ли станешь
Думать, когда все цветет?
Полно — с грустью сам вспомянешь,
Как расцвет весны пройдет!
Пугал ты наставил всюду,
Чтобы птиц с цветов сгонять.
Брось, брат! ты придумал худо:
Лучше песням птичек внять!

Да, поверь мне — пташке можно
С яблони клевать цветы.
Плод утратишь безнадежно —
Песней награждаем ты.
Так ты выиграешь много:
Станет песнь — за поздний плод.
Вспомни, что и время строго:
Минет юности черед.

Распевать и жить хочу я!
А последний цвет сорву —
В кучу все цветы смету я,
Брошу в сторону, в траву.
И траву в садах и в поле
Пусть свободно щиплет скот.
Я же рву цветы на воле,
Презирая мертвый плод.

Август 1894. Павловск

149

С пылким мужеством я паруса распустил

Чаек стаи гоню беспрерывно.
Прочь рассудка балласт в глубь бездонную вод.
Так, хотя моя лодка и ко дну пойдет,
Всё ж проедуся по морю дивно.

(Ибсен. «Комедия любви»)

150

Я с жаждой ширины, с полнообразья жаждой
Умом обнять весь мир желал бы в миг один:
Представить себе вдруг род, вид, оттенок каждый
Всех чувств людских, и дел, и мысленных глубин.

Всегда иметь тебя перед духовным взором,
Картина дивная народов и веков!
Вот что бы я считал широким кругозором
Ума, вознесшегося вплоть до облаков...

11 ноября 1894

151. СВЕТОБОЯЗНЬ

(Ibsen)

Как сердце, бывало, отвагой вздымалось,
Какой я веселый и в школе сидел,
Покамест лишь солнце в горах не скрывалось
С отливом кровавым, чтó на небе рдел.

Но только что ночь этот отблеск гасила
И кутала землю в свой мрачный покров,
Мне душу мутила нечистая сила
Из сказок и саг стародавних веков.

А раз только в душу вползали мне эти
Исчадья фантазии вещей моей,
Мне все становилося страшно на свете,
А мнил ведь себя я героем, ей-ей.

Теперь же совсем уже дело другое:
Вот как моя жизнь изменила меня!
Теперь упадет во мне вмиг ретивóе
При первом сиянии нового дня.

Чудовища дня, эти пошлые лица,
Их вечер с крикливым весельем своим,
Всё грудь мне терзает, всё мелочно злится,
Что я — не товарищ трудам их дневным.

Стараюсь я скрыться под складки покрова,
Под призрачным саваном ночи немой.
Парю как орел над горами — и снова
Забуду про жребий проклятый я мой.

И я разбиваю тиски и оковы:
Туда, в бесконечность! в синеющий свод!
И страх мой исчез, и все раны здоровы, —
Покамест лишь утренний луч не блеснет.

Мне свет нестерпим, если в свете прозрю я
Лишь будничный день, мне постылый давно.
Да, если великое чтó сотворю я,
То будет созданием ночи оно.

Декабрь 1894 г.

152. РУДОКОП

(Ibsen)

Разбивайся же с гулом и громом
Под ударами млата, скала!
Пробираюсь туда я со взломом,
Где глубоко руда залегла.

Самоцветные камни там манят,
Красноватое злато блестит:
Всё в ту темную глубь меня тянет,
Где страданий земных не гостит.

Пробивай мне дорогу, мой молот,
К человечьему сердцу в тайник!
Был в ту пору ретив я и молод,
Как спустился я в мрачный рудник.

Знал и я ведь весенние годы,
С детским счастьем на солнце глядел:
По пути всё — цветущие всходы...
Радость жизни была мой удел.

Но забыл я о солнечном счастьи,
Как в полночную шахту проник.
Бей без устали, млат, и в бесстрастьи:
Рвусь я к сердцу людскому в тайник.

А как слез я под землю впервые,
Отчужденный от будничных мук,
Тут я думал, что духи живые
Истолкуют мне жизненный круг.

Но мне не дал никто разъясненья,
Чтó клокочет там в недрах, внутри.
Мне никто в этой бездне сомненья
Не возжег светоносной Зари.

Так ужель я ошибся — и к свету
Даже путь глубины не ведет?
Но от солнца уж нет мне привету:
Свет земной мне лишь очи гнетет.

В глубине же так тихо, прохладно
И страстей во мне сякнет родник.
Бей по камню, мой молот, нещадно:
Путь мой — к сердцу людскому в тайник.

Так я сыплю удар за ударом
До конца моих сумрачных дней.
Ночь пронзить порываюсь я даром:
Нет просвета, нет проблеска в ней.

153. ИЗ VERS D'UN PHILOSOPHE* ГЮЙО

1. О, мысль моя! чтó это вздумалось тебе
Внезапно покидать все торные дороги,
И замыкаться, вся измучившись в борьбе,
В стих принудительный и строгий?
2. Я в каждом слове стал гармонии искать,
Какой-то голос прозвучал во мне безвестный,
Он в сердце сладость лишь и слух мне стал ласкать
Своей мелодией прелестной.
8. Поэт пред жизнию не властен над собой:
Помимо воли он поет, грустит, смеется.
Весь движущийся мир в его душе живой
Могучим эхом отдается.

154. ИЗ ВСЕМИРНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ (SOLIDARITÉ) ГЮЙО

Расширим же личность свою, развернемтеся шире!
Сердца наши настежь открытыми станем держать,
Чтоб трепет малейший во всем необъемлемом мире
Мгновенно, с неведомой силой их мог поражать.
Испросим участия долю в несчетных страданьях,
Что гнетом своим потрясают наш род,
Участье испросим и в дальних волшебных сияньях,
Во всем, чтó для мира** безбранной надеждой блеснет.
И так сокрушим наконец мы стену роковую,
Стену ограниченно-узкого, личного «я»,
И смело тогда окунемся мы в жизнь мировую,
И каждый в себе отразит всю природу живую,
Став оком прозрачным всего бытия!

Зима 1895. Петроград

155. К ИДЕЕ (GUYAU)

Тень, светящаяся, плавучая,
Чтó, смеясь, промелькнет в уме,
О, идея! постой, летучая,
Не тони ты в бездонной тьме.

Как заря — как заря неясная —
Так встаешь ты в моей груди.
Кто же ты? Что скажешь, безгласная?
Что-то ждет меня впереди?***

**Далее в скобках*: беру отрывки Н. С. (*Пояснение Н. М. Соколова*).
*** Незачеркнутый вариант (вписан сверху)*: над миром.
**** Вписан вариант:*
Кто же ты? Гадаю напрасно я!
Что сулишь ты мне впереди?

До каких пределов раскроется
Твоим светом творческим — тьма?
Новый мир в тебе, может, кроется...
Может, Истина ты сама!..

156. ДАЛЕКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(из Гюйо)

Я отроком мечтал о странствиях и сборах
В заманчивую даль сияющих морей,
Мне рисовались там в моих душевных взорах
Прибрежья чудные средь облачных зыбей.

Меня тревожила, мутила жизни сила,
Обильно я ее расходовать желал,
Борьбы, страдания душа моя просила,
Я жаждой дела необъятного пылал.

Нет, в странствиях мой жадный ум не умудрился,
Все так же небеса объяты чудной тьмой.....
Но с болью чую я, что в сердце мне внедрился
Какой-то атом бесконечности немой.
(или: Частица бездны непроглядной и немой).

157. ПРИРОДА...

Природа, ты не вторглася мне в душу.
Ценю и вижу всю красу твою.
Но, как моряк, спустившийся на сушу,
Здесь на ногах не твердо я стою.

Да, сердце мое там еще витает,
Где мутным морем темный град шумит.
Там странно меркнет, странно рассветает,
Там думами и чувствами дымит.

Там, как моряк, привык я колыхаться
На беспокойной жизненной волне
И в атмосфере бурь людских вращаться
Дарило жгучую отраду мне.

И вдруг кругом меня всё тишь святая,
Как суша, все незыблемо стоит,
И, красотой бесстрастною блистая,
Из недр своих природа жизнь струит.

Все тот же круг, от века неизменный,
Для каждой травки, злака, деревца.
Природа здесь вершит свой чин священный:
Все естеству покорно до конца.

Но в этом царстве дик я и растерян,
Красою этой чинной удручен.
Ах, каждый листик так в себе уверен,
И только я колеблюся, смущен...

20 мая 1895

158. ЖЕЛЕЗНЫЙ ПУТЬ

Посвящается памяти творца «Карамазовых»

...das rührige Eisen
Man über die Straszen zieht,
Als wollten zu Grabe sie tragen
Des Elends thürmenden Wust
Und wieder das Eden erjagen,
Den uralt bittern Verlust.

Lenau

Клоп с огромными усами
Очень важно сел на трон,
Где с веселыми гостями
Водку пил Наполеон.

Чепуха 1 (Великий Аноним)

Мы рвемся куда-то, к неведомой цели,
Нас бес нетерпенья сосет.
Недаром чугунки везде засвистели:
Отчаянный пар нас несет.

Мне любо в вагоне без удержу мчаться,
Проносятся вихрем виды.
Чего-то все ждешь и не хочешь дождаться,
Боишься и жаждешь воды.

Мила эта жажда душе беспокойной,
Ей мил этот вечный порыв.
Нет, я не застряну на станции знойной,
Безумную жажду смирив.

Песчаным пролеском плетется телега,
И что ж — не сидится мне в ней.
Где мощь и порыв, где стремительность бега?**
Вот восемь уж тащимся дней...

---

* *Зачеркнутый вариант*: Духу творца «Карамазовых»
Далее карандашом приписан эпиграф (в угловых скобках):
И за счастье надежд, что с отчаяньем
горьким смешались,
Я всей жизнью своей заплачу.
Шелли.

** *Далее в скобках варианты строки:*
а Где мощь лихорадочно-быстрого бега?
б Беспечной езды нестерпима мне нега

И всё перелески, деревни, да нивы.
Ночуешь в глухом городке.
И чувства застыли, и думы ленивы,
Мой дух изнывает в тоске.

Не движешься — нет, словно вязнешь в трясине,
Медлительность душу теснит.
Все то же, все то же — и в дали той синей
Заветная цель не манит.

Оторван от мира, в пустыне томишься.
Нет, эта езда — не по мне.
Когда ж ты, шальной паровоз, задымишься?
Как ты, я в безумном огне.

Умаялся вязнуть я в скуке мертвящей:
Ее одноцветность родит.
Нет, пусть вся земля в своей шири бодрящей,
[В своей пестроте многоцветно*-блестящей]
Мне в окна вагона глядит.

О, ширь кругозора, волшебная греза!
Всё в мире схватить и обнять...
Ее открывает нам дух паровоза:
В нем власть горизонты менять.

За шумной столицей вот бор уж дремучий,
Там — моря лазурная гладь.
Все это дня в три этот гений могучий
Пред нами волен разостлать.

В телеге попутчика сам выбираешь,
Подчас и совсем не найдешь.
В вагоне же волны людей озираешь,
Нежданно в их круг попадешь.

На рельсовый путь те нахлынули волны
Из всех закоулков земли.
И все для меня они тайнами полны:
Какие нас силы свели?

Да, бег паровоза, вот жизни картина
В наш душный мятущийся век.
Жить изо дня в день нам противно, как тина,
Постыли нам лямки, тошна нам рутина,
Давайте нам подвиг и бег.**

Всечасно и жадно ища совершенства,
Мы*** гибнем подчас от хандры,

---

* *Над словом незачеркнутый вариант*: неустанно.
** *Далее в скобках вариант строки:*
Давай идеал нам и бег.
*** *Над словом незачеркнутый вариант*: хоть

Но рвемся в чертог неземного блаженства,
Нас в лучшие тянет миры.

Но также хотим мы все чувства земные
Изведать, весь мир обозреть
Вмиг, в целом, чтоб тайны постичь коренные.
Да, жребий наш — вечно гореть.

Сойди, Красота, в муравейник наш праздный,
Мы все исковерканы, хилы, больны.
Мы к цели с натугой идем безотрадной,
Изводит нас быт хлопотливый и грязный.
Вдохни в нас свой дух величаво-алмазный,
Да будем как боги сильны.*

2

Наш** поезд доехал до цели конечной,
Забили в глаза нам воксала огни,
Уж слышится шум городской, бессердечный.***
Здесь город бурлит: он поток быстротечный.
Храни нас, о Боже, храни!

Горит электричество лунным сияньем,
На улицах буйное вече кипит.
Народ овладел здесь всесильным влияньем.****
Здесь царь он и бог; здесь, кичась обаяньем,
Толпа полновластно вопит.

Равны состоянья в толпе этой властной,
Права и имущества, все сравнено.
Чтоб хор ее не был нарушен согласный
Душой недовольной, бунтующе-страстной,
Чтоб не было мысли, толпе неподвластной,
Всем вдоволь достатков дано.

Но — Боже мой! сколько разрушенных зданий,
И как почернели обломки камней...
Да — прочь все сомненья! — ценою страданий
Безвинных, и бойни слепой, и рыданий,*****

---

* *Этой строфы во второй редакции нет.* (*Примеч. Н. М. Соколова*).

** *Над словом незачеркнутый вариант*: Вот

*** *Далее в скобках вариант строки:*

Нас шум обступил — городской, бессердечный

**** *Этой строчки во второй редакции нет.* (*Примеч. Н. М. Соколова*).

***** *Далее в скобках вариант последних двух строк:*

Ох, прочь все сомненья! Тут нет оправданий!
[Ценою разгрома, безвинных страданий]
Ценою разгрома, ценою страданий

Здесь куплен венец вековых ожиданий,
Век — праздник, век ярких огней.

С историей здесь динамит расправлялся,
Все связи с прошедшим он мощно порвал.*
Общественный чин, что веками справлялся,
Где выборных сонмом народ управлялся,
Рабочий, однако, в трущобах валялся,
Всё чудный тот порох взорвал.

И вот вместе с этим бесправьем жестоким,
Как много чудес вековечных он смёл:
Служение всем божествам светлооким,
Чарующим музам и думам глубоким,**
И веры святыням, безбрежно далеким:
Поруган, разбит их престол.

На черных развалинах вече бушует:
Всё — дети старинных лачуг и трущоб.
Вещают, что старые язвы врачуют,
Под уровень общий все души шлифуют.
Чуть в массе своей исполина почуют,
Вгоняют они его в гроб.

....

Прочь, братья, отсюда! и снова в дорогу!
Опять собирайтесь в железный свой путь.
Все силы природы зовем на подмогу.
О, вкусим опять нам родную тревогу —
С обрыва лететь к безызвестному Богу:
Здесь душно, спирает нам грудь.***

Хвала электричеству! В дивном законе
Той силы — символ наших душ огневых.
Она окрылит нас... мы бьемся как кони...
За нашей мечтой в бесконечной погоне

---

* *Далее в скобках незаконченный вариант следующей строки:*
— — — — — строй, — — — — спаялся

** *Далее в скобках незаконченный вариант следующей строки:*
Святыням религий, — — — — —

*** *Далее в скобках вариант этой строфы:*
Прочь, братья, отсюда! И снова — в дорогу!
Да, новую линию стройте скорей...
Все силы природы зовем на подмогу..
О, вкусим опять нам родную тревогу —
Лететь с крутизны к безызвестному Богу!
Вон, вон из-под власти зверей!

Опять понесемся мы в тесном вагоне
В угрюмую темень равнин полевых.

*(Начато по дороге из Валдайки в Петроград. Окончено в Петрограде).**
<1895>

159. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

(небольшая поэма)

In die Tiefe muß du steigen,
Soll sich dir das Wesen zeigen.
Schiller

Виденье было мне. Оно открыло
Мне тайники моей души.
Оно жестоким светом озарило
Все то, что ныло там, в глуши.

1

В день солнечный, сияющий и яркий
По людному я городу гулял,
И молодости дух, живой и жаркий,
Во мне веселье чудное вселял.

Я тешился так просто, беззаботно
Всей этой пестрой, бойкой суетой,
Сам в жизнь толпы вмешался б я охотно,
Ловил бы каждый звук ее пустой.

Все виденное запечатлевалось
Неизгладимо так в моей душе,
Что мне порой причудливо сдавалось —
Фотографическое я клише.

Во всем, что мне встречалось по дороге,
Я видел только сброд костюмов, лиц,
А жизнь души и все ее тревоги
Отнес бы смело к миру небылиц.

Не возбуждал он праздного вниманья,
Душевный мир** всей этой тьмы людей.

---

* *Первоначальные варианты:*
а Дорога из Новгородского края в Петербург, Гельсингфорс, Петербург.
б (Начато по дороге из Валдайки в Петербург. Окончено в Петербурге).

** *На полях варианты*: Мир (ощущений)
внутренний

Я всем им, как клеймо, давал названья:
Тот — славный малый, этот — лиходей.*

Черты их лиц, наружные приемы —
Вот, что решало суд крутой...
Но я мечтал: как люди мне знакомы!
Я — наблюдатель зоркий и живой!

И вот — из города я вышел в поле.
Передо мной раскинулась весна...
И был все так же рад своей я доле,
Вся жизнь кругом — все так же мне ясна.

Колосья ржи** и кашки цвет душистый,
Лесная жизнь, певучий птичек гам —
Рождало все восторг прозрачно-чистый,
Я, как теленок, прыгал по лугам.***

И мнилось мне, что сам я — часть природы,
Что в тайны бытия её проник...****
Затем лишь, что весь дух людской породы
В немых я тварей вкладывать привык.*****

Вошел я в деревеньку небольшую.
Изб закоптелых потянулся ряд.
Все ту же радость ясную я чую.
Посмотрим, что крестьяне говорят.

....

....

Вот — то, что уловил я чутким ухом,
И с радостью****** я про себя твердил:
Теперь знаком я с чисто-русским духом,
Народ во мне участье возбудил!

Мой ясный дух ничем не возмутили
Тот дикий люд и бедное село,

---

* *Над словом незачеркнутый вариант*: ротозей.
** *На полях вариант*: Озимый всход
*** *Далее в скобках — вариант этой строфы:*

И зеленя, и кашки цвет душистый,
Лесная жизнь, певучий птичек гам,
Рождало все восторг кристально-чистый:
Я, как козленок, прыгал по лугам.

**** *Незачеркнутый вариант строки*: Что в тайны жизни я ее проник
***** *Далее в скобках — вариант этой строфы:*

И мнилось мне, что сам я — сын природы,
Что в тайны естества ея проник,
Затем лишь, что весь дух людской породы
В немых я тварей вкладывать привык.

****** *Над словом незачеркнутый вариант*: гордостью

Не видел «Сфинкса» я, что мужики таили,
И что за горе в их морщинах залегло.

2

Так шел я бодро по житейскому пути,
Как сытый зверь в себе уверен.
Мой шаг был тверд. Не все ль равно, куда идти?
Жизнь наблюдать я был намерен.

В селе и в городе я видел жизни рост,
И быт людей, и быт природы.
Строй мира, я решил, однообразен, прост:
Над ним не стоит думать годы.

Между тем солнце незаметно скрылось за темными грозными тучами. Я стоял посреди каких-то пустырей, на вьющейся в бесконечную даль, изрытой рытвинами, прямоезжей дороге.

Небо становилось все мрачнее и таинственнее. Деревья, кусты, верстовые столбы, все предметы, видимые кругом, разом приобрели какую-то необычайную фантастическую отчетливость.

О, эта отчетливость, эта неестественная ясность, которая вдруг сообщилась всему, чтó отражалось в моих взорах! Недаром она всегда — предзнаменование грозы. Потом, как я прозрел, что за ней неминуемо должно было последовать то, чтó последовало!

Глухо прокатился гром.. мелькнула бледная молния.. и еще раскат.. и опять раскат... все грознее, все отчаяннее... от молний рябило в глазах.

Боже.. что это... почва дрогнула под ногами... да, да, она заходила, заколыхалась.

Она потряслась..

В ответ небесному грому еще глуше загудел подземный гром.

Все закружилось в глазах, заколыхалось, перемешалось... ни в чем больше нет ясности, ни в чем больше нет определенности, ни в чем больше нет устойчивости... Горе мне, горе!

Не помню, как я опять очутился где-то близь окраин того самого людного города, где я родился, в котором жил, откуда вышел. И странная, дикая, неприятная эта местность была: заборы, пустыри, огороды, узенькие проулки, жалкие домишки, кабаки, постоялые дворы. А уж среди землетрясения это было что-то чудовищно-оголтелое.

Вот тут-то случилось самое страшное: со всех сторон под ногами моими начали разеваться бездны. Не успел я оглянуться, как со всех сторон начали они поглощать дома и людей, дома и людей... И вместо прежних живых выпуклых обликов, которые все так и врезывались в мое воображение, в мою память, я мог

теперь различить одни какие-то тени, мелькающие в глубине расселин. Да, тени, только тени... только очерки, бесплотные, тусклые очерки... ни одной этакой характерной, просящейся под перо живописца, а то и карикатуриста наружной черточки — ах, какой я раньше был охотник до этих черточек — мне уже не разобрать теперь было. Наклонившись над безднами, я усиленно напрягал свое зрение, чтобы уловить хотя общий очерк провалившихся туда предметов.

Но вот уже я и сам поминутно стал падать в которую-нибудь из бездн.. в первые мгновения я даже доволен этим был — доволен потому, что так, думал я, удастся мне, по крайней мере, опять вмешаться во весь этот человеческий быт, который вдруг сгинул туда с моих глаз и который все еще оставался так крепко мил моему сердцу. Но по мере того, как я устремлялся в глубь бездны за провалившейся туда жизнью, всё, за чем я гнался, падало, опускалось, опускалось, падало, валилось еще глубже: ох, ведь это были бездны, бездны во всей силе этого слова, пропасти неизмеримые, бездонные. И тогда меня охватывал леденящий ужас. Там, вверху над краем бездны всё ведь еще светил дневной свет, этот отрадный, этот благодатный свет. И тогда в моем воображении проносилась мысль, что вдруг я навеки от него улетаю в неведомую глубину. В смертельном испуге я цепляюсь на лету за какую-нибудь неровность, за какой-нибудь уступ на обрыве пропасти, и по краю его с отчаянными усилиями карабкаюсь вверх.

Снова я на поверхности земли. Грохот, небесные, подземные удары, молнии, хаос не утихают. Но все же не вся еще земная кора расселась. Несколько шагов, как обезумевший, я пробегаю по поверхности земли. И много людей еще кругом меня снует: они сбиваются в тесные кучи в промежутках между раскрывшимися пропастями... Много крестьян, притащившихся в город на рынки и тоже застигнутых землетрясением. Едут телеги с дровами, за ними — другие с мучными кулями.

Наконец появился целый обоз.. Обоз! Это тот обоз, про который пел Никитин — длинный, медленный, бесконечный как русское поле обоз. Он развозит добро, добытое ценою пота и крови крестьянской, живительное зерно — по всем концам неоглядной стороны-равнины.

Ай.. и под ним открылась пропасть.. но она отличалась еще от других тем, что в ней билась какая-то вода. Через мгновение новая бездна была уже и под моими ногами. Я провалился, захлебнулся водой: она была солона как в море. И меня обожгло от ее прикосновения. И несколько времени мне еще приходилось с несказанными муками купаться, барахтаться в этой горючей как слезы воде. Между тем и обоз, и телеги со всей своей поклажей, и их возчики окончательно пропали из виду, безвозвратно потонули в горючей пучине; а я еще выбивался из последних сил и силился выплыть к ее краям. Это было по-

истине огненное озеро преисподней, о котором повествуют сказания средних веков.

Измученный, задыхающийся, я выбрался наконец на берег. И тело мое было в какой-то проказе, подобной той, которая покрывает путешественника, искупавшегося в Мертвом море.

Как ужаленный, я побежал опрометью по направлению к самому центру города. На эту местность сила землетрясения мало еще распространилась. Но на всех встречавшихся мне лицах я уже видел отпечаток ужаса. И мне казалось, что все их лица глядели преображенными, но не просветленными — нет! небывало омраченными, а в то же время я понял, что только теперь впервые вижу их в истинном свете. Точно так же и растерянные голоса их, которыми они перекликались, вдруг приобрели в моем слухе неслыханную дотоле звонкость и глубину: и мне стало ясно, что до сих пор в моих ушах отдавался лишь бледный, слабый, поверхностный отзвук истинного их голоса. Как больно, как больно все это хватало за сердце, сжимало душу.

Наконец, я добегаю до своего дома.. бросаюсь в свой рабочий кабинет. Слава Богу! Хоть тут-то еще ничего не тронуто ужасным сотрясением. В книжном шкафу все книги на месте, на письменном столе аккуратно разложена начатая мною статья, в которой я защищал положение, что верховодцем человеческих поступков должен являться разум, и все время ссылался на авторитет Канта.

Треск, грохот, подземные раскаты.. Потолок обваливается, стены рассыпаются.. Вся обстановка комнаты безвозвратно погребается.

К счастью, я жил высоко: рассыпавшаяся и обвалившаяся над моей головой крыша лишь слегка, немногими обломками меня задела. И вот, отделавшись лишь несколькими ранами, выползаю снова на свет Божий из-под груды развалин.

Я снова на улицах города. И на этот раз я уже выхожу на эти улицы в первый раз бесприютным скитальцем.

Пропасти продолжают раскрываться по самой середине городских улиц. Не помню, как долго бродил я по этим мрачным улицам, то и дело сворачивая в сторону и поневоле описывая огромные круги, чтобы обегать пропасти. В этом беспорядочном блуждании я окончательно сбился с дороги. К тому же меня мучил голод. Под конец меня охватил какой-то дурман, и я еле плелся куда глаза глядят, ежеминутно рискуя провалиться в продолжавшиеся образо<вы>ваться пропасти.

Вдруг я как-то очутился на середине площади, на которой в невыразимом смятении скучились рои народа и на которой возвышалась древняя церковь.

Церковь! Это слово, это представление мгновенно озарило мое сознание, как лучистая звезда..

Вот убежище, вот пристанище, вот спасение! Я понял, что и вся эта громада народа валит все в ту же церковь.

Я ринулся в самый водоворот этих волн. Не успел я очнуться, как потоки их уже увлекли меня вовнутрь церкви.

Как и в самые радостные минуты человеческой жизни, строгое церковное пение неизменно оглашало своды храма. Священник отправлял вечернее священнослужение. Все принимавшие в нем участие точно не замечали волн народа, вторгшихся в церковь, точно и раньше не заметили грома и землетрясения. Их лица были строги и спокойны, движения важны и плавны. Между тем, народ в церкви громко выкрикивал молитвы. Я следовал его примеру.

На несколько мгновений даже землетрясение как будто затихло. Вдруг — такой подземный удар, какого я еще с самого начала ужасного явления не слышал. Какое-то стихийное движение толкнуло нас всех по направлению к алтарю. Над алтарем крыша была ниже: колокольня высилась над самой церковью.

Толпа сломала иконостас. В ту же самую минуту под алтарем раскрылась такая пропасть, страшнее которой я тоже еще не видел.... Она была узка, но так глубока, что, казалось, достигала до самого центра земли.... Я пристально заглянул в самую глубь ее, и инстинктивно зажмурил глаза: это был какой-то ослепительный мрак.

Не понимаю, как все мы, целые тысячи народа, через головы друг другу повалились в эту неширокую пропасть... Сверху на нас летели обломки церковных крыш и стен и больно ударяли нас; внизу же, впереди нас летели вниз священник и другие священнослужители, и в уровень с ними престол со св. Дарами и светильниками, а также запрестольная икона с прикреплснной к ней лампадой....

И — чудесное дело! — светильники на престоле продолжали гореть, лампада перед иконой — теплиться; вообще же — и престол, и священник перед ним точно повисли над бездной: оба не валились вниз стремглав, но даже довольно медленно и мерно всё опускались и опускались, продолжая оставаться в прежнем стоячем положении...

Мы все в безумно-отчаянном порыве за ними гнались, но, несмотря на мерное свое падение и быстроту нашего полета, казалось, что они все продолжали отстоять от нас на одно и то же расстояние....

Только лампада и светильники путеводным огоньком мерцали в непроницаемой бездне...

Апрель 1895 — Январь 1896

160. ВОЖДИ ЖИЗНИ

Луна — укор, и суд, и увещанье,
Закатных судорог льдяная дочь.
Нас цепенит недвижное молчанье,
Нас леденит безвыходная ночь.

Но звезды кротко так вдали мерцают,
К нам в душу с лаской истовой глядят;
Хоть приговор луны не отрицают,
Зато любовь к безбрежности родят.

То — солнце — кубок животворной влаги,
То — сердце мира с кровью огневой:
Впускает в нас ток пенистой отваги
И властно рвет в круг жизни мировой.
И кровь в нас снова живчиком струится.
Для нас свет солнца, это — жало в плоть!
Мир лучезарных грез в душе роится...
Да, ты рожден нас нежить и колоть,
О мощный свет! — В своей нетленной дали,
В блаженстве стройном разметался ты;
В бездонных горизонтах увидали
Мы новый мир бодрящей теплоты.

Март — апрель 1896.
Петроград

161

И со страхом, и с упованием,
Побледнев, пред тобой стою.
Я дрожу пред твоим названием,
Страшно вскрыть мне тайну твою!

Но, ведь, в этом проникновении
Бьется, движется весь мой дух.
Ах, зачем уноситься в забвение,
Исчезать, чтобы свет твой потух!

Ты, чтó гостьей витаешь бесследною
И в смиренных, и в славных сердцах,
О, не будь ты столь дальней, столь бледною,
Ведь любовь в твоих дышит творцах!

Ах, ведь жизнь твоя в них зародилася:
Не скупись же на свет свой! Постой, —
Чтобы вволю душа насладилася
Безотрадной твоей красотой.

Не беги, идея нетленная!
Как унесся бы я, восхищен,
Ухватясь за крыло твое пленное,
В царство истины вожделенное,
В самую глубь грядущих времен.

31 мая — 9 июня.
Михайловское

162

Облака, это — кони с веющими белыми гривами
И эти лазурные озера — их ристалища
О эта прозрачная колышущаяся влага неба!
Запах ковыля, запах медвяных трав!
Небо весь мир, все движение его и раздолье,
С островами, морями, брегами

163

В каком-то забытьи изнеможенья
Здесь человек лишь снится сам себе.
Тютчев

Пел на юге весь мир я окрестный,
Здесь я снова в себе буду рыться.
Безотрадный ты, край, бессловесный!
Никуда от тебя не укрыться!

Как в былые века Прозерпина
Свет могла созерцать лишь полгода,
Так болот горемычного сына
Лишь недолго ласкала природа.

Чую — вновь меня мгла поглощает,
Стих мой тоже стал вял и беззвучен,
Втихомолку и сердце скучает,
И уж солнце любить я разучен.

21 июля 1897. За Кёнигсбергом,
на дороге к русской границе

164. ДОМАШНИЕ ЗВУКИ

Дрова трещат..
Слякоть за окном..
Стены молчат
Каждым кирпичом.
Ненастье на дворе,
А в печи — дрова.
По такой поре
Ноет голова.
И к чему прильнуть,
Где глаз остановить?
К красоте на грудь —
Сердце оживить!
В уголке моем
Есть ее лучи,
Но томятся в нем,

Как дрова в печи.
Ах, дрова, дрова,
Глушь и плач зимы!
Тихие слова
Из жгучей тюрьмы..

165

Вещие ветры
Вечером вещим
Ноют и воют.
Множество трещин
В сердце откроют.
Больно мечте.
Если не смеют
Все, что усвоят
Ткани души,
Ветры только не те.
Не войте, а вейте,
О ветры родные,
Навесы вы свейте,
Что ветви лесные,
Что ясеня ветви,
Что ветви берез,
Младенческих грез
Под сени листвы я думы вознес.

166

Вечные братья — земля и вода,
Их разделяет лихая вражда.
Плещут озер животворные струи
В желтые, крепкие бреги свои.
Берег крутой упирается.
Озеро пуще старается.
Так и доныне, как с первого дня,
Воды с землею воюют, теня.

Как же улечься борьбе роковой?
Как же купить вожделенный покой?
Зрите — какие-то струйки ушли
В твердое лоно им чуждой земли.
В комьях сырых они роются,
Но под землею не скроются.
Да и земля, непреклонная мать,
Вдруг согласилась врагов принимать.

167

Сватался за Катиньку первый из Москвы купец,
Он рассказ рассказывал про богатство свое:
Семь кораблей да всё с товарами,
Думаю, подумаю, пойду ли за него
Думала, подумала — за него не пойду.

Сватался за Катиньку первый из Питера дворянин,
Сказывал, рассказывал богатство свое —

Сватался за Катиньку из деревни музыкант,

балалайка да гудок
Думаю, подумаю — пойти ли за него?
Хоть мне есть и нечего — послушать хорошо!

168—169. ZEITGEDICHTE

I. СУМЯТИЦА

Зимние дни, посветлевшие, явные —
Радостно-мертвые, бело-унылые.
В воздухе — клики с угрюмою силою,
Гомон сухой, столкновенья неравные.

Снова под небом недвижным, безрадостным
Движутся тупо отряды служебные.
Хмурятся, злобятся лица враждебные,
Глухо смеются в безумии младостном.

Кто вы, откуда вы, юноши бледные?
Что вы беснуетесь в чахлом весельи?
Иль закручусь я и с вами в метели
И увлекусь в эти шумы бесследные?

Шутки докучные, буйства печальные,
Но и зачем же гоненья ненужные?
Ну так вперед же, с улыбкой недужною,
Дети туманов, навеки опальные!

II. ОТПАДЕНИЕ

Не о былом вздыхают розы...
Тютчев

Грустные, слабые дети
Этих сырых холодов,
Радости нет вам на свете,
Нет вам услады плодов.

День ото дня вы пьянитесь,
День ото дня унываете.
То вы с трудами бранитесь,
То обо всем забываете.

В сердце прохлады не чуя,
Бьетесь за шумные сны.
Вам бы все мстить, негодуя,
Не замечая весны.

Нужны вам страхи и смуты,
Нужен запальчивый гнев.
Нет их — вам чужды минуты,
Чужд вам и жизни посев.

Нет их — вам в холоде косном
Век свой придется влачить.
В море благом, живоносном
Вам не почить, не почить!

О, как вы мне опостыли...
Лжете — я вам не сродни.
Дрязги лишь — все ваши были,
Ваши смятенные сны.

13—17 февраля 1899

170. СОБОРНАЯ ДУМА

Замысел, подлежащий окончанию

Где ж радость? ты спросишь — в спокойном ли зреньи
Иль в сладостных винных парах?
Взирать ли нам гордо, как Бог, на творенье,
Иль дух свой сжигать на пирах?

И как нам отбиться от волка лихого,
Которого тягостный глад
Снедает — от Времени серо-глухого?
Скажи, о бездольный мой брат!

Сражать ли его ежечасно и ясно,
Встречая на каждом шагу,
Что ново всегда и во веки прекрасно,
Всегда на родном берегу?

Иль бойко затравим его за стаканом,
Стаканом с огнистой струей,
Который направим мы к сказочным странам,
Гуляя свободной семьей?

И так разодвинем мы сердца пределы,
    И так воскурится алтарь,
Что будет ладьею наш дом отверделый,
    И каждый из нас — мореплаватель-царь!

Но дивный корабль обречен на крушенье.
    На мертвый заброшены брег,
В слезах изойдем мы от злого лишенья
    И горестно кончим свой век.

Что ж делать? ужели проклясть исступленье?
    Чем к жизни любовь утолим?
Любя ее, как допустить истребленье
    Минут ее Временем злым?

Сама ль не подскажет? Не ею ли, братья,
    И страсть эта жить внушена?
Чтó ж так веселит, что не рад умирать я?
    Чем жизнь так блага и красна?..

О, вникните... нас со дня на день колышет
    И тихий, и быстрый поток.
Но внутренний мир — он собою лишь дышит,
    Всем полон, а сам одинок.

Торжественно движутся лета и зимы,
    И зори, и ночи, и дни.
И те же они, если мы — невредимы.
    А нет нас — прошли и они.

Красуется в них все мой образ нетленный,
    Мой образ, и общий наш зрак,
Который устроил движенья вселенной;
    Слуга ему — Время, не враг.

Строители — мы, и не в нем мы витаем:
    Чтó в памяти — ныне оно.
На сотни ладов мы его испытаем.
    Но чувство — повсюду одно.

Март 1899

171. РАДОНИЦА

Замысел, подлежащий завершению

Внемли, внемли,
Кликам внемли,
Грозная юность, ярость земли!

Высоко ходят тучи,
А лес кадит.

А ветер, вздох могучий,
Свободно бдит.
И звонкие раскаты
Несут напев,
И волны-супостаты
Разверзли зев.

Полны пахучей сладости,
Поля зазеленевшие
Широко разливаются
Сияющей струей.
Слезами заливаются
Былинки онемевшие
В ответ воззваньям младости
Воскресшею семьей.

Воззвания безумные,
Воззванья неутешные,
Торжественно-веселые
И чуждые земле.
Ах, слышал я воззвания,
Суровые и здешние,
Негодованья шумные,
Что ропщут: мир во зле.

Как тусклы те воззвания,
Те вопли скудоумия,
Те вопли человечества,
Гнетомого судьбой.
О замирайте, нищие.
Я вашего безумия,
Слепого упования
Не обновлю собой.

Нет, до последних пределов земли
Стану я славить природу живую,
Песнь гробовую, песнь громовую,
Что́ немолчно рокочет вдали.
Жизни, воскресшей из мертвых, кипучие взрывы,
Всю чистоту ее светлую, темный весь ее тлен.
Телом в могилу нисшедшего сына земли молчаливой
И очей его свет, что расторг подземия плен.

О эти гимны смерти ожившей,
Всей этой плоти, восставшей от сна,
В мертвенной мгле преисподних почившей,
Смерти, что ныне — святая весна.
Слышите, слышите, праотцы реют,
Праотцы плачут в светлых ночах.

Теплая радость сердце их греет,
Тихо плывут они в утра лучах...
....

Май 1899

172

Что мне мерещилось в ребяческих виденьях
В те свежие, легкие дни
На юности больной, в глубоких заблужденьях
Опять мне сказалось в тени.

173. ГРОТЕСКИ

(Образины)

Mere puppets they...
E. Роё

Средь блажного государства
Оголтелые юнцы
Переходят все мытарства
И снуют* во все концы.

Средь подонков жизни духа,
В заведениях граждан
Хлещет клоунов оплеуха
И ликует балаган.

Мертвецов там убивают,
А хоронят как живых,
А в себе всё раздувают
Мор запросов роковых.**

(1899—1900 г.)

---

* *Вариант*: И свистят
** *Зачеркнутый вариант:*
На себя же призывают
Смерть (Мор) страданий (исканий) роковых.

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

174

Мы, откинувши заботу,
Все нагрянем к Вам в субботу.

Пока вы были в объятьях кори,
Погружены мы были в горе.

И я сему преочень рад,
Нехорошо ведь быть malade.

Слезы лились, мы стенали,
Руки кверху подымали...

Вы были в челюстях у смерти,
А нам еженочно снились черти.

Буду рад я видеть Вас...
Вознестися на Парнас.

175

Где эта улица,
Где этот дом,
Где эта барышня,
Что я влюблен?

Ах, эта улица —
Университетский спуск,
А эта барышня
Совсем русск.

176. РОКОВОЙ СОВЕТ НОВЫХ ДУШ

Краткая поэма Ив. Коневского
и друга его Аскания

Символист и Гимназист,
Эконом,
Философ и Гидростат

Собралися вечерком
В шумный загородный сад
И составили совет
Обсудить весь белый свет,
Чтоб, узнав, как он сложен,
Предписать ему закон.

Первый, мудрый Эконом
Говорил, что мир есть дом.
Управляет им желудок:
Он же есть его рассудок.
Тут вступился Философ:
Нет, возник весь мир из лбов.
Он из разума построен,
Но его он недостоин.
Вдруг отрезал Гидростат
(Он же был и Гидропат):
Мир есть просто автомат,
Но теперь в нем есть распад.
И разнылся Гимназист:
Мир куда как неказист.
Он есть только школьный класс.
Остальное не про нас.
Порешили тут ребята,
Что «тенденции» их святы,
Их вписали они в книгу —
Показать всем людям фигу.

Но остался Символист.
Худощав, как некий глист,
Он воззвал, что мирозданье
Есть и радость, и страданье
И о свете, и о тьме...
(Ведь себе я на уме!)

На берегах Балтики. 1900

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

1

Автограф с правкой

загл. К ИЗОБРАЖЕНИЮ

3—4 Ты ж над моею судьбой
Реешь, как мудрость могил.

9 В зыбких и вечных устах ◊

10 Где голоса залегли ◊

12 *а как в основном тексте*
б Век мне они не рекли.

15—16 *а* Это — верховный ответ:
Все остальное — не то.
б как в основном тексте

5

Автограф

1 Заревом красным небо залито...

10 Вспыхнет над миром с края до края!

18 Рай утоленный — не наша стихия!

22 Он нестерпим для ока земного...

26 Млеет дух... подернуто дремой сознанье...

6—7

1

Черновой автограф

загл. СВ. БОРИС

посв. *Посвящается А. М. В.*

2 Русская картина: ◊

4 Пасмурное небо ◊

5—8 *а* Но под этим небом
Вырос статный витязь,
Юноша высокий,
И с крестом в деснице
б Так же мутно небо,
Пасмурно и хмуро...
Но под этим небом
Вырос витязь статный.

между 12 и 13: [Есть в нем кровь и удаль,
Волос черный, жаркий]
13—14 *а* И как елка ветви
Вниз к земле склонила,
б Как с вершины елки
Вниз к земле склонилась
в как в основном тексте
15 Так и он всем телом ◊
17—18 Никнет точно в море,
Море дум волнистых,
23—24 Жгучее клеймо то
Голосов стихийных.
25 О, его тянула ◊
26 Вся краса земная: ◊
28 Молодецкой воли.
29 Все это глубоко ◊
31—32 За душу хватало,
И спать не давало
33 Но в подпольях чувства ◊
34 Там тоска гнездилась ◊
35—36 Замолкали ветры:
Там тоска гнездилась.
Тоска безысходная
41—48 *отсутствуют*
50 Пред вторженьем Бога, ◊
55—76 *отсутствуют*

9

Автограф 1
строфа III, 1 Вместить бы себе этот мир в разверстые очи:
IV, 2—4 Волна набежала: стихийный, грозный напор!
Вот дух захватило, я вздрогнул... и вновь в разлуке:
О, что за неистовый, непостижный простор!

Автограф 2
стр фа I, 1—2 Внедряйся в меня, о свет прославленный, горний!
Скачу на коне я... откинулся весь назад...
4 Поля разбегаются, и горизонты глядят.
II, 2 Я всё распахнул, все двери все настежь стоят.
4 И хмелем привольным волны эфира поят.
III, 1 Вместить бы себе этот мир в разверстые очи!
IV, 2—4 Волна набежала: стихийный, грозный напор!
Вот дух захватило, я вздрогнул и... вновь в разлуке:
О, что за необъятный, непостижимый простор!

10

Автограф 1 ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ
(*И. А. Панаеву*)
Сиянье красное
В церковном сумраке
И песня брежжащая

В тихом трепете.
И в Неисследимом,
В Неизглаголанном
Здесь отголоски есть
Из детства милого.
Ниц простираюсь я
В благоговении,
И вот украдкой свет
Ко мне заглядывает.
Как из-под низкого
Свода пещерного,
Так я на мир смотрю:
Просвет заветный мой
Все затаеннее.
А даль-то в глубь ушла
Еще зазывнее.

То — в пуще сказочной
Просека вещая,
Меж гор, в расселинах
Мелькает степи ширь
И не натешусь я,
Не налюбуюся
На этот вкрадчивый
Привет из-за моря.

Приподнимаюсь я.
О, как прозрачно все
И благолепием
Как озарилося!
И жутко на сердце,
А все же ласково,
И вся душа
Как будто обновилася!*

На подвиг добрый
Здесь я препоясался.

А Ночь меж тем кругом
Все расплывалася
И все сгущалася.
И вот надвинулась,
И вот захлынула.

Я бьюсь и плаваю.

Владыко! мощи дай,
Дай одоление!

---

* *Исправлено*: И вся душа мгновенно обновилася

11

Автограф
строфа I, 3 Нивы по пути.
II, 5 Нас их зыбь, воздушной сказкой
III, 2—3 В хлев родной... да, так и надо:
В угол всем пора.
V, 5—6 Жизнь, и утро предвкушаем:
Вот что́ в нас поет.

13

Автограф
с правкой
8 Иль думе внял, подобной шуму вод. ◊
10 Во мне б не образ девы уж царил,
14 Но через миг — с горой или с ручьем.
15 *а* Но душен был бы мне союз с четою
б [Но мне бы душен был союз с четою]
16 [И скорбь в разлуке с частным бытием.]
17 Нет — естество свое стремясь расширить, ◊
18 В него [б] я солнцу, горам и морям
19 И всем людским порывам дал бы хлынуть
20 *а* Вместил бы их, и все ж остался сам.
б Впитал бы их, и все ж остался сам.

Автограф
6 Вперил я взор в роскошный небосвод,
18—20 В него я солнцу, морю и звездам
И всем людским порывам дал бы хлынуть,
Впитал бы их — и все ж остался б сам.

17—21

1

Автограф
загл. I. РОСТ И МУДРОСТЬ
4 Он поплыл в мир пытателем в ладье.
10 Да, песни, смех — всю жизнь... да, это — дело
12—13 А солнце прямо между тем палило
На кудри его, свет суровый лило

3

Автограф 1
4 Так ужасом и ваша власть жива.
6—7 *в последовательности*: 7, 6
9 Вот весь наш мир, вот рок неумолимый,
12—14 Но борют царство то родные тени
Рок сломлен властию людских хотений
И в слуги Ум его к себе зовет.

Автограф 2
6—7 *в последовательности*: 7, 6
9 *как в автографе 1*
14 И Ум его в приспешники зовет.

4

Автограф 2
2—4 Со всех сторон как давит эта цельность!
В ней тонет пестрой жизни беспредельность:
То — хаоса единовластный зрак.
6—8 Пугала меня темная бесцельность
И дикого желанья неподдельность
Рассеяться в ней, точно жизни враг.

23

Автограф 1
2—3 Здесь клены всё блестят,
И горы так утесисто
5 На сук я сел, качаюся,
7 И чаю — не начаюся,
11 Зеленого собора я
после 12 начато Тогда же

25

Автограф 1
2 В небесах тает снег,
7—8 Откровенье верховного лада
Этот образ явил.
10 По поемным лугам,
11 К этим пышным брегам.

27

Автограф 1
загл. УТРЕННИЙ ПРИВЕТ
Младенчество
Эпиграф
Ты зоря ли моя, зорюшка,
Зорюшка весенняя,
Зорюшка весенняя,
Солнышко восхожее.
Высоко восхóдило,
Далеко осветило
На высокие горы
И на чистое поле
И на быструю речку.
(Свадебная песня)
3—4 *а* И рождения трепет в листах,
В ясном сумраке фея скользит.
б как в основном тексте
6 По стволам заиграли лучи

8 *а* Это — новой вселенной ключи!
б Первозданной то жизни ключи!
13 *а* Выше всплыл уж и бог молодой
б Выше всплыл и Дажь-бог молодой
15 Он прозрачной омылся водой
16 *а* Торжество простоты на лице.
б Простодушье на ясном лице.
19 И в росинках играют поля,
22 Если думы совсем не томят,
23—24 *а* В этот час будем пить молоко
И фиалки вдыхать аромат.
б Надо в роще нам пить молоко
Или ягод вдыхать аромат.

Автограф 2
Эпиграф
Ты зоря ли моя, зорюшка,
Зорюшка весенняя,
Зорюшка весенняя,
Солнышко восхожее.
(Свадебная песня).

6 По стволам заиграли лучи.
8 Первозданной то жизни ключи!
15—16 Он прозрачной омылся водой,
Простодушье — на ясном лице.
Надо в роще нам пить молоко

29—30

1

*Черновой автограф 1**
1 (Вот с поморьями, морями, островами)
С побережьями, морями, островами
3 По раздолию его, над деревами
5—8 Веют в воздухе серебряные гривы,
Путь их по лазурным озерам
[И погонщиком их ветер, ветр игривый
Мчит их к дальним снеговым горам]**
А с земли ковыль привольный шум доносит,
11—12 *а* И уносит тот табун лихой, уносит
В край, где реют белые валы.
б И туда же всё табун лихой уносит,
Где клубятся белые валы.

*Черновой автограф 2****
загл. В НЕБЕ
1 С побережьями, морями, островами
3 *как в черновом автографе 1*
4 Развеваются серебряные гривы, ◊

---
* *Варианты приводятся по верхнему слою правки.*
** *На полях ст. 7—8: как в основном тексте.*
*** *Варианты приводятся по верхнему слою правки.*

9 *как в черновом автографе 1*
11—12 *как в черновом автографе 1, б*

2

Черновой автограф
загл. ПРЕСТОЛ
5 *а* Души праведных — агнцы святые
б Лики праведных — агнцы святые
6 Белоснежным сияя руном ◊
7—8 Вкруг текут, и лучи золотые
Их поят лучезарным вином
9 Ветры, быстрые <?> *<нрзб>* ◊
10 Совершают движения сил
после 10 [И носясь в мировом бездорожьи
Душу каждый их вздох уносил]
11—13 И носяся над зреющей рожью
В Поселянина веющий дрожью,
Благодать их полет приносил.

32

Черновой автограф
1—2 Выше, выше, звуки,
Шире, шире
4 Страсти нет и нет разлуки,
5 Таинства отрад! ◊
8 Как мне жить потом на свете?

35

Автограф
загл. *а* В КАКИЕ ВЕКИ?
б В РОДЫ И РОДЫ
Эпиграф Mon cœur, où les héros... ?
Emile Verhaeren.
строфа I, 1 Где племена те с соколиным оком,
3 Они носились в пламени глубоком
III, 2 А впереди и позади всё — даль..
IV, 2 Порою рделась в воздухе мета, ◊
VI—VIII *отсутствуют*

37

Автограф
строфа I, 4 И воздух освежал я в затхлой той тюрьме
II, 3 И легок я, как свет, как искра в метеоре, ◊
4 И жизнь моя — вода: черно в ней и светло. ◊
III, 2 *а* Где мудрости узор? Угрюм, но явен мир.
б Где кружева ума? Угрюм, но явен мир. ◊
3 И кружат помыслы, так резво и безумно, ◊

38

Черновой автограф

1 Витает дух в волшебной атмосфере ◊
3 Где предано все мощной чистой вере
4 *а* Куда отшельник слышал голоса
б И где отшельник слышал голоса
6 *а* И горный дух, хрустальный властелин
б И горный дух, потоков властелин
в И горный пращур, льдистый властелин
7 Они одни раскинули здесь вежи
9—10 Дышу я робко в царственных чертогах,
Пока торжественно сияет день,
16 *отсутствует*

Автограф

1 *а как в основном тексте*
б Витаю уж в волшебной атмосфере,
7, 9—10 *как в черновом автографе*

45—47

3

Автограф с правкой

загл. ДЕНЬ ЮГА
1 *а* Раскаленные, распаленные
б Темнояркие, распаленные* ◊
5 А по брегу бьются, сбегаются**
6 Стаи ярких теней, лучей.*** ◊
10 Стоном в воздухе весь стоит.
11 О, к каким же летим победам мы?****
12 Что еще, еще предстоит?
(Что же нам еще предстоит)

48

Черновой автограф

2 Из дальних сыпучих песков, ◊
6 И близится вражий обоз
после 6 [А взоры вперились — полеты
Птиц легких следить удалось]
7 И нам не уйти от дремоты
8 Так больно в нас солнце зажглось ◊
9 *а* И полдень огромный и рьяный
б Ах, полдень огромный и рьяный

---

* *Незачеркнутый вариант.*
** *Незачеркнутый вариант при основном тексте строки.*
*** *Незачеркнутый вариант.*
**** *На полях приписан основной текст строки.*

11 *а* И мчится в далекие страны
б И тянет <?> в далекие страны ◊
12 Тревожный и жалкий напев ◊

49

Черновой автограф

4 Чист и светел в раздумьи своем
5 Но подчас веселит себя скоком,
7 *отсутствует*
6—8 *а* И тогда ему славу поем,
И все тот же он перед роком,
[Перед ним]
Он поет пред ним соловьем.
б как ст. 6, 8, 9 основного текста

51

Черновой автограф 1

Фрагмент I

I, 3 Где ясно все и на яву, ◊
4 И так открыт простор немой ◊
9 Нет, лишь в дубраве жив мой дух ◊
10 В приюте вьющихся тропин,
12 *а* От темных чащиц <?> и купин
б От чащ укромных и купин
в От темных глушей и купин
14 Как проскользнет во глубь дубов ◊
15 *а* Тропа, ее землистый вид
б Тропа, ее землистых плит
16 Что́ дышит сыростью грибов.
23 *а* Когда все дышит тайной гущ,
б Как по стенам ползущий плющ,
24 Душа пугливей и смелей.
29—36 *отсутствуют*
II, 4 Букашки с птицами поют. ◊
5—8 *после ст. 9—12*
8 Открыл дубравной тени шум.
после ст. 12 *текст отсутствует*
III *отсутствует*

Фрагмент II

IV, 1 *а* Но в каждой чаще есть тайник
б И в каждой куще есть тайник
2 А за кустом лежит овраг
3 *а* Один ручей тогда <?> проник,
б Внизу поет, живет родник,
5 *а* Кто он — родной мне или враг?
б Кто он — родимый или враг?
10 Поляна надо мной шумит, ◊
12 Я соскользнул в овраг лесной
13 Все папоротник тут шальной,

17	Но вековечный жив Кощей, ◊
вместо III, 37—40	Стрекозы блестками звенят,
	Русалки свили хоровод
	Их нежно буки осенят,
	Как кров зеленых свежих вод
	Играет солнце, как дитя,
	Лучами в я< >
Черновой автограф 2	
загл.	ПЕСНЬ ДЕБРЕЙ (ДУБРАВА)
I, 23	*а* Как по стене ползущий плющ,
	б В святилищах ползущий плющ,
	в Святилища глубоких пущ, ◊
24	Я здесь пугливей и смелей. ◊
30	Я стал в раздумии, глухом ◊
31	Мелькнул во взоре с полуден
на полях варианты строк:	
30	И чудный в сердце стал испуг
32	Под сводом свесившихся куп
33—36	*отсутствуют*
II, 14—17	*а* Где эльфы водят хоровод,
	Играют там и светляки,
	И в недрах ближних сонных вод
	Проплыли девичьи венки.
	б как в основном тексте
18	И то поникну я в траву: ◊
19	Слежу букашек и жучков,
24—25	И дню пора завечереть,
	И где-то промелькнула лань.
26	Трепещут вечера лучи ◊
34—49	*отсутствуют*
III	*отсутствует*
IV, 1	Но в куще каждой есть тайник,
5	Кто он — родимый или враг?
12	И я скольжу в овраг лесной:
Автограф с правкой	
III, 33—36	
33	Где эльфы водят хоровод,
34	Играют там и светляки,
II, 14—41	
19	Слежу букашек и жучков,
36	Сквозь листву всюду заюлил,
38	Опять свершился рок дневной, ◊
40	Под просветленной вышиной
II, 34—41	
36	Сквозь листву всюду заюлил,

79—85

6

Черновой автограф

4 *а* Ведь дни идут
б Ведь дни пройдут —
8 И учит нас, ◊
9 *а как в основном тексте*
б Что изобилье сил.
в Об изобильи сил.
11 И даст он сам ◊
12 Чего не приносил. ◊

93

Черновой автограф

загл. [ТРЕВОГА]
БОЯЗНЬ
СМУЩЕНИЕ
1 Когда природа бьется и играет
2 Когда несется ветер, вьется дым, ◊
5 И тот ли он, иль он себя не знает,
8 *а* Проникнутый собой?
б Влекомый лишь собой?
9 Торжественно-обманное мгновенье, ◊
11 *а* Предстанет ли природы откровенье,
б Настанет ли кончины откровенье,
12 Иль снова дни пойдут?

101

Черновой автограф

1 *а* Не хочу непредвиденных обличий
б Не хочу непредвиденных новых обличий
в Не хочу небывалых и новых обличий ◊
2 Так я влюблен и в землицу и в зелень дерев ◊
3 *а* Но мучительно-тягостен тела обычай
б Но мучительно-тягостно тело его пребывание ◊
4 И теснит меня ров
7 Я давно уноситься мечтаю, я в мире
10 Там и шум плодоносной и буйной весенней любви
11 *а* Этой страстью земною и в воздухе члены объяты,
б Живородною страстью земною и в воздухе жилы объяты,◊
13 Я и сам налечу на тебя, о разгульная дева, ◊
15—16 Но чрез мир уж услышишь ты в воздухе звуки напева
Чтó свободен от тленных оков!

108—109

1

Автограф 1
5—6 Здесь жестоко наш прах цепенеет.
Спотыкается шаг о коряги.
17—20 И всегда в те пространства благие
Устремляя свой взор одинокий,
Жду, чтоб в чистом и полном потоке
Увлекла меня духа стихия.

Автограф 3
3—4 Замирают людские кручины,
Утихает людская потреба.
5 Здесь жестоко наш прах цепенеет,
17—18 И всегда, в те пространства благие
Устремляя свой взор одинокий,

Автограф 4
3, 5, 17—18 *как в автографе 3*

Автограф 5
5 *как в автографе 1*
17—18 *как в автографе 3*

113—114

2

Автограф 2
Строфа I, 1 Убийственный туман обвешан вкруг столицы*
2 И ноют все сердца, и смерть таят дома.
4 И цвет земли померк, а далека зима.**
III, 1 Зачем ты здесь, мой дух, в краю глухих страданий,
IV, 3 Но сущий только ты, создатель чар свободных
VI, 2—3 Которым нем земли всей покаянный плач.
Он небылица: в нас лишь — бытия заклятье.

123—125

1—2

Автограф
загл. СООБРАЖЕНИЯ

1

строфа I, 1 В страданьи лишь — могущества свобода:
II, 2 Мы в нем покорствуем земли потоку.
IV, 3 Отвыкнуть надо от тоски плакучей,
VI, 2—3 Скорбей нежданных жар нас не разнежит.

---

* *Вписано карандашом над строкой автографа с основным текстом (рукой Н. Я. Брюсовой или И. М. Брюсовой).*
** *Вписано карандашом над строкой автографа с основным текстом (рукой Н. Я. Брюсовой или И. М. Брюсовой).*

Пока людское горе неизбежно,

2

строфа I, 2 Чем Бог, кто все творит из ничего.
II, 2—3 Что лишь из двух все новое творит.
Но в самоотрицанье и в страданье

128

Черновой автограф 1 (1-я строфа)

1 *а* Кто мы носители неведомой породы
б Кто мы орудия властительной породы
в Кто мы периоды властительной породы
г Кто мы мы органы властительной породы
д Кто мы обличия властительной породы
3 И вот зовет и нас свет праздничной свободы
4 Порода требует: и нет в желаньях зла.

Черновой автограф 2

1 Кто мы? Властительной породы переходы: ◊
3 И вот зовет и нас свет праздничной свободы ◊
4 Порода требует — и нет в желаньях зла. ◊
5 Себя питал, растил издревле род глубокий ◊
6 Он члены <?> устроял и тело умащал ◊
7 Горящий весь в лучах от солнечного лона, ◊
8 *а* Струям земли сырой себя он обращал
б К струям сырой земли себя он приобщал* ◊
9 *а* И он любил свой дом, и города родные,
б Любил он дом родной и град, и край родимый
в Любил он отчий дом, и град, и землю дедов ◊
10 *а* *<нрзб>*** он возрождал свой лик
б И в отпрысках от жен он возрождал свой лик
в В супружеских ростках он возрождал свой лик
11 *а* И в мире и в войне боец невозмутимый
б В совете, на войне боец без праздных бредов*** ◊
12 И что двуногий зверь людской его велик <?> ◊

133

Черновой автограф

строфа I, 2 Мы пройдем над немыми, глухими домами. ◊
а Неужели навек безответен *<нрзб>***** застой,
б Он навек ли, — кирпичный, железный застой,***** ◊
4 Нет беседы меж ними и нами? ◊
II, 2 Но забились сердца за слепыми, тупыми стенами.
III, 2 *а* Не приму ли его я в сознанья с приветом?

---

* *Незачеркнутый вариант.*
** *Фрагмент текста вымаран.*
*** *Незачеркнутый вариант.*
**** *Фрагмент текста вымаран.*
***** *Незачеркнутый вариант.*

б Не приму ли его во владенья с приветом?
в Во владения веденья, примем его мы с приветом? ◊
IV, 1 *а* Тихо теплясь, свети, о подгорных елеев огонь,
б Не копти и свети, о подгорных елеев огонь,
2 *а* Трепещи и трещи, о лесов краснобурое пламя!*
б И дыми и топи, о лесов краснобурое пламя!
3 *а* От осенних снегов до ростков ты тела наши тронь,
б От осенних снегов до ростков ты тела эти тронь,
4 *а* Чтó застыли, замкнуты прямыми углами.
б Чтó застынут, замкнуты прямыми углами.
V, 1 Пусть грохочут подводы, телеги по злым мостовым,
2 Пусть топазные <?> светы бегут неживой вереницей. ◊
4 Чтоб витать, ворожить над судьбами и думой столицы.◊

Автограф
строфа I, 3 Он навек ли — кирпичный, булыжный, железный застой?
IV, 3—4 От осенних снегов до весенней воды ее тронь,
Плоть и кровь, чтó застынет, замкнута прямыми углами.

139

Черновой автограф

К П. П. < КОНРАДИ>

Ты прав — не века сын, не знаю я отзвучья**
На мертвую тоску иль на живую страсть.
Я сын*** цветущего, как сад, благополучья,
Которому грозит нежданная**** напасть.

Гроза таинственная вечно идет мимо.
Я чутким трепетом всечасно возбужден.
Струятся дрожь, озноб в крови неутомимой,
Чуть замер в сердце дух, уж вновь он возрожден.*****

Где б ни был я, нигде не вне я вертограда,******
Так дивно, жутко все, уютно, верно мне.*******
В древесных сенях******** цвет, и влага и прохлада.
Заря и тьма грозы — вдали, в глухой стране.

145

Черновой автограф
2 Ни дня труды не отдохнут...!
4 Когда весь день был дело, труд ◊

---

* *Незачеркнутый вариант.*
** *Зачеркнутый вариант*: Ты прав — не века сын, я не ищу созвучья
*** *Зачеркнутый вариант*: друг
**** *Зачеркнутый вариант*: священная
***** *Вписано и зачеркнуто*: По сердцу холодок бежит неутомимый
И замирает дух и снова возрожден.
****** *Было начато*: Не выйду я вовек из сладк<>
******* *Было*: Где все покойно так надежно верно мне
******** *Вписано*: В траве и в кущах

5—8 *а* Как станут рвать туда, сюда,
И не могу ничем помочь,
Тогда я сам не свой всегда:
Мой день пропал, как будто ночь.
б как в основном тексте

9—12 *а* Но вот я понял нужды всех.
Познал я степень сил своих.
Мой труд кипит: за мной успех!
Дай Бог побольше дней таких!
б как в основном тексте

между 12 и 13 [И чудится — вокруг меня
Исчезли грани мест и лет.
Речь вдохновенная моя
Оставит в вечности свой след*]

13 Века утратили права ◊

---

* *Было*: И в вечности оставит след.

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Ивана Коневского была издана единственная подготовленная им книга стихотворений и прозаических этюдов «Мечты и Думы» (СПб., 1900).

В декабре 1903 г. в издательстве «Скорпион» вышла в свет книга Ивана Коневского «Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений» (М., 1904). Все стихотворения, ранее опубликованные в «Мечтах и Думах», были в ней перепечатаны, однако авторская композиция этой книги устранена, тексты были скомпонованы по хронологическому принципу. В предисловии «От издателей» (с. V—VI) сообщалось:

«В настоящем издании собраны по возможности в с е оригинальные стихи И. Коневского и и з б р а н н ы е страницы его прозы. Именно, в эту книгу вошли:

Все стихи И. Коневского, появившиеся в печати при его жизни.

Все стихи, написанные И. Коневским после 1899 г., т. е. после издания им самим сборника своих стихов и прозы.

Те стихи более ранних годов (1894—1899), которые не были включены автором в свой сборник только по забывчивости или по причинам, теперь потерявшим свое значение. <...>

К стихам присоединены наиболее существенные варианты, как из печатных текстов, так и из рукописей.

За основной текст везде принят текст печатных изданий, появившихся при жизни автора, или текст последнего по времени автографа. Порядок расположения строго хронологический.

Работу по собиранию рукописей, сличению их и подбору вариантов исполнил Н. М. Соколов. <...> Общую редакцию издания принял на себя В. Я. Брюсов».

Работа над этим изданием была начата осенью 1901 г.; основные рукописные материалы для него предоставил отец поэта, И. И. Ореус; кроме того, были использованы автографы Коневского, хранившиеся у друзей покойного, а также в собрании Брюсова. (Подробнее о подготовке «Стихов и прозы» см.: Переписка <В. Я. Брюсова> с И. И. Ореусом-отцом / Публикация А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер и А. Е. Парниса // *ЛН*. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 532—549). Далеко не все автографы, бывшие в распоряжении составителя сбор-

ника, Н. М. Соколова, и редактора, В. Я. Брюсова, сохранились в составе архивного фонда Коневского (РГАЛИ. Ф. 259), в архиве В. Я. Брюсова и в других рукописных собраниях: в примечаниях к «Стихам и прозе» приведены среди прочих варианты строк, зафиксированные в автографах стихотворений, местонахождение которых ныне неизвестно (скорее всего, они утрачены). Эти сведения повторены в примечаниях к настоящему изданию, наряду с описанием вариантов доступных нам автографов).

Новая попытка издания сочинений Коневского была предпринята в 1910 г. 25 февраля этого года Брюсов писал Ореусу-отцу (еще не зная о его кончине, последовавшей 22 мая 1909 г.): «Новое московское издательство "Лад" желало бы издать, в дополнение к изданной "Скорпионом" книге "Стихи и проза", небольшой сборник разных сочинений Вашего сына. В этот сборник, по плану, должны были бы войти те статьи из книги "Мечты и думы", которые не перепечатаны в книге "Стихи и проза", а также некоторые наброски и стихотворения, сохранившиеся в рукописи у друзей покойного, у меня, у моей сестры и др.» (*ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 549). Подробнее об этом неосуществленном замысле сообщает сестра Брюсова Н. Я. Брюсова: «"Скорпион" издал посмертную книгу стихов Ореуса. Позднее мы с В<алерием> Я<ковлевичем> много раз собирались напечатать оставшиеся его рукописи (юношеские философские произведения, критические статьи по литературе, немногие, оставшиеся не напечатанными стихи); думали издать их в к<нигоиздательст>ве "Лад" (наше с В<алерием> Я<ковлевичем> предполагавшееся издательство, которое так и осталось лишь предполагающимся, только одна моя книжка напечатана под знаком этого издательства), но в конце концов рукописи так и не были напечатаны» (Там же. С. 553. Публикация В. Я. Мордерер). В упомянутой книге Н. Я. Брюсовой «Наука о музыке, ее исторические пути и современное состояние» (М.: Лад, 1910) анонсировалось неосуществленное издание: Ив. Коневской. Reliquiae. Второй том посмертного собрания сочинений (1894—1901).

Подготовку первого научного издания сочинений Коневского осуществил в 1930-е гг. известный исследователь русской литературы XIX в. и творчества В. Хлебникова Николай Леонидович Степанов (1902—1972). «Он собирает и изучает рукописи Коневского, хранившиеся в архивах В. Я., И. М. и Н. Я. Брюсовых, а также у некоторых друзей поэта. В начале 1937 г. Степанов подготовил и сдал в редакцию "Библиотеки поэта" двухтомник текстов Коневского, включавший единственный его прижизненный сборник "Мечты и думы" и не вошедшие в него стихотворения 1894—1901 гг., а также его переводы и статьи. В двухтомник были включены обстоятельные работы Степанова — критико-биографический очерк о Коневском, статья о переводческой деятельности поэта и комментарии. <...> Рукопись <...> долго лежала без движения, а затем идея издания книги совсем отпала. Во время войны рукопись книги, находившаяся в ленинградском издательстве,

погибла вместе со всем архивом "Библиотеки поэта". В послевоенные годы Степанов не возвращался к этой работе» (Предисловие А. Е. Парниса к публикации статьи Н. Л. Степанова «Иван Коневской. Поэт мысли» // *ЛН*. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4. С. 179). Часть рукописных материалов, собранных Н. Л. Степановым, после кончины ученого пополнила личный фонд Коневского в РГАЛИ.

Впоследствии сборник «Стихи и проза» был переиздан в Германии в серии «Slavische Propyläen» (Bd. 107) с предисловием Дж. Чижевского (München, Wilhelm Fink Verlag, 1971). «Мечты и Думы» были репринтно воспроизведены с приложением репринтного текста статей Коневского, опубликованных в альманахах «Северные Цветы», в США (Berkeley Slavic Specialties, 1989).

Единственное заново подготовленное отдельное издание сочинений поэта после 1904 г. на его родине — Иван Коневской (Ореус). Мечты и Думы: Стихотворения и проза / Предисловие, составление, комментарии Е. И. Нечепорука. Томск: Водолей, 2000. В издание вошли: книга «Мечты и Думы» в полном объеме; стихотворения из книги «Стихи и проза», не вошедшие в «Мечты и Думы» или написанные после формирования этой книги; проза (из книги «Стихи и проза» и из других изданий, вышедших в свет до 1904 г.); переписка с современниками (переиздание текстов публикаций новейшего времени с краткими примечаниями); раздел «Иван Коневской в стихотворениях, критических суждениях, воспоминаниях современников». В сборнике представлены практически все тексты Коневского, появившиеся в печати ко времени его составления (некоторые из них воспроизведены с существенными погрешностями). Архивные материалы в издании не были использованы.

В настоящем издании в полном объеме воспроизводится стихотворная часть книги «Мечты и Думы»; при этом раздел «Видения Странствий», состоящий из стихотворений и прозаических фрагментов, также печатается полностью, как художественное единство. Отдельные стихотворения из книги «Мечты и Думы» переизданы в составе сборника «Стихи и проза» с некоторыми изменениями (касающимися главным образом строфического деления); нами в случаях подобных разночтений принята за основу та редакция текста, которая представлена в «Мечтах и Думах». Второй раздел настоящего издания составили стихотворения, написанные после формирования книги «Мечты и Думы». Третий раздел содержит стихотворения, не включенные автором в «Мечты и Думы», а также незавершенные стихотворные тексты; лишь часть произведений этого раздела была представлена в сборнике «Стихи и проза», остальные публикуются впервые. Выделены также в особую рубрику шуточные стихотворения.

Ранние переводы стихотворений иноязычных авторов, выполненные Коневским в стихотворной форме, введены в состав третьего раздела настоящего издания. Более поздние переводы стихотворений,

выполненные в прозе, в издание не входят. В архиве Коневского они составляют объемный сборник (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 9. 236 лл.); кроме того, отдельно хранятся прозаические переводы из Э. Верхарна (Там же. Ед. хр. 13. 34 лл.).

Наличие лексических текстовых вариантов указывается в примечаниях к стихотворениям, там же приводятся менее пространные варианты отдельных строк по автографам и печатным изданиям. Варианты пунктуационные и графические не описываются. Пространные варианты и редакции текста стихотворений, существенно отличающиеся от публикуемых в основном корпусе, приводятся в разделе «Другие редакции и варианты»; тексты, представленные в этом разделе, отмечены в примечаниях к соответствующим стихотворениям астериском (*) при порядковом номере. При публикации вариантов черновых автографов в случаях, когда в результате последовательных изменений стих дает в окончательном виде чтение, полностью совпадающее с чтением данного стиха в основном тексте, этот последний вариант не приводится, вместо него (в конце последнего воспроизводимого варианта) ставится знак ◊, означающий, что воспроизводимый стих приведен к тексту, представленному в основном корпусе издания.

Тексты произведений Коневского печатаются по нормам современной орфографии и пунктуации, но с сохранением некоторых специфических особенностей, отличительных для стилевой манеры автора.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ЗК-1—11 — Записные книжки И. И. Ореуса (Коневского).

ЗК-1 — Записная книжка № 1. 1893—1895. 13 лл. // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 4.

ЗК-3 — Записная книжка № 3. 1896. 56 лл. // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 16.

ЗК-4 — Записная книжка № 4. 1896—1897. 68 лл. // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 17.

ЗК-5 — Записная книжка <№ 5>. 1897. 69 лл. // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 18.

ЗК-6 — Записная книжка № 6. 1897. 40 лл. // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 19.

ЗК-7 — Записная книжка № 7. 1898. 37 лл. // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 25.

ЗК-8 — Записная книжка № 8. 1897—1898. 37 лл. // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 20.

ЗК-9 — Записная книжка № 9. 1898. 41 лл. // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 26.

ЗК-10 — Записная книжка № 10. 1899. 77 лл. // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 28.

ЗК-11 — Записная книжка № 11. 1900. 46 лл. // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 29.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).

КР — Книга раздумий: 1. К. Д. Бальмонт. 2. Валерий Брюсов. 3. Модест Дурнов. 4. Ив. Коневской. СПб.: Тип. «В. С. Балашев и К°», 1899.

ЛН — «Литературное наследство».

МД — Мечты и Думы Ивана Коневского. 1896—1899. СПб.: Тип. СПб. акц. общ. печ. дела в России, Е. Евдокимов, 1900.

Переписка — Переписка <В. Я. Брюсова> с Ив. Коневским (1898—1901) / Вступ. статья А. В. Лаврова. Публикация и комментарии А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер, А. Е. Парниса // *ЛН*. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М.: Наука, 1991. Кн. 1. С. 424—532.

Письма к друзьям — Из писем Ивана Коневского к друзьям / Публикация и комментарии А. В. Лаврова // Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 150—189.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).

РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

СП — Иван Коневской. Стихи и проза: Посмертное собрание сочинений. С портретом автора и статьями о его жизни и творчестве. М.: Скорпион, 1904.

СЦ-1901 — «Северные Цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством "Скорпион"». М., 1901.

СЦ-1902 — «Северные Цветы на 1902 год, собранные книгоиздательством "Скорпион"». М., 1902.

ЦГИА СПб. — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга.

МЕЧТЫ И ДУМЫ

Впервые: Мечты и Думы Ивана Коневского. СПб.: Типография СПб. акц. общ. печ. дела в России, Е. Евдокимов, 1900 (цензурное разрешение 14 августа 1899 г.). Печатается по тексту этого издания, с изъятием раздела «Умозрения странствий» (С. 88—158; между разделами «Мельком. V. Дебри» и «Мельком. VI. Пережитки, совокупности, предвещания»), целиком составленного из нестихотворных текстов.

Книга вышла в свет в конце ноября 1899 г. тиражом 400 экз. (см.: Летопись литературных событий в России конца XIX — начала XX в. (1891 — октябрь 1917). Вып. 1. 1891—1900 / Редактор-составитель М. Г. Петрова. М., 2002. С. 406) и имела самое ограниченное распространение. Как известно из письма Коневского к В. Я. Брюсову от 31 января 1900 г., автор отправил в книжную торговлю Москвы всего 10 экземпляров (см.: *Переписка.* С. 480); после смерти Коневского Ореус-отец извещал Брюсова (13 октября 1901 г.) о готовности раздать интересующимся «Мечты и Думы», так как у него «осталось еще с лишком 200 экземпляров» (*ЛН.* Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 540). Появлению книги предшествовали лишь два выступления автора в печати — публикации сонета «Снаряды» (Книжки Недели. 1896. Ноябрь) и цикла «От солнца к солнцу» в составе 16 стихотворений («К пластику», «С Коневца», «Великомученица Варвара», «В роды и роды», «Дебри», «Море житейское», «В море», «Памяти встречи», «По дням», «Утренний привет», «Силы», «Сын солнца» — цикл из 5 сонетов) в сборнике «Книга раздумий» (СПб., 1899; цензурное разрешение 26 марта 1899 г.), вышедшем в свет в середине ноября 1899 г., почти одновременно с «Мечтами и Думами».

В декабре 1899 г. Брюсов записал: «Ореус напечатал "Мечты и Думы". По внешности издание плохо» (Брюсов Валерий. Дневники. 1891—1910. <М.>, 1927. С. 78); он же отмечал в письме к К. Д. Бальмонту (январь 1900 г.): «Книга Ореуса хороша» (*ЛН.* Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 111).

Первое свидетельство стремления Коневского объединить свои творческие опыты в художественное целое относится к первой половине 1897 г. В записной книжке поэта (*ЗК-5. Л.* 29 об.) карандашом зафиксировано, видимо, предполагаемое заглавие сборника или цикла: «Чаю и чую. Гласы и напевы»; ниже — чернилами — указан псевдоним, которым намеревался воспользоваться автор: «*Иван Коневецкий*» (эта запись, однако, непосредственно относится к записанному следом заглавию «Современная русская лирика» — заглавию статьи, которую Коневской завершил 16 февраля 1897 г.; см.: Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 143).

К непосредственной работе по составлению сборника Коневской приступил в июне 1899 г. Благодаря Брюсова (в письме от 23 июня 1899 г.) за возвращенные ему творческие рукописи, Коневской сообщал: «Все последнее время был занят перепиской многих из них <...>, корректурой отпечатков их на писчей машине, а также присоединением многих переводов (преимущественно из Swinburne и Verhaeren), которые необходимо, вместе со многими прежними Вам известными, должны войти в предположенное мною издание моей лирики — личной и переводной. Под общим заглавием: Мечты и Думы Ивана Коневского оно включит в себя I — VI отделы чистой лирики (исключаются первые два известные Вам): "Мельком", "Умозрения Странствий" и думу о "Живописи Бёклина". К этим

личным отделам присоединятся переводы в прозе из стихов Swinburne, Rossetti, Viele-Griffin, Verhaeren и из "Заратустры" Nietzsche» (*Переписка.* С. 464). Упоминая «первые два» раздела, известные Брюсову, Коневской подразумевает первоначальный состав задуманной книги (рукопись, частично скопированная И. М. Брюсовой, — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед.хр. 2); исключенные разделы — «В угаре» (переводы из Г. Ибсена) и поэма «Железный путь» (см. № 159). О продолжении составительской работы, а также о колебаниях автора в выборе псевдонима свидетельствует его письмо к А. Я. Билибину от 2 июля 1899 г. (содержавшее также просьбу о возвращении рукописей переводов, «в числе которых выдержки из Ницше должны составить заключительный аккорд всего переводного отдела»): «Надеюсь, что в половине этого месяца будет возможно точно узнать в типографии стоимость этого дела, а там и сдать всё в цензуру. Озаглавлен будет этот сборник: *Мечты и Думы Ивана Езерского: Мельком I — V — Умозрения Странствий — Живопись Бёклина (лирическая характеристика) — Мельком VI — Переводы стихов в прозе.* Задача переводов — наиболее полная и яркая формула философского смысла главных современных настроений; весь выбор стихотворений и отрывков производился в виду этой цели» (*Письма к друзьям.* С. 177). Столь значимый для автора раздел переводов пришлось исключить из-за недостатка средств: «При включении этого отдела, — сообщал Коневской в августе 1899 г. А. Я. Билибину, — цена перевалила бы даже за 300 р., тогда как без него печатание обойдется как раз в назначенную мною сумму рублей около 200. Но замысел переводов, как многозначительного целого, конечно, не оставлен мною и пополняется <...>» (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 21 об.). Некоторые изъятия — в частности, стихотворный цикл «Zeitgedichte» (см. № 168—169) — пришлось сделать по требованию цензора. Сообщая об этом В. Я. Брюсову в письме от 22 сентября 1899 г., Коневской добавлял: «...Мне явилась возможность сегодня передать в окончательном виде весь сборник в типографию, и через три недели мне обещано окончание печатания» (*Переписка.* С. 470).

Один из двух выявленных печатных откликов на «Мечты и Думы» принадлежал Вл. В. Гиппиусу (Мир Искусства. 1900. № 5/6. С. 107. Подпись: В.). Несмотря на то, что его связывали с автором личные отношения и что ему было посвящено самое пространное стихотворное произведение книги — «Дебри», Гиппиус дал весьма суровую общую оценку собранным в ней стихам, критическим и путевым очеркам: «И то, и другое, и третье — искренно и даже талантливо, но язык в них до того безграмотен, стиль неряшлив и последовательность самих мыслей до того уродлива, что чтение книжки и чрезвычайно трудно, и неприятно. <...> До тех пор, пока Ив. Коневской не научится писать грамотнее, все, что бы он ни написал, останется вне литературы. "Мечты и Думы" нельзя *оценивать*, потому что такие стихи и такую прозу невозможно читать; по крайней мере для этого требуется большое усилие, а усвоивать их содержание — даже труд. В чем же ручательство, что труд окупится глубоким смыслом их?

Доброжелательная критика в лучшем случае может признать за "Мечтами и Думами" и всеми подобными сборниками значение ученических работ, выполненных неудовлетворительно». На появление этого отзыва Коневской откликнулся развернутым письмом к Вл. В. Гиппиусу от 12 апреля 1900 г., в котором уличал своего критика в бездоказательности и неубедительности. См.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 94—98; в предисловии к этой публикации И. Г. Ямпольский привел фрагмент из письма Гиппиуса к Ф. Сологубу от 15 декабря 1899 г. с аналогичной оценкой книги Коневского, а также высказал ряд документально подтвержденных соображений о причинах резкой перемены в отношении Гиппиуса к Коневскому (С. 83—85).

Еще одна рецензия на «Мечты и Думы», опубликованная в Литературном приложении к «Торгово-Промышленной Газете» (1900. № 5, 30 января. С. 4), была написана поэтом и филологом-классиком Д. П. Шестаковым: «В стихах проглядывает иногда зачинающийся, но страшно невыработанный и недисциплинированный талант. Возьмите начальные стихи некоторых стихотворений, они иногда совсем хороши, как у настоящих поэтов». Приведя в подкрепление своих слов первые строфы стихотворений «С Коневца» и «По праву рождения», Шестаков резюмировал: «Но не ждите от г. Коневского до конца выдержанных стихотворений. Всегда какая-нибудь страшная дикость в середине или в конце стихотворения погубит хорошее начало. Г. Коневский <так!> — учится у дурной школы: он — один из участников болезненных "раздумий" гг. Бальмонта и Брюсова» (в последней фразе — намек на коллективный сборник «Книга раздумий»).

Эпиграф — фрагмент из стихотворения немецкого философа, филолога и поэта Фридриха Ницше (Nietzsche; 1844—1900) «Гафизу. Вопрос водохлёба» («An Hafis. Frage eines Wassertrinkers», 1884) («Die Schenke, die du dir gebaut...»). В письме к В. Я. Брюсову (вторая половина апреля 1899 г.) Коневской сообщает, что, готовя сборник своих стихотворений, он «одно небольшое, афористическое стихотворение "An Hafis" <...> избрал даже эпиграфом ко всему VIII отделу своей поэзии, обнимающему собою весь период с прошлой осени (1898 г.)» (*Переписка.* С. 459) — и приводит далее текст «Изречений водохлёба» («Sprüche eines Wassertrinkers»), взятый эпиграфом к *МД*, с заключительной строкой, в эпиграфе опущенной: «Wozu, wozu dir — — Wein?» («К чему, к чему тебе — вино?»). Разделу VIII первоначального плана в *МД* соответствует раздел «Мельком. VI». Та же цитата из Ницше записана как эпиграф на 2-й странице обложки в одной из рабочих тетрадей Коневского (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 13).

МЕЛЬКОМ

*1. *МД*. С. 7.
СП. С. 41—42.

Автограф с правкой — *ЗК-9.* Л. 10 об. Под заглавием «К изображению». Без эпиграфа. Пометы под текстом: «[26 июня Лаутербруннен, задумано весной в Петербурге]»; «Март — июнь Пб — Лаутербруннен». Варианты строк.

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 1 об. — 2. Без пометы под текстом. Варианты — строфа I, ст. 3—4: «Ты ж над моею судьбой / Реешь, как мудрость могил»; строфа IV, ст. 1: «Вечно — и "да" вечных, и "нет":» (возможно, описка).

Первоначально Коневской предполагал «Посвящение (Джиоконде Винчи)» предпослать 2-й части раздела «Видения странствий» («Программа для новых "Видений Странствий"» // *ЗК-9.* Л. 32 об.).

«Джиоконде» Винчи. — «Джоконда», портрет Моны Лизы (ок. 1503) работы Леонардо да Винчи (1452—1519); экспонируется в Лувре (Париж).

Эпиграф (в переводе: «...странная улыбка Жизни») — из стихотворения французского поэта и прозаика Анри де Ренье (1864—1936) «Эпилог» («Epilogue»), входящего в его книгу «Эпизоды» («Episodes», 1888); строка «Que raille le sourire étrange de la Vie».

Lauterbrunnen (Лаутербруннен) — селение в Швейцарии (Berner Oberland), к югу от Интерлакена. Коневской посетил его в ходе второго заграничного путешествия (июнь — июль 1898 г.).

2. *МД.* С. 8.

СП. С. 44—45. С примечанием: «В рук. посвящено Н. Н. Беккеру». Николай Николаевич Беккер — художник, был близок к Коневскому в университетские годы.

3. *МД.* С. 9.

СП. С. 85.

Список (рукой И. И. Ореуса-отца) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 128. Ед. хр. 33. Л. 2. Помета под текстом: «3 мая. Иван Ореус».

Валерий Яковлевич *Брюсов* (1873—1924) — поэт, прозаик, драматург, критик, историк литературы; один из лидеров русского символизма. Коневской познакомился с ним 12 декабря 1898 г. в Петербурге на квартире Ф. Сологуба, после этого завязалась регулярная переписка между ними. Подробнее об их взаимоотношениях см.: *Переписка.* С. 424—531; Лавров А. В. Брюсов и Иван Коневской // Лавров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007. С. 81—108. На экземпляре книги «Мечты и Думы», сохранившейся в библиотеке Брюсова, — дарительная надпись: «Милому Валерию Я. Брюсову в знак признательности за любовь к моему творчеству и сродства миросозерцаний. И. Ореус. Ноябрь, 1899, Пет.». Воспроизведена в статье К. Пуришевой «Библиотека Валерия Брюсова» (*ЛН.* Т. 27/28. М., 1937. С. 670. Факсимиле — с. 79).

МЕЛЬКОМ

I. В КЕЛЬЕ И В ПОЛЕ

4. *МД.* С. 13.

СП. С. 2—3. Помета под текстом: «19 февраля».

***5.** *МД.* С. 14—15.

СП. С. 8—9. Помета под текстом: «Начало января. Петроград».

Автограф — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 483. Л. 3 об. — 4. Передано О. В. Яфа. Без посвящения. Эпиграф: «"... Страшно захватывающее..." Ибсен: "Строитель Сольнес"» (подразумеваются слова Хильды в заключительной сцене действия 3-го драмы Генрика Ибсена «Строитель Сольнес» (1892): «И все-таки... дух захватывает!»; см.: Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1958. Т. 4. С. 274. Перевод А. и П. Ганзен). Варианты строк.

Владимир Аполлонович *Гильтебрандт* — врач,старший ординатор петербургского Морского госпиталя.

***6—7.** *МД.* С. 16—19.

СП. С. 4—7.

Черновой автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 17 об. Под заглавием «Две картины Нестерова» (текст второго стихотворения цикла отсутствует). Эпиграф:

Как рвется из густого слоя,
Как жаждет горних наша грудь,
Как все удушливо-земное
Она хотела б оттолкнуть.
Тютчев.

(Из стихотворения «Хоть я и свил гнездо в долине...», 1860).

Михаил Васильевич *Нестеров* (1862—1942) — живописец.

*1. *МД.* С. 16—18.

СП. С. 4—6. Датировка под текстом: «10 декабря».

Черновой автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 17 об. Под заглавием « 1. Св. Борис». Посвящение: «Посвящается А. М. В.». С делением на четверостишия. Варианты строк.

Святой князь Борис — один из образов, расписанных Нестеровым в киевском Владимирском соборе в 1890—1895 гг.: на хорах, в иконостасе северного придела, наряду с образами Богоматери, Христа, святого Глеба.

Алексей Михайлович *Веселов* (1877 — ?) — гимназический друг Коневского, учился вместе с ним в 1892—1896 гг. в 1-й петербургской гимназии (ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 7764). См. письма Коневского к Веселову от 22 ноября 1897 г. и 9 октября 1898 г. (*Письма к друзьям.* С. 167—174), а также запись разговора с Веселовым (1 ноября 1895 г.), сделанную им в гимназической тетради (приведена в статье Н. Л. Сте-

панова «Иван Коневской. Поэт мысли» // *ЛН*. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4. С. 182).

2. *КР.* С. 58—59. Подзаголовок: «(Подпись к иконе Нестерова)».

МД. С. 19.

СП. С. 7. Помета под текстом: «13 декабря. С.-Петербург».

Великомученица Варвара — один из образов, расписанных Нестеровым в киевском Владимирском соборе: на хорах, в иконостасе южного придела, наряду с образами святых Константина, Елены, Кирилла, Мефодия. Мощи св. Варвары, в 1108 г. перенесенные из Константинополя в Киев, покоились в киевском Златоверхо-Михайловском монастыре.

Florestano Kallio — дружеское прозвище (по одному из псевдонимов Р. Шумана — Florestan) Алексея Федоровича Каля (1878—1948), учившегося вместе с Коневским в 1-й петербургской гимназии (окончил одновременно с ним в 1896 г.). В 1901 г. Каль окончил классическое отделение историко-филологического факультета Петербургского университета, впоследствии преподавал латинский язык в 6-й и 1-й петербургских гимназиях, а также в Александровском лицее; приват-доцент Петербургского университета, музыковед. С 1921 г. — в эмиграции (в США, жил в Лос-Анджелесе); друг И. Ф. Стравинского и его секретарь в 1930-е гг. (до лета 1940 г.).

8. *МД*. С. 20.

СП. С. 3. Помета под текстом: «15 мая. Петроград». С примечанием: «В рук. озаглавлено: “Весной раскрыв окно”. Вар.: Ст. 10. Словно древние звери морские».

***9.** *МД*. С. 21.

СП. С. 11—12. Помета под текстом: «16 июня. Михайловское». С примечанием: «В рук. посвящено: “Памяти Ленау”. В Зап. Кн. записано: “14 июня верховая прогулка, созерцательные мгновения”».

Автограф 1 — РНБ. Ф. 736. Ед. хр. 314 (альбом М. К. Станюкович). Л. 3—3 об. С посвящением: «Духу Ленау». Помета под текстом: «Новгородский край. 1896 г.». Подпись: И. Ореус. Варианты строк.

Автограф 2 — ИРЛИ. Ф. 39 (З. А. Венгерова и Н. М. Минский). Ед. хр. 302. Подпись: И. Ореус. Варианты строк. Отправлен 31 июля 1896 г. в конверте с надписью: «В редакцию журнала “Северный Вестник” (Троицкая, 9) *с просьбой передать или переслать г-ну Виленкину*» (Виленкин — настоящая фамилия Минского).

Николаус Ленау (наст. имя Франц Нимбш Эдлер фон Штреленау; 1802—1850) — австрийский поэт. Коневской упоминает его в перечне «Мыслители, разрушившие для меня материализм и утвердившие во мне уверенность в *бессмертии души*» (с датировкой: «Осень и зима 1895 г.»), а также указывает в перечне (1898) «Любимые поэты: Тютчев — Фет — Lenau — Shelley — Vielé-Griffin» (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 14, 77 об.).

*10. *МД*. С. 22—24.

СП. С. 18—20. Помета под текстом: «Ноябрь — декабрь. Петроград».

Автограф 1 — *ЗК-4*. Л. 62—63. Первоначальная редакция текста.

Автограф 2 — РНБ. Ф. 736. Ед. хр. 314 (альбом М. К. Станюкович). Л. 4—6. Помета под текстом: «Пб. Ноябрь Декабрь 1896 г.». Подпись: И. Ореус. Варианты — ст. 1: «В храмине сумрака»; ст. 26: «То — на окраине».

Ср. запись Коневского: «"Жертва вечерняя" зародилась у меня в голове 29 октября» (1896 г.) (*ЗК-4*. Л. 1 об.).

Об И. А. Панаеве (посвящение в автографе 1) см. во вступительной статье (с. 11—12).

*11. *МД*. С. 25—26.

СП. С. 12—13. Помета под текстом: «9 июля. Михайловское».

Автограф — ИРЛИ. Ф. 39 (З. А. Венгерова и Н. М. Минский). Ед. хр. 302. Подпись под текстом: И. Ореус. Без посвящения. Варианты строк. Отправлен в редакцию журнала «Северный Вестник» 31 июля 1896 г. вместе с автографом стихотворения «На лету» (см. примеч. 9).

Адресат посвящения не установлен.

Написано в Михайловском, на даче И. А. Панаева и его жены С. И. Панаевой, крестной матери поэта (Боровичский уезд, близ станции Валдайка); Коневской провел там лето 1896 г.

12. *МД*. С. 27—28.

СП. С. 9—10. Помета под текстом: «Февраль. Петроград». С примечанием: «<...> в рук. озаглавлено: "Преображенный День"».

Ср. запись Коневского: «"Преображенный День" созрел между 29 января и 26 февраля» (1897 г.) (*ЗК-4*. Л. 1 об.).

Федор Александрович *Лютер* (1864—1920) — штатный преподаватель древних языков в 4-й петербургской гимназии в 1886—1913 гг.; окончил Русский филологический институт при Лейпцигском университете в 1885 г. (см.: ЦГИА СПб. Ф. 114. Оп. 1. Д. 5904а). В пору обучения Коневского в 1-й петербургской гимназии имел на него большое влияние, собирал у себя кружок гимназистов, интересовавшихся литературными и философскими проблемами. В письме к Брюсову от 27 декабря 1901 г. Н. М. Соколов называет Лютера «его <Коневского> любимым наставником» (РГАЛИ. Ф. 56. Оп. 2. Ед. хр. 50). Коневской посвятил Лютеру также стихотворения «Две радости» (№ 16), «Силы» (№ 24), «Ты миром удивлен, ты миром зачарован...» (№ 65).

Эпиграф — из романа «Братья Карамазовы» (1880; ч. 2, кн. 6, гл. III «Из бесед и поучений старца Зосимы»). См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 290.

...венец этих дней — вознесение духа... — Праздник Вознесения Господня — 39-й день по Пасхе (четверг).

*13. *МД*. С. 29.

СП. С. 29. Помета под текстом: «25 июля 1897 г. Петербург». С при-

мечанием: «В рук. эпиграф из А. Толстого: “Но я любить могу лишь на просторе”».

Автограф с правкой — *ЗК-8*. Л. 12. С эпиграфом: «Но я любить могу лишь на просторе. *А. Толстой*» (строка из стихотворения «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 1858; см.: Толстой А. К. Полн. собр. стихотворений и поэм. СПб., 2004. С. 117 («Новая Библиотека поэта»)). Помета под текстом: «Петроград 25-го июля». Варианты строк.

Автограф — *ЗК-8*. Л. 12 об. Помета под текстом: «Петроград. 25 июля 1897». Варианты строк.

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 2 об. — 3.

II. СОНЕТЫ

В *СП* примечание: «Перед сонетами в рук. был эпиграф из Россетти:

Look that it (a Sonnet) be;
Of its own arduous fulness reverent».

(Цитата — с пропуском одной строки — из вступительного сонета «A Sonnet is a moment's monument...» к собранию сонетов английского поэта и художника Данте Габриэля Россетти (1828—1882) «Дом Жизни» («The House of Life», 1881); ср. в русском переводе Валерия Савина: «Вложи в сонет <...> Весь пыл и рвенье мысли сокровенной» (Россетти Данте Габриэль. Дом Жизни: Поэзия. СПб., 2005. С. 24).

14. *МД*. С. 33.

СП. С. 13. Помета под текстом: «3 августа. Михайловское». С примечанием: «В рук. посвящено С. П. Розанову» (Сергей Павлович Розанов — гимназический товарищ Коневского).

Автограф — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 483. Л. 7. Передано О. В. Яфа. В подборке «Сонеты» (I — IV). Под заглавием: «I. Священные Сосуды».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 3 об. 1-е в цикле из трех стихотворений «Сонеты». С посвящением: «С. Н. <так!> Розанову».

15. *МД*. С. 34.

СП. С. 14. Помета под текстом: «7 августа. Михайловское». С примечанием: «В рук. начато продолжение:

Веками в наших душах залегали
Пласт за пластом тяжелые валы!
Для нас не клад, а цепи, кандалы
Устои те, что́ деды воздвигали».

Автограф — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 483. Л. 7 об. Передано О. В. Яфа. В подборке «Сонеты» (I — IV). Под заглавием: «II. Наследие Веков». Без посвящения. Варианты — ст. 7: «Еще во мне душа младенца билась»; ст. 9: «Сколь много уж провидел я! Сколь много».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 4 об. 2-е в цикле из трех стихотворений «Сонеты». Варианты ст. 7, 9 — как в автографе.

Вера Федоровна *Штейн* — скульптор; знала Коневского с его отроческих лет. В воспоминаниях О. В. Яфа-Синакевич приведены сведения из письма В. Ф. Штейн о нем: «Моя сестра Вильфрида Федоровна Штейн <...> была очень дружна с семьей Карковых; у них было имение в Украине "Шарки", кажется, — недалеко от Киева. Моя сестра часто жила в этой семье и всегда гостила летом в их имении <...> M-me Каркова — сестра матери Ореуса. Таким образом, моя сестра познакомилась с Ореусами. Ваня, или "Ваночек", как его звала его мать, а потом стали звать и близкие знакомые, часто бывал в гостях у моей сестры (последние 30 лет она, не выезжая, жила с другой своей сестрой <...>). У нее была большая взаимная симпатия с Ваней, и Ваночек очень любил читать ей вслух свои произведения. В квартире моих сестер я с ним и познакомилась. Особенного впечатления он на меня не произвел <...> Затем, кажется в 1890 или 91 гг., — нет, пожалуй, позже, третья сестра (были сестры: Каркова, Ореус и Дьяконова) наняла дачу в селе Михайловском <...> около Валдайск<ой> возвышенности и пригласила туда и меня, и туда же постоянно приезжал Ваночек (уже потерявший свою мать) со своим отцом; он был тогда студентом. Мы много гуляли там втроем — моя сестра, Ваночек и я; мне, кажется, было лет 15. Там очень красивые прогулки — и во время них Ореус всегда что-нибудь декламировал. Особенно помню "Св. Варвару" <...> кажется, в это лето Ваночек написал посвященное мне стихотворение. Я была девочкой одаренной, с особенной тягой к скульптуре, и на даче все время лепила что-нибудь. Ваночек пробовал давать мне уроки по русск<ому> яз<ыку>, и я написала у него одно или два сочинения. Старшие иногда поговаривали, что не поженимся ли мы со временем <...>. Но, кроме простой симпатии, ни с той, ни с другой стороны никогда ничего не было» (Синакевич О. В. Жили-были. В ссылке. Кадников. 1932 г. // РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 355. Л. 83—83 об.).

16. *МД*. С. 35.

СП. С. 14—15. Помета под текстом: «Август — сентябрь. Михайловское. Петроград».

Автограф — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 483. Л. 8. Передано О. В. Яфа. В подборке «Сонеты» (I — IV). Под заглавием: «III. Две Радости». Без посвящения. Вариант ст. 7: «Лелеет ее тот, а в ней зачах он».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 4. 3-е в цикле из трех стихотворений «Сонеты». Вариант ст. 7 — как в автографе.

Ср. запись Коневского: «Сонет "Две Радости" созрел у меня между 10 августа и 14 сентября» (1896 г.) (*ЗК-4*. Л. 1 об.).

Ф. А. *Лютер* — см. примеч. 12.

*17—21. *КР*. С. 79—82. С посвящением: «Александру Б.» Датировка под текстом: «Осенью 1896». Без деления на строфы.

МД. С. 36—40.

СП. С. 15—18. В каждом сонете обозначено деление на 2 катрена и 2 терцета. С примечанием: «В *КР* посвящено "Александру Б.". В первоначальной программе помечено: "В ответ Гюйо", и сделана обширная выписка из Гюйо. V посвящ. в рук. А. М. Веселову. В IV — вар.:

Ст. 7—8. Вокруг царила дикая бесцельность,
А в ней звенел осмысленный мой шаг».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 5—7. С посвящением: «Александру Билибину».

В статье «Стихотворная лирика в современной России» (1896—1897) Коневской приводит полностью 1-й и 2-й сонеты цикла и характеризует обстоятельства их написания — воплощения «картины целого стихийного мировоззрения» «одного юноши» (Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 132—133).

Посвящение. — *Асканий* — дружеское прозвище Александра Яковлевича Билибина (1879—1936), брата художника И. Я. Билибина, впоследствии профессора математики. А. Я. Билибин учился в той же 1-й петербургской гимназии, что и Коневской (окончил в 1898 г.), в 1899—1904 г. — студент физико-математического факультета Петербургского университета (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 34890). Один из близких друзей Коневского (см. его письма к А. Я. Билибину от 11 августа 1898 г., 2 июля 1899 г., декабря 1899 г., 5, 21 и 26 июня 1900 г. // *Письма к друзьям*. С. 172, 174—179, 182—188). Прозвище — от имени Аскания, Юла (Ascanius, Julis; *римск. миф.*), сына Энея и Креусы, легендарного правителя древнейшего италийского города Альба-Лонга и основателя рода Юлиев.

Эпиграф — заключительные строки стихотворения А. В. Кольцова «Божий мир (Дума)» («Отец света — вечность...», 1837). См.: Кольцов А. В. Полн. собр. стихотворений. Л., 1958. С. 132 («Библиотека поэта». Большая серия).

*1. *КР*. С. 79. — *МД*. С. 36. — *СП*. С. 15. Помета под текстом: «20 августа. Михайловское».

Автограф — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 483. Л. 8 об. Передано О. В. Яфа. В подборке «Сонеты» (I — IV). Под заглавиями: «IV. Сын Солнца», «I. Рост и мудрость». Варианты строк.

...век свой пела ~ да, это — дело... — Обыгрываются строки басни И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» (Басни, кн. 2, XII): «"Я без души / Лето целое всё пела". — / "Ты всё пела? это дело <...>"».

2. *КР*. С. 80. — *МД*. С. 37. — *СП*. С. 16. Помета под текстом: «6 ноября. Петроград».

Автограф — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 483. Л. 5. Передано О. В. Яфа. Под заглавием «II. Средь волн». Помета под текстом: «Im Spiel der Wellen. Картина Бёклина». Варианты ст. 3—4: «И в зыбь нырял, в пещеры он глухие, / И тешился он в мутных глубинах».

*3. Книжки Недели. 1896. Ноябрь. С. 96. Подпись: И. Ореус. С подзаголовком: «Сонет». Помета под текстом: «Нижний Новгород (Машинный отдел Выставки) 30 августа».

КР. С. 80—81. — *МД.* С. 38. — *СП.* С. 16—17. Помета под текстом: «30 августа. Нижний Новгород. (Машинный отдел выставки)».

Черновой автограф ст. 1—8 — *ЗК-3.* Л. 31 об.

Автограф 1 — *ЗК-3.* Л. 32.

Автограф 2 — *ЗК-3.* Л. 52 об. — 53. Датировка: «30-го августа — 7-го сентября». Текст перечеркнут.

Автограф 3 — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 483. Л. 3. Без пометы под текстом. Первоначальный вариант ст. 5: «Здесь человек вернул свои права». Передано автором О. В. Яфа.

Написано под впечатлением от посещения Всероссийской промышленной и художественной выставки, открывшейся в Нижнем Новгороде в мае 1896 г.; Коневской знакомился с нею (вместе со своими спутниками, братьями И. Я. и А. Я. Билибиными) с 28 августа по 3 сентября. Черновому автографу стихотворения (*ЗК-3*) предшествует запись Коневского от 30 августа:

«Машинный отдел впечатление могучее, подавляющее, захватывающее. Неумолимая необходимость и закономерность жизненных явлений!

Безотрадное, хотя и одухотворенное зрелище, родственное по духу Иматре. Действие головокружительное (превосходное выражение А. Я. Б.).

Одна машина работает с яростью и ожесточением, другая с глухим упорством ("а я-то все по-своему!" — меткое слово А. Я. Б.), третья с ехидством и язвительностью, четвертая — с каким-то диким весельем и восторгом (два пляшущих валика); пятая (ткацкая) знаменует какой-то искусно и тактично обдуманный способ разрушения» (Л. 31—31 об.).

В воспоминаниях О. В. Яфа-Синакевич «Жили-были» зафиксирован рассказ А. Я. Билибина о происшествии, имевшем непосредственное отношение к написанию этого стихотворения: «— Если бы не наш бдительный надзор, — рассказывал А. Я., — рассеянность Ив<а>на Ив<анови>ча не раз могла бы иметь роковые для него последствия. Так, нынче летом, на Нижегородской выставке, он, будучи в Машинном отделе и внезапно вдохновившись видом электрических двигателей, вздумал записать сочиненное им тут же стихотворение, прислонив записную книжку к гигантскому маховому колесу, которое как раз в этот момент приводили в движение. Минута — и Ив<ан> Ив<анович> неминуемо взлетел бы на воздух, если бы мы не отдернули его в сторону» (РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 20—21).

*4. *КР.* С. 81—82. Варианты — ст. 3: «Где тонет пестрых красок беспредельность»; ст. 7 — «Чтоб не влекла всесильной тьмы бесцельность».

МД. С. 39. — *СП.* С. 17. Помета под текстом: «16—17 августа. Михайловское».

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 15. С посвящением: «Посвящается С. П. Семенову». Варианты — ст. 3, 7: как в *КР*; ст. 6: «В себе чтоб воли чуять нераздельность».

Автограф 2 — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 483. Л. 5 об. Передано О. В. Яфа. Под заглавием: «V. Starres Ich». Без посвящения. Варианты строк.

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 6 об. Варианты ст. 3, 7: как в *КР*.

Под рубрикой «NB поправки в издании стихов» Коневской зафиксировал варианты — ст. 3: «Где тонет красок яркая раздельность» (надписан незачеркнутый вариант: «В которых тонет образов раздельность»); ст. 7 — как в основном тексте (*ЗК-9*. Л. 31).

Starres Ich (*нем.*) — непреклонное Я.

Сергей Петрович *Семенов* (1874—193?) — выпускник 2-й петербургской гимназии, студент юридического факультета Петербургского университета в 1894—1899 г. (см.: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 31246). Друг Коневского и его товарищ по студенческому «Литературно-мыслительному кружку». См. письма Коневского к Семенову от 8 июля 1897 г. и 4 мая 1900 г. (*Письма к друзьям*. С. 158—167, 180—182). Известен текст дарительной надписи Коневского Семенову: «Сергею Петровичу Семенову, величайшему спутнику моему на дорогах мышления по основаниям — не раз отлучающийся от него и —этой прямой дороги в дебри видений. И. Ореус» (приведена в комментариях А. Е. Парниса в кн.: *ЛН*. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4. С. 200—201). Семенову посвящено также стихотворение «Стезя войны грозна и безотрадна...» (№ 36).

5. *КР*. С. 82. Вариант ст. 8: «Рванешься снова к играм ты отрадным».

МД. С. 40. — *СП*. С. 18. Помета под текстом: «19—20 ноября. Петроград».

Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 15. Варианты ст. 8—10: «Рванешься снова к играм ты отрадным! / Прильнув так кровно к роднику движенья, / Ты ввек не будешь знать изнеможенья».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 7. Вариант ст. 8: как в *КР*.

О цикле и о заключающем его стихотворении В. Брюсов отозвался в письме к Коневскому от 26 января 1899 г.: «Высшим, самым желанным считаю я сонеты, и среди них "Сын Солнца", круг всем блистающий, где заключительная речь — изумительная, потрясающая... "Пребудешь ты ожесточенно жив" — этого стиха мне довольно, чтобы любить Вас отныне вечно» (*Переписка*. С. 451).

III. IV. ВИДЕНИЯ СТРАНСТВИЙ

Эпиграф — фрагменты из стихотворения Ф. И. Тютчева «Странник» («Угоден Зевсу бедный странник...», 1830).

1. 1897. ЛЕТО

Эпиграф — первая строка заключительной строфы стихотворения английского поэта Уильяма Вордсворта (1770—1850) «К ***, по случаю ее первого восхождения на Хэлвеллин» («To —, on her First Ascent of Helvellyn», 1816). См.: Wordsworth William. The Complete Poetical Works. London; New York, 1890. P. 561. В переводе: «Ибо мощь холмов лежит на тебе». Та же строка обозначена как эпиграф к записной книжке Коневского, озаглавленной: «Лето 1897 г. Летопись странствия. II» (*ЗК-6*. Л. 1).

Стихотворения этого раздела написаны по впечатлениям от заграничного путешествия, совершенного в июне — июле 1897 г. по Австрии, Баварии и Германии.

22. *МД*. С. 45.

СП. С. 21. Помета под текстом: «14 июня. Дорога из Salzburg в Königsee».

Автограф 1 — *ЗК-5*. Л. 30. Помета под текстом: «14 июня 1897. По дороге из Зальцбурга в Берхтесгаден». Без деления на строфы. Вариант ст. 14: «И утес грозит».

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 16. Отправлено Брюсову при письме от 18 декабря 1898 г.

Автограф 3 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 18. В письме к И. Я. Билибину от 28 июня 1897 г. Под номером 1; без пометы под текстом. Опубликован: *Письма к друзьям*. С. 152—153.

Автограф 4 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 21. В письме к С. П. Семенову от 8 июля 1897 г. Помета под текстом: «Между Зальцбургом и Берхтесгаденом». Вариант ст. 14: «И утес грозит». Опубликован: *Письма к друзьям*. С. 163—164.

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386. Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 19.

Königssee — городок на юго-востоке Баварии, близ одноименного озера (земля Берхтесгаден). Ср. запись Коневского (июнь 1897 г.):

«Königsee — озеро цвета «кошачьего глаза» (œil de chat).
Со всех сторон объемлет горная сила.
Зрелище сказочное!
На возвратном пути взор гуляет и утоляется» (*ЗК-5*. Л. 29).

***23.** *МД*. С. 46.

СП. С. 22. Помета под текстом: «Июнь. Salzburg». С делением на четверостишия. С примечанием: «В рук. помета: “По дороге из Зальцбурга в Берхтесгеден”».

Автограф 1 — *ЗК-5*. Л. 30—30 об. Варианты строк.

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 16—16 об. Отправлено Брюсову при письме от 18 декабря 1898 г.

Автограф 3 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 18. В письме к И. Я. Билибину от 28 июня 1897 г. Под номером 2; без пометы под текстом.

Варианты — ст. 5: «Я на суку качаюся»; ст. 7: «И чаю — не начаюся». Опубликован: *Письма к друзьям.* С. 153.

Автограф 4 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 21. В письме к С. П. Семенову от 8 июля 1897 г. Помета под текстом: «Зальцбург». Варианты ст. 5, 7 — как в автографе 3. Опубликован: *Письма к друзьям.* С. 164.

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386. Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 19 об.

О. В. Яфа-Синакевич вспоминает о шуточном исполнении этого стихотворения в дружеском кругу во время рождественского праздника 28 декабря 1898 г.: «Мы, как малые ребята, веселились вокруг елки, плясали, причем с увлечением была исполнена полька с особыми нелепыми pas, сочиненными Ив. Як. Билибиным, сопровождавшаяся пением танцующими стихов И. И. Ореуса:

Я на суку качаюся,
Качаюся, качаюся —
И чаю не начаюся,
Обворожен грозой.
Об-во-во-во-рожен,
Об-во-во-во-рожен,
Обворожен грозой.

Иван Иванович не участвовал в этом диком танце, сопровождавшемся угрожающими жестами и какими-то козлиными подпрыгиваниями, — но и не обижался на такое бесцеремонное искажение и профанацию его вовсе не юмористических, глубоко проникновенных стихов; — он даже добродушно смеялся, когда мы перед ним исполняли эту польку» (Синакевич О. В. Жили-были. Воспоминания. Ч. III. Юность. 1894—1900-е гг. // РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 328. Л. 20 об.).

24. *КР.* С. 77—78. Датировка под текстом: «1897»; указание на место написания отсутствует.

МД. С. 47.

СП. С. 22—23. Помета под текстом: «Июнь. Salzburg». С примечанием: «Вар.: Ст. 5. Семь орлов испуганных».

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 77 об. — 78. Без посвящения и эпиграфа. На обороте записи от 31 мая 1897 г. (пароход «Elbe»). Варианты — ст. 5: «Семь орлов испуганных»; ст. 7: «Пронеслось над дикими».

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 16 об. Без посвящения. Помета под текстом: «Июнь 1897 г. Salzburg». Отправлено Брюсову при письме от 18 декабря 1898 г.

Автограф 3 — РНБ. Ф. 736. Ед. хр. 314 (альбом М. К. Станюкович). Л. 2—2 об. Без посвящения и эпиграфа. Помета под текстом: «Зальцбург». Подпись: И. Ореус. Варианты — ст. 5, 7: как в автографе 1.

Автограф 4 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 21. В письме к С. П. Семенову от 8 июля 1897 г. Без посвящения и эпиграфа. Помета под текстом:

«Зальцбург». Варианты ст. 5, 7 — как в автографе 1. Опубликован: *Письма к друзьям*. С. 164—165.

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386. Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 20. Без посвящения. Ст. 17—26 отсутствуют.

Посвящение. — Ф. А. *Лютер* — см. примеч. 12.

Эпиграф — строка из стихотворения «Божий мир (Дума)» («Отец света — вечность...», 1837). См.: Кольцов А. В. Полн. собр. стихотворений. Л., 1958. С. 132 («Библиотека поэта». Большая серия).

***25.** *МД*. С. 48.

СП. С. 23. Помета под текстом: «6 июля. Schwarzathal (Thüringen)». С делением на четверостишия.

Автограф 1 — *ЗК-6*. Л. 11 об. Без заглавия. Помета под текстом: «Тюрингия долина Шварцы». Варианты строк.

Автограф 2 — *ЗК-6*. Л. 12. Без заглавия. Помета под текстом: «Тюрингия долина Шварцы».

Автограф 3 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 14—14 об. Помета под текстом: «Ущелье Шварцы (Тюрингия)».

Автограф 4 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 21. В письме к С. П. Семенову от 8 июля 1897 г. Помета под текстом: «Долина Шварцы». Вариант ст. 2: «В небе — тающий снег...». Опубликован: *Письма к друзьям*. С. 165.

В *ЗК-6* автографам стихотворений предшествуют записи:

«*6 июля*. Пешеходное странствие из Лауши в Шварцбург. Вышел в 3 ¾ ч. утра <...>» (Л. 10);

«Выход в долину Лихты и Шварцы.

Со всех сторон дышит богатырское дыхание роскошной дубравной силы, заливающей окрестные громады.

Чем ближе подходишь к долине Шварцы и чем дальше идешь по ней, тем властнее эта сила напирает, тем дыхание ее ближе обвевает душу. Просто голова кружится, в глазах рябит от этого разгула растительной жизни.

Внизу в лощине катит стремительные, хоть тонкие струи поток Шварцы, облелеянный поемными лужайками» (Л. 11).

Там же непосредственно после автографа 2 записи продолжены:

«6 июля.

Обаятельная дорожка прославленного солнца на почве лесной тропы.

Вещий поворот тропы близь заманчивого обнаженного песчаного обрыва с темной и свежей листвой дикого кустарника, свесившегося над ним.

Возвращение по нижней долине Шварцы.

Ослепительно величаво. Со всех сторон сквозит сквозь покров древесных кущ что-нибудь сулящее неведомую торжественность. То виднеются и обуевают душу сквозь раскидистые сени высоких дерев, спускающихся по круче к потоку Шварцы, необъятные дубравные громады; то, сквозь так же прозрачные, зеленые ткани дышит на душу прославленное солнце вечера.

И вся дорога обвеяна колеблющимися, перебегающими и дразнящими отблесками этого пророческого, глубокого света. Подчас лишь объявляются совсем воочию лучезарные просветы прямо в его очаг.

В такие минуты сердце уже прямо так и рвется из груди» (Л. 12—12 об.).

26. *МД.* С. 49.

СП. С. 24. Помета под текстом: «7 июля. Schwarzburg». С примечанием: «<...> в рук. озаглавлено: "Ропот рока"».

Черновой автограф — *ЗК-6.* Л. 16. Под заглавием «Рокот рока». Помета под текстом: «7 июля Шварцбург». Верхний слой правки соответствует основному тексту.

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 14—14 об. Без посвящения. Помета под текстом: «Шварцбург (Тюрингия)».

Автограф 2 — Там же. Л. 16 об. Без посвящения.

Автограф 3 — РНБ. Ф. 736. Ед. хр. 128 (альбом З. К. Станюкович). Л. 2. Помета под текстом: «Шварцбург (Тюрингия)». Подпись: И. Ореус.

Автограф 4 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 21. В письме к С. П. Семенову от 8 июля 1897 г. Помета под текстом: «Шварцбург». Без посвящения. Опубликован: *Письма к друзьям.* С. 165.

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 18 об. Над текстом запись: «Видения странствий». Без пометы под текстом.

Посвящение. — *Зинаида* Константиновна *Станюкович* (1872—1932) — дочь писателя К. М. Станюковича. В ее альбоме имеются автографы двух других стихотворений Коневского (см. №№ 31, 32).

Schwarzburg — селение и одноименный замок в долине Шварцы (близ Рудольштадта). В письме к С. П. Семенову от 8 июля 1897 г. Коневской, описывая свое «сплошь пешеходное круговое странствие по Тюрингии», сообщал: «Выйдя 6-го июля из города Лауши <...> на рассвете, я к полудню добрался до Шварцбурга. Это — замок с небольшой деревней у ног, наполненной гостиницами, расположен он в глубочайшем ущелье, со всех сторон замкнутом в огромных кручах, пушистых дебрями. На дне ущелья рокочет поток Шварцы. Как входишь в это ущелье, так вся эта древесная мощь точно напирает на тебя, и все ближе и ближе над собой ощущаешь ее богатырское дыхание» (*Письма к друзьям.* С. 162—163).

***27.** *КР.* С. 75—76. Без пометы под текстом. Вариант ст. 6: «По стволам заиграли лучи».

МД. С. 50.

СП. С. 25. Помета под текстом: «< > июля. Гора Inselsberg» (обозначение точной даты выпало при наборе). С примечанием: «В рук. сначала озаглавлено "Младенчество", потом набросана "обстановка утреннего привета". Сначала те же образы, что в стихах, далее: "Утро — пора до-

машнего, семейного покоя. В эту пору на древнем ветвистом дереве человеческой жизни цветут свежие молодые замыслы. Многолетние залежи прошлого покоятся на дне души, но пленительно самобытно распространяется над их поверхностью ясная кора без воспоминаний. Безгранично, чисто, ясно. Небо откровенно, как улыбка младенца"».

Автограф 1 — *ЗК-6*. Л. 30—30 об. Под заглавием: «Утренний привет. Младенчество». Без посвящения. Помета под текстом: «Инзельсберг». С эпиграфом; варианты строк.

Автограф 2 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 14—14 об. Без посвящения. Помета под текстом: «Гора Инзельсберг». С эпиграфом; варианты строк.

Ср. запись Коневского («*13-го июля* <1897>. Рассвет»), соотносящуюся с образным строем стихотворения:

«Между деревьями, в тех местах, где росистая мурава уже в ясносером свете <*сверху вписан вариант*: ясном сумраке. — *Ред.*> рассвета, атмосфера феи Мелузины, атмосфера свадебного утра.

Таинство рождения, таинство колыбели.

Над облачным покровом встает огненно-багряный шар. Во встречной стороне неба между стволами дерев пробежали алые полоски.

Молодой бог солнца в нетленно-золотом венце — это румяная радость первобытного неведения и блаженного любопытства, ожидания. Целый мир всё впереди, и все ново, все неизведано и неожиданно. Вот чтó светится в этих алых лучах» (*ЗК-6*. Л. 29 об. — 30).

Посвящение. — *Отец* — Иван Иванович Ореус (1830—1909), генерал-лейтенант, военный историк, автор нескольких сот статей в «Энциклопедии военных и морских наук» и «Энциклопедическом словаре» Брокгауза — Ефрона. См.: Памяти Ивана Ивановича Ореуса (1830—1909). По воспоминаниям друзей и почитателей составил М. Будагов. СПб., 1910; Переписка <В. Я. Брюсова> с И. И. Ореусом-отцом / Публикация А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер и А. Е. Парниса // *ЛН*. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 532—550.

Даж-бог — Дажьбог, Даждьбог — в восточнославянской мифологии бог, связываемый с солнцем.

28. *МД*. С. 51.

СП. С. 26. Помета под текстом: «14 июля. Eisenach». С примечанием: «В рук. озаглавлено "Перелом дня"».

Автограф 1 — *ЗК-6*. Л. 35. Под заглавием «Перелом дня». Помета под текстом: «Эйзенах». Эпиграф: «... от сряща беса полуденна. Псалом 90». (В тексте Православного молитвослова: «Не убоишися <...> от сряща <нападения> и беса полуденнаго»).

Автограф 2 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 13. Эпиграф: «... от сряща и беса полуденнаго... Псалом 90». Помета под текстом: «Эйзенах».

Автограф 3 — Там же. Л. 17.

***29—30.** *МД.* С. 52—53.

Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 14 об. Под заглавием «В небесах». Без посвящения.

Посвящение. — Адресат — тетка Коневского («австрийская тетушка»), у которой он гостил в Зальцбурге в июне 1897 г. (см.: письмо Коневского к А. Я. и И. Я. Билибиным от 1 июня 1897 г. // *Письма к друзьям.* С. 150); комментарий Н. Л. Степанова к «Умозрениям странствий» // РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 7. Л. 76). Среди записей Коневского, сделанных летом 1897 г., зафиксированы «словечки тети Сони» (*ЗК-5.* Л. 31—32).

*1. *МД.* С. 52. — *СП.* С. 24. Помета под текстом: «12 июня. Гора Inselsberg». С примечанием: «В рук. под заглавием "В небесах. I. Кони".

Черновой автограф 1 — *ЗК-6.* Л. 27 об. — 28. Без заглавия. Дата: «12 июля». Помета под текстом: «Инзельсберг». Варианты строк.

Черновой автограф 2 — *ЗК-6.* Л. 28—28 об. Под заглавием «В небе». Варианты строк.

Автограф 1 — *ЗК-6.* 2-я страница обложки. Под заглавием «В небесах». Помета под текстом: «12 июля Инзельсберг». Без посвящения. Вариант ст. 3: «По раздолию его, над деревами».

Автограф 2 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 14 об. Помета под текстом: «Гора Инзельсберг». Вариант ст. 3: «По раздолию его, над деревами».

*2. *МД.* С. 53. — *СП.* С. 26. Помета под текстом: «14 июля. Дорога из Eisenach в Coburg». С примечанием: «В рук. озаглавлено: "В небесах. II. Престол". В рук. вар.:

Ст. 11—14. И носяся над зреющей рожью,
В поселянина веющий дрожью,
Благодать их полет приносил».

Черновой автограф — *ЗК-6.* Л. 35—35 об. Под заглавием «Престол». Помета под текстом: «14 июля — В вагоне между Зальцунген и Вернегаузен». Варианты строк.

Автограф 1 — *ЗК-6.* Л. 36. Под заглавием «Престол». Помета под текстом: «14 июля. В вагоне между Зальцунген и Вернегаузен (Тюрингия)». Вариант ст. 10: «Совершают движения сил».

Автограф 2 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 14 об. Помета под текстом: «На дороге из Эйзенаха в Кобург».

31. *МД.* С. 54.

СП. С. 27. Под заглавием «Bayreuth. I».

Автограф 1 — *ЗК-6.* Л. 1 об. Без пометы над текстом и многоточия в конце текста. Помета под текстом: «17 июля на дороге из Байрейта в Лейпциг». Вариант ст. 9: «Замерли снова так трепетно, чутко».

Автограф 2 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 13. Помета под текстом: «На дороге из Байрейта в Лейпциг».

Автограф 3 — РНБ. Ф. 736. Ед. хр. 128 (альбом З. К. Станюкович). Л. 2 об. Перед ст. 1 обозначен порядковый номер: 1.

Bayreuth — Байрейт, город в северной Баварии, известный оперным театром (Festspielhaus), открытым в 1876 г. и созданным по замыслу Р. Вагнера для постановок его опер.

***32.** *МД*. С. 55.

СП. С. 27. Под заглавием «Bayreuth. II». Помета под текстом: «17 июля. На дороге из Байрейта в Лейпциг».

Черновой автограф — *ЗК-6*. Л. 39. Без пометы над текстом («Bayreuth». Помета под текстом: «17 июля на дороге из Байрейта в Лейпциг». Варианты строк.

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 13. Помета под текстом: «На дороге из Байрейта в Лейпциг».

Автограф 2 — РНБ. Ф. 736. Ед. хр. 128 (альбом З. К. Станюкович). Л. 2 об. — 3. Перед ст. 1 обозначен порядковый номер: 2. Запись над текстом: «(Последние звуки вагнеровского "Парсифаля")». Подпись: И. Ореус. После текста стихотворения запись:

«В этот час задушевнее, чем в иные часы жизни, Вас осеняет незримый Ваш спутник.

Скажите:

Крылом своим меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет тень
Для очарованной души
(Тютчев).

Зинаиде Константиновне Станюкович в полночь, первый миг дня именин ее. И. Ореус». (Цитата — из стихотворения «День вечереет, ночь близка...», 1851).

(Последние звуки «Парсифаля»). — «Парсифаль» — опера-мистерия Рихарда Вагнера (1882). 8 июля 1897 г. Коневской писал С. П. Семенову: «... в Мюнхене <...> мне удалось прослушать целый Richard Wagner-Abend <Вечер Рихарда Вагнера — *нем.*>, и я ощутил такой восторг, какого никогда еще не переживал под действием звукового творчества Этот вечер окончательно внушил мне отрадную уверенность, что мне точно стóит съездить в Байрейт. Первое представление, на которое билеты оказались еще не распроданными, было представление 15-го июля: "Parsifal". Я из Мюнхена выписал билет <...>» (*Письма к друзьям*. С. 160).

33. *МД*. С. 56.

СП. С. 28.

Заглавие. — См. примеч. 17—21.

Эпиграф — из неизвестного нам стихотворения А. Я. Билибина.

При въезде в Киевские степи. — Поездку в Киев Коневской предпринял в начале сентября 1897 г.

34. *КР.* С. 56—57. Помета под текстом: «Весной 1898». Эпиграф: «Сосредоточен, я живу в себе самом. Алексей Толстой» (строка из стихотворения «Когда природа вся трепещет и сияет...», 1858; см.: Толстой А. К. Полн. собр. стихотворений и поэм. СПб., 2004. С. 114 («Новая Библиотека поэта»)). Варианты — строфа II, ст. 4: «Бьются всплески и в смежных слогах»; строфа VI, ст. 2: «Но очами вопьюся в простор»; ст. 4: «Все впитает тычинка — мой взор». (Эти варианты приведены в примечаниях в *СП*).

МД. С. 57.

СП. С. 36—37. Помета под текстом: «Весна 1898 г. С.-Петербург».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 7 об. — 8. Без пометы под текстом. Эпиграф и варианты строк — как в *КР.*

Заглавие. — *Коневец* (Konivets, Kononsaari) — остров на Ладожском озере, приблизительно в 100 км к северу от Шлиссельбурга; на острове располагался Коневский Рождественский мужской монастырь. См.: Пимен, архимандрит. Рождественский Коневский монастырь. СПб., 1892. По названию острова Иван Ореус избрал свой литературный псевдоним.

2. 1898. ВЕСНА И ЛЕТО

Первый эпиграф — из раздела V стихотворения английского поэта Перси Биши Шелли (1792—1822) «Монблан. Строки, написанные в долине Шамони» («Mont Blanc. Lines written in the Vale of Chamoni», 1816); в переводе В. А. Меркурьевой: «...тайная Душа Вещей» (см.: Шелли. Избранные стихотворения. М., 1937. С. 157). В перечне «Разобранные мною стихотворения Shelley» (в тетради «Книги и статьи, прочитанные с сентября 1894 г. по 15-ое ноября 1896 г.») Коневской указал: «многие отрывки из “Mont Blanc”» (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 13 об.)

Второй эпиграф — из стихотворения английского поэта Джона Китса (1795—1821) «Строки, написанные в Северной Шотландии после посещения деревни Бёрнса» («Lines written in the Highlands after a Visit to Burns's Country», 1818). Ср. в переводе Арк. Штейнберга: Китс Джон. Стихотворения. «Ламия», «Изабелла», «Канун св. Агнессы» и другие стихи. Л., 1986. С. 179 («Литературные памятники»).

Значительная часть произведений этого раздела написана по впечатлениям от заграничного путешествия, совершенного в июне—июле 1898 г. по Германии, Швейцарии и Северной Италии.

В рукописях Коневского зафиксирован первоначальный план этого раздела (*ЗК-9.* Л. 32 об.); справа в угловых скобках приводятся заглавия произведений в *МД* и их номера в наст. изд.:

Программа для новых «Видений Странствий»

Посвящение (Джиоконде Винчи) <№ 1>

1. В море <№ 37>

2. Пришлец — в горах <«В горах — пришлец». № 38>

3. Озеро <№ 39>

4. Горе <«В горних». № 40>

5. Мудрость гор <«Разум гор». Раздел «Умозрения странствий» — *МД*. С. 139—141>

6. Перевал <«Горы на горизонте!» Раздел «Умозрения странствий» — *МД*. С. 141—142>

7. Вечер юга <№ 43>

8. День юга <№ 45—47>

Справа от обозначения «1. В море» приписано: «Безыменная краска воды».

***35.** *КР*. С. 60—61. Под заглавием «В роды и роды». Варианты — строфа I, ст. 1: «Где те колена с соколиным оком»; ст. 3: «Они носились в пламени глубоком».

МД. С. 61—62.

СП. С. 37—38. Помета под текстом: «Апрель. Петербург». С примечанием: «В рук. озаглавл. "В какие века" и эпиграф из Э. Верхарна: "Mon cœur, où le héros...?"» Вар.: Ст. 1. Где племена те с соколиным оком».

Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 80 об. Заглавия: «В какие веки?», «В роды и роды». Эпиграф: «Mon cœur, où les héros...? *Emile Verhaeren*». Варианты строк.

Эпиграф (в рукописи) — из стихотворения бельгийского поэта и драматурга Эмиля Верхарна (1855—1916) «Легенды» («Legendes»), входящего в его книгу «Обочины дороги» («Les Bords de la route», 1891); заключительные строки: «Mon cœur, oh! les héros des ballades fanées, / Qui cornaient, par le bois, les marches de la Mort!» (в переводе Г. А. Шенгели: «О, рыцари баллад, поникнувших в туманы, / Кто возвещали Смерть в железную трубу!»; см.: Верхарн Э. Лирика и поэмы. М., 1935. С. 90).

Стихотворение вызвало насмешливую критику А. В. Амфитеатрова в его рецензии на *КР*. Приведя в ней первую строфу и не поняв, что слово «колено» употреблено поэтом в сравнительно редком, но вполне нормативном значении («род, поколение в родословной»), — на что указывала и форма множественного числа («колена», а не «колени»), — Амфитеатров дал стихам собственную, однако совершенно безосновательную интерпретацию: «Колено с соколиным глазом на оном — это страшно, должно быть. Я никогда не видал колен, зрячих соколиными глазами, и не подозревал возможности их существования <...> Пара колен с соколиными глазами, проницающими небесную даль, несется во образе и подобии беса, через степи, объятые пламенем <...> Какой Дантовский образ! Нет, мало: апокалипсический! <...> Два колена, с мигающими на них соколиными глазами, в ужасе стучат друг о дружку... О! это великолепнее, — виноват: по-декадентски надо выразиться — "запредельнее", чем даже вихревая пляска Паоло и Франчески да Римини!.. Пара колен! Пар-р-ра колен!» (Old Gentleman <Амфитеатров А. В.>. Литературный альбом. XII // Россия. 1900. № 328, 24 марта. С. 2). Другой, анонимный рецензент *КР*, процитировав первые две строки стихотворения, про-

должал: «...мы каемся, смутились и ничего не могли ответить <...> поэт разыскивает пропавшие колена и не простые, а с "оком" ... Нет, это жестоко!» (Русская Мысль. 1900. № 7. Отд. III. С. 242).

36. *МД*. С. 63.

СП. С. 39. Под заглавием «Набросок светотени».

С. П. *Семенов* — см. примеч. 17—21 (4).

***37.** *КР*. С. 71. Без пометы под текстом. Вариант — строфа III, ст. 4: «Туда, за даль, где мысли — вечный мир».

МД. С. 64.

СП. С. 40. Помета под текстом: «31 мая. Балтика. Пароход Elbe». С примечанием: «В рук. вар.: Ст. 4. И воздух освежал я в затхлой той тюрьме».

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 76 об. — 76. Без заглавия, посвящения и пометы под текстом. Варианты строк.

Автограф 2 — ИРЛИ. Ф. 77 (Вл. В. Гиппиус). Ед. хр. 217. Л. 2 об. — 3. В составе письма к Вл. В. Гиппиусу от 2 июля 1898 г. (опубликовано И. Г. Ямпольским: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 88). Без заглавия, посвящения и пометы под текстом. Вариант ст. 4: «И воздух освежал я в затхлой той тюрьме».

Написано во время путешествия по Балтийскому морю из Петербурга в Германию (запись Коневского: «*Путешествие 1898*. Переезд морем из Пб до Любека 31 мая — 3 июня» (*ЗК-7*. Л. 34 об.). См. описание впечатлений от этого путешествия в письме Коневского к Вл. В. Гиппиусу от 2 июля 1898 г. (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. С. 87—88). Ср. запись Коневского («*31-го мая*. Пароход "Elbe"»):

«Петербург незаметно сгинул с глаз, пока я разбирался в каюте.

Выхожу на палубу. Справа еще песчаная коса, узенькая, поросшая жидким хвойным кустарником. Впереди, сейчас за ней во все стороны — море! Через миг вправо нет ему краю. Влево — вдали как бы земля с синими туманами и лесами какими-то.

Употребил ли я когда-нибудь имя моря всуе?

Я не смотрю на него без перерыва, то и дело поникну взором вниз. Но чую его ежеминутно.

Ближе — синь, а дале — бело: паруса, облака...» (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 77).

Павел Павлович *Конради* (1874—1916) — прозаик, театральный критик; в 1893—1897 гг. — студент естественного отделения физико-математического факультета Петербургского университета (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 29983).

И ясно все, и сумно. — Сум (*укр.*) — печаль, грусть, скорбь.

***38.** *МД*. С. 65.

СП. С. 40—41. Помета под текстом: «24 июня. Brünigbahn (Schweiz)».

С примечанием: «То же настроение в прозаической статье “В горних” (*МД*. 67—68). Вар.: Ст. 7. Они одни раскинули здесь вежи».

Черновой автограф — *ЗК-9*. Л. 7 об. Над текстом — запись карандашом: «Брюниг». Варианты строк.

Автограф 1 — *ЗК-9*. Л. 8. Помета под текстом: «24 июня Brünigbahn (Schweiz)». С делением на четверостишия. Варианты строк.

Автограф 2 — ИРЛИ. Ф. 77 (Вл. В. Гиппиус). Ед. хр. 217. Л. 5 об. В составе письма к Вл. В. Гиппиусу от 2 июля 1898 г. (опубликовано И. Г. Ямпольским: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 90). Без заглавия и пометы под текстом. С делением на четверостишия. Варианты — ст. 7: «Они одни раскинули здесь вежи»; ст. 9—10: «Дышу я робко в царственных чертогах, / Пока торжественно сияет день».

39. *МД*. С. 66.

СП. С. 41. Помета под текстом: «25 июня. Berner Oberland». С примечанием: «В рук. помета: “Близ Лаутербруннена, между Муттербрунненом и Интерлакеном”. Первоначально озаглавлено: “Бриенцское озеро”».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 2. Без пометы под текстом.

Вл. А. *Гильтебрандт* — см. примеч. 5.

Berner Oberland. — Свои впечатления от горной Швейцарии (Бернские Альпы) Коневской подробно излагает в письме к Вл. В. Гиппиусу от 2 июля 1898 г. (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 90—93. Публикация И. Г. Ямпольского).

40. *МД*. С. 67—68.

Текстуальные параллели с фрагментами одного из писем Коневского к Вл. В. Гиппиусу (от 2 июля 1898 г.) прослежены И. Г. Ямпольским в предисловии к публикации этих писем (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 82).

...«limbo» древних верований. — Лимб (*лат*. limbus — кайма, пояс) — в католическом вероучении место пребывания душ ветхозаветных праведников, а также младенцев, умерших без крещения. В «Божественной Комедии» Данте помещает в Лимб (первый круг Ада) души всех добродетельных нехристиан («Ад», песнь IV). *...в «бытности хаоса довременной»*. — Неточная цитата из оды Г. Р. Державина «Бог» (1780—1784): «Хаоса бытность довременну / Из бездн Ты вечности воззвал».

41. *МД*. С. 69.

Отрывок написан 25 июня 1898 г. (*СП*. С. 239).

Giessbach — Гиссбах, водопад, впадающий с более чем 400-метровой высоты в юго-восточную часть Бриенцского озера (Швейцария). *...мощные крутояры*. — Крутояр, крутоярый — отрывистый, утесистый. *...отрок Сигурд...* — Сигурд (Зигфрид) — герой германо-скандинавской мифологии («Старшая Эдда», «Младшая Эдда», «Сага о Вёльсунгах» и др.).

42. *МД*. С. 70.

Текстуальные параллели с фрагментами письма Коневского к Вл. В. Гиппиусу от 2 июля 1898 г. (от слов «Приходилось огибать редкий выступ горы...») отмечены И. Г. Ямпольским (см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 82, 92).

43. *МД*. С. 71—72.

Эпиграф восходит к заключительным фразам повести Гоголя «Рим» (1842): «...возносились и голубели прозрачные горы, легкие как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом»; «еще голубее и фосфорнее стали горы <...>» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 3. <Л.>, 1938. С. 259).

...воды озера. — Описывается Лаго Маджоре, озеро в южных Альпах, на территории Швейцарии (кантон Тессина) и северной Италии.

...вретищами плача. — Вретище (*устар.*) — одежда из грубой толстой ткани; убогая одежда, рубище.

44. *МД*. С. 73—74.

Озеро и берега... — Лаго Маджоре (см. примеч. 43).

***45—47.** *МД*. С. 75—77.

1. *МД*. С. 75.

Приведено в примечаниях к *СП* (С. 239) с датировкой и указанием места написания: 8—16 июля. Palazzo Borromeo.

В *ЗК-9* — запись, являющаяся первоначальной фиксацией текста этого наброска: «Свет южного дня — это как бы лунный свет, но горячий, знойный. Как лунный свет, он — серебристый, как лунный свет, замлевший, бездыханный и ежеминутно готов дрогнуть и забиться жизнью» (Л. 23 об.).

2. *МД*. С. 75—76.

Первоначальная фиксация текста («Palazzo Borromeo») — *ЗК*-9. Л. 22—23 об.

В тексте отражены впечатления от Борромейских островов на Лаго Маджоре. Эти четыре небольших островка принадлежали миланскому роду Борромео, на двух из них — Изола-Белла и Изола-Мадре — располагаются сады и палаццо.

*3. *МД*. С. 77.

СП. С. 42. Под заглавием «День юга». Помета под текстом: «16 июля. Lago Maggiore (Pallanza)». С примечанием: «Вар.: Ст. 1. Темнояркие, раскаленные».

Автограф с правкой — *ЗК-9*. Л. 23 об. Под заглавием «День юга». Помета под текстом: «16 июля Mattsee (Salzkammergut)». Варианты строк.

Pallanza — итальянский город на юго-западном берегу Лаго Маджоре. В заключительной части письма к Вл. В. Гиппиусу (Люцерн, 2 июля 1898 г.) Коневской сообщает: «Не успев дописать это письмо в Люцерне, кончаю его 5 июля, уже перенесшись через Альпы к их южным предго-

риям, в страну северноитальянских озер, на Лаго-Маджиоре. Я проведу дня три в здешнем городке Pallanza, а потом, через Симплон, совершу снова пешком обратный путь в недра Альп к Сен-Готардскому проходу» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 93).

***48.** *МД*. С. 78.

СП. С. 43. Помета под текстом: «Август. Рязань».

Черновой автограф — *ЗК-9*. Л. 25 об. Без заглавия. Варианты строк.

Черновому автографу предшествует запись:

«Август 1898 г. Странствия по Руси.

Рязань и ее край.

Вокруг озера Селигера» (*ЗК-9*. Л. 25).

***49.** *МД*. С. 79.

СП. С. 39. С примечанием: «В рук. посв. Ивану Билибину».

Черновой автограф — *ЗК-7*. Л. 29. Без заглавия. С делением на два четверостишия (ст. 7 отсутствует).

Автограф — *ЗК-7*. Л. 28 об. Без заглавия. С посвящением: «(Ивану Билибину)». С делением на четверостишие и пятистишие.

Иван Яковлевич *Билибин* (1876—1942) — впоследствии живописец, график, театральный художник и иллюстратор (см.: Иван Яковлевич Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Редактор-составитель, автор вступ. статьи и комментариев С. В. Голынец. Л.: Художник РСФСР, 1970); выпускник 1-й Петербургской гимназии (1896), в 1896—1900 гг. студент юридического факультета Петербургского университета. Наряду с младшим братом, А. Я. Билибиным, с гимназических лет входил в круг близких друзей Коневского.

50. *МД*. С. 80.

СП. С. 38—39.

Косящата окна я не завесил... — Косящатый — постоянный эпитет в народной поэзии: об окне, имеющем косяки. Ср. в «Песнях» («3. Там, на небе высоко...», 1831) А. И. Полежаева: «У косящата окна / Раскрасавица сидит» (Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1987. С. 118. («Библиотека поэта». Большая серия)).

V. ДЕБРИ

***51.** *КР*. С. 62—68. Помета под текстом: «Зимой 1897—1898». Посвящение: «Владимиру В. Гиппиусу». Без эпиграфа и датировки над ним; без интервалов между фрагментами текста. Варианты — гл. I, ст. 5: «Где только колос шелестит»; ст. 23: «Святилище дремучих пущ»; гл. II, ст. 11: «Пока одной душе привет»; ст. 36: «С собой листвы узоры слил —»; гл. III, ст. 33—34: «Сегодня обратился год. / Играют тихо светляки».

МД. С. 81—87.

СП. С. 30—35. Помета под текстом: «Зима 1897/98 <с опечаткой: 1897/96>. Петербург». С примечанием: «В *КР* посвящено В. В. Гиппиусу. Рук. утеряна. Из первонач. набросков вар.:

I.	Ст. 23—24.	Как по стенам ползущий плющ, Душа пугливей и смелей.
III.	Ст. 33—34.	Где эльфы водят хоровод, Играют там и светляки.
	Ст. 37—38.	Играет солнце, как дитя, Лучами с ясени (блестя).
IV.	Ст. 5.	Кто он — родимый или враг?»

Черновой автограф 1 — *ЗК-8.* Л. 20 об. — 24. Без заглавия, посвящения и эпиграфа; без деления на части. Варианты строк.

Черновой автограф 2 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 78 об. — 79. Под заглавием «Песнь дебрей (Дубрава)». Без посвящения и эпиграфа; без деления на части. Подпись: И. Ореус. Варианты строк.

Автограф с правкой (ч. III, ст. 33—36, ч. II, ст. 14—41, 34—41) — Там же. Л. 80—80 об. Подпись: И. Ореус. Варианты строк.

Согласно мемуарному свидетельству Вл. В. Гиппиуса (в записи Н. Л. Степанова), Коневской выступал с чтением «Дебрей» на одном из литературных собраний у Ф. Сологуба: «За чайным столом сидели Брюсов, Бальмонт, Минский, Сологуб, Ореус, Вл. Гиппиус. Выступали молодые поэты-бенефицианты — Гиппиус и Ореус — и имели большой успех. Ореус читал длинное стихотворение, посвященное Вл. Гиппиусу (по-видимому, «Дебри»), — оно всем очень понравилось» (приведено в статье: Мордерер В. Я. Блок и Иван Коневской // *ЛН.* Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4. С. 176). Во второй половине декабря 1898 г. Брюсов в письме к А. М. Добролюбову отозвался об этом произведении Коневского: «...его "Лес" замечателен» (*ЛН.* Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 811. Публикация С. И. Гиндина). 18 декабря 1898 г. Коневской писал Брюсову: «В поэме "Дебри" я заполнил пробел — переход от второй к последней части. В скором времени отдам всю эту поэму в переписку на печатной машине и тогда отошлю Вам один экземпляр» (*Переписка.* С. 445). Заявленного намерения Коневской не исполнил, уведомив Брюсова (6 января 1899 г.) о том, что поэму «Дебри» он найдет «в сборнике, который будет выпущен в конце этого месяца Бальмонтом» (Там же. С. 450. Имеется в виду «Книга раздумий», вышедшая в свет гораздо позже).

Посвящение. — *Владимир Г.* — Владимир Васильевич Гиппиус (1876—1941), поэт (позднейшие псевдонимы — Вл. Бестужев, Вл. Нелединский), прозаик, критик, педагог (с 1906 г. — штатный преподаватель в Тенишевском училище); в 1895—1901 гг. студент историко-филологического факультета Петербургского университета. Автор сборника стихов и прозаических этюдов «Песни» (СПб., 1897); см. также:

Проза Владимира Гиппиуса 1890-х годов / Предисловие и публикация В. Н. Быстрова // Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003. С. 27—43. О его взаимоотношениях с Коневским см.: Иван Коневской. Письма к Вл. В. Гиппиусу / Публикация И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С.79—98. В цитированных выше воспоминаниях Вл. Гиппиуса (в третьем лице, запись Н. Л. Степанова 1930-х гг.) сообщается: «Дружба Вл. Гиппиуса с ним <Коневским> была на почве литературно-философской, и он едва ли мог себе представить с ним дружбу личную. Когда Ореус звал к себе, то думалось: "Как странно, что Иван Иванович чай пьет". Он внушал к себе уважение, его гениальность чувствовалась всегда. Гиппиус познакомился с Ореусом в университетский период. Ореус участвовал в собраниях у Як. И. Эрлиха, философа, сына портного, сошедшего с ума и умершего вскоре <...>» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 175).

Эпиграф — заключительные строфы стихотворения «Лес (Дума)» («О чем шумит сосновый лес?..», 1839). См.: Кольцов А. В. Полн. собр. стихотворений. Л., 1958. С. 168—169 («Библиотека поэта». Большая серия).

VI. ПЕРЕЖИТКИ, СОВОКУПНОСТИ, ПРЕДВЕЩАНИЯ

Эпиграф — из стихотворения Иоганна Вольфганга Гете (1749—1832) «Вступительное сетование» (или «Самооправдание»; «Vorklage» («Wie nimmt ein leidenschaftlich Stammeln...»), 1814), написанного для тома лирики в Собрании сочинений 1815 г.; традиционно печатается в изданиях Гете как авторское «предисловие» к его лирике. В переводе Б. Заходера: «Над миром властвует разлад, / Тебе ль не быть с собой в разладе?» (Гете И. В. Лирика. М., 1966. С. 27).

52. *КР.* С. 69—70. Эпиграфы: «Kant: Kritik der reinen Vernunft»; «И гад морских подводный ход. *Пушкин*». (Первый эпиграф — заглавие философского труда Иммануила Канта (1724—1804) «Критика чистого разума» (1781). Второй эпиграф — строка из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» («Духовной жаждою томим...», 1826)). Варианты — строфа IV, ст. 1—2: «Читал вековые я мудрости в книге, / Где дух по пределам плывет»; строфа VIII, ст. 3: «За мною, о юные чада Нереев».

МД. С. 161.

СП. С. 47—48. Помета под текстом: «Октябрь. Петербург». В примечании приведены эпиграфы в *КР.*

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 10—11. Датировка под текстом: «Октябрь». Эпиграфы — как в *КР.* Варианты (строфа IV, ст. 1—2): как в *КР.*

Стихотворение вызвало насмешливый отзыв анонимного рецензента *КР.*: «...г. Ив. Коневский <так!> кровно обидел... китов:

Я ваш, я ваш родич, священные гады! —

заявил он. Можно еще понять, что поэту захотелось быть китом, да еще священным, но за что же такое почтенное животное обозвать "гадом"? Ни один кит не виноват в том, что нужна была рифма для "громады". И никоим образом не могут киты смотреть

Тем взором немым на меня,
С которым встречался преступный Иона,
Что в чреве томился три дня,

ибо даже китам смотреть желудком — непозволительно. Нет, г. Коневский жесток!» (Русская Мысль. 1900. № 7. Отд. III. С. 242). В сходном ключе отозвался о цитированных строках и А. В. Амфитеатров: «Каким образом преступный Иона мог встретиться с немым взором кита, в те три дня, что томился в его чреве, авторами "Книги раздумий" — не уясняется. Очевидно — либо тут какая-нибудь символическая аллегория, либо речь идет о так называемом втором или внутреннем зрении, свойственном, говорят, многим животным <...>, а в числе их, может быть, и китам...» (Old Gentleman. Литературный альбом. XII // Россия. 1900. № 328, 24 марта. С. 2).

... Иона, / Что в чреве томился три дня. — Ион II, 1. *... чада Нереев...* — Нереиды (*греч. миф.*), морские божества, дочери «морского старца» Нерея и океаниды Дориды.

53. *МД*. С. 162.

СП. С. 48—49. Помета под текстом: «В начале зимы». С примечанием: «В рук. вар.: Ст. 8. К незапятненным плоскогорьям. Ст. 24. Под волной воздушного взмаха».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 16—16 об. Строфа VII отсутствует. Варианты — строфа III, ст. 1: «Что-то будет в краях тех с нами»; строфа VI, ст. 4: «Под волной воздушного взмаха».

Наглядимся на тамарисы... — Тамарикс (тамариск, tamarix) — род кустарниковых и древесных растений семейства гребенщиковых, с гладкими бурыми или красноватыми ветвями. *Мы вручились мудрой лемуре.* — Лемуры, или ларвы (*римск. миф.*) — вредоносные тени, призраки мертвецов, не получивших должного погребения, преступно убитых, злодеев, бродящие по ночам и насылающие на людей безумие. Вероятна в данном случае ассоциация с использованием этих образов в «Фаусте» Гете (ч. 2, акт V, сцена «Положение во гроб»).

54. *МД*. С. 163.

СП. С. 71—72. Датировка под текстом: «Февраль — март».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 10—10 об. Датировка под текстом: «Февраль — март». Отправлено В. Я. Брюсову 18 марта 1899 г.

Эпиграф (в переводе: «Страна моих грез...»)— начало строки «Le pays de mon rêve un site charmant» из стихотворения «Paysages» («Пейзажи»), входящего в книгу французского поэта Поля Верлена (1844—1896) «Лю-

бовь» («Amour», 1888). Ср. в новейшем переводе М. Бородицкой: «В краю моей мечты чудесно сплетены / Все прелести и той, и этой стороны» (Верлен Поль. Избранное: Лирика. Проза. Критика. М., 1999. С. 116).

55. *МД*. С. 164.

СП. С. 49—50. С примечанием: «В рук. помета: “Памяти матери”».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 15—15 об. Отправлено В. Я. Брюсову 27 января 1899 г.

56. *МД*. С. 165.

СП. С. 61—62. Дата под текстом: «1 февраля».

Посвящение. — *Иван Билибин* — см. примеч. 49.

Пусть веселится каган. — Каган (*тюрк.*) — титул главы государства у древних тюркских народов (авар, печенегов, хазар и др.), с конца VIII — начала IX вв., наряду с титулом князь, — у восточных славян, в XIII в. — у монголов. *Рыхло, сыро сыпется песок...* — Цитированием этой строки Брюсов завершил свое письмо к Коневскому от конца апреля 1899 г. (*Переписка*. С. 461), ее же он привел в письме к И. А. Бунину, относящемуся к той же поре (*ЛН*. Т. 84. Иван Бунин. М., 1973. Кн. 1. С. 444) и в дневниковой записи (Брюсов В. Дневники. 1891—1910. <М.>, 1927. С. 68); во всех случаях стих Коневского соотносился с внутренним состоянием Брюсова во время выпускных экзаменов в Московском университете. В статье «Иван Коневской» (1917) Брюсов привел этот стих как «образцовый (в звуковом отношении)» (Брюсов В. Среди стихов. 1894—1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 494). См. также примеч. 77.

57. *МД*. С. 166.

СП. С. 57. Помета под текстом: «Январь. Петербург».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 13—13 об. Варианты — строфа II, ст. 2: «Там много людей удалых»; строфа IV, ст. 1: «Храм сотрясется, и дальше направят». Отправлено В. Я. Брюсову 27 января 1899 г.

Там, под скалами крутого Рифея... — Рифей (*лат.* Riphaei montes — Рифейские горы) — название Уральских гор у античных географов.

58. *МД*. С. 167.

СП. С. 88—89.

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 21—21 об. (при недатированном письме к А. Я. Билибину, не ранее 23 июля 1899 г.). Под заглавием «Сон борьбы (из предржизненных воспоминаний)». Без эпиграфа. Дата под текстом: «28 мая 1899».

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 9. Л. 32—32 об. Под заглавием «Сон борьбы (из предржизненных воспоминаний)». Без эпиграфа. Послано при недатированном письме к В. Я. Брюсову, относящемся к первой половине июля 1899 г. (*Переписка*. С. 465).

Автограф 3 — ИРЛИ. Ф. 77 (Вл. В. Гиппиус). Ед. хр. 233. Л. 1—1 об. Дата под текстом: «28 мая 1899». Варианты — строфа V, ст. 1: «Я проходил, как град, в бездумные селенья»; строфа VI, ст. 1: «Но как очнулся и как я жив — не знаю» (возможно, описка).

Эпиграф — начальные строки «Песни убогого странника», входящей в поэму «Коробейники» (1861). См.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч.: В 15 т. Л., 1982. Т. 4. С. 73.

59. *МД*. С. 168.

СП. С. 63—64. Датировка под текстом: «Между 2 и 13 февралем».

60. *МД*. С. 168.

СП. С. 52. Датировка под текстом: «Ноябрь — декабрь».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 12—12 об. С делением на четверостишия. Вариант ст. 3: «Гром полуночной державы».

61. *МД*. С. 169.

СП. С. 58. Датировка под текстом: «Январь».

Автограф 1 (последние 2 строки дописаны другой рукой) — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 17. Без посвящения.

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 13. Без посвящения. Отправлено В. Я. Брюсову 27 января 1899 г.

Посвящение. — *Александр Билибин* — см. примеч. 17—21.

62. *МД*. С. 169.

СП. С. 76—77. Дата под текстом: «14 марта». С примечанием: «В рук. озаглав. "Ирония" и вар.:

Ст. 1.	Иероглифов искусное плетенье.
Ст. 6.	Змейкой зыбится твой лист.
Ст. 12.	Так навек судил ей рок».

Эпиграф — «...Утонченность природы — о святая простота!» (*лат.*). «Subtilitas naturae» — формулировка Ф. Бэкона из его трактата «Новый Органон» (1620): «Тонкость природы во много раз превосходит тонкость чувств и разума» («Афоризмы об истолковании природы и царстве человека», X), «...тонкость природы во много раз превосходит тонкость рассуждений» (Там же, XXIV). См.: Бэкон Френсис. Соч.: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 13, 15). «O, sancta simplicitas!» — фраза, приписываемая чешскому реформатору Яну Гусу. По преданию, Гус, сжигаемый на костре, произнес эти слова, когда какая-то старушка из благочестивых побуждений подбросила в костер охапку хвороста.

63. *МД*. С. 170.

СП. С. 74—75. Дата под текстом: «8 марта». С примечанием: «В рук. эпиграф из А. Добролюбова:

Очи покорны, улыбка бесстыдна,
Мы бедные дети больших городов».

(Эпиграф — заключительные строки стихотворения «Пошлость и рабство», 3-го в цикле «Три стихотворения». См.: Минский Н., Добролюбов А. Стихотворения и поэмы. СПб., 2005. С. 495 («Новая Библиотека поэта»)).

64. *МД*. С. 171.

СП. С. 51—52. Датировка под текстом: «Ноябрь».

Эпиграф. — *Florestano Kallio* — см. примеч. 6—7 (2).

65. *МД*. С. 172.

СП. С. 45. Помета под текстом: «18 октября. Петербург». С примечанием: «Ф. А. Лютер — учитель И. Коневского по гимназии и позднее его друг».

Эпиграф. — *Ф. А. Лютер* — см. примеч. 12.

66. *МД*. С. 173—174.

СП. С. 45—47. Помета под текстом: «Октябрь. Петербург». С примечанием: «В списке Н. Я. Б<рюсов>ой вар.: Ст. 28. Под снегом мы уснем».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 11—12. Вариант ст. 28: «Под снегом мы уснем».

Сбирали хор юниц. — Юница (*устар.*) — девушка; девочка-подросток. *О Лада и сестра!* — Лада (*народно-поэт.*) — милый (милая), возлюбленный (возлюбленная), супруг (супруга).

67. *МД*. С. 175.

СП. С. 76. Датировка под текстом: «Между 11 и 14 марта». С примечанием: «В рук. вар.:

Ст. 3.	Царица вздоха всеблагого,
Ст. 12.	Небес ночных, небес нагих.
Ст. 13—16.	И сладки вздохи облегченья! Простерла ты эпитрахиль И утишила все влеченья, С меня смела дневную пыль».

68. *КР*. С. 72—73. Вариант — строфа V, ст. 4: «Чтó над водами льнули к ней».

МД. С. 176.

СП. С. 43—44. Датировка под текстом: «20 сентября». С примечанием: «В рук. посвящено Анне Ник. Г.» (Имеется в виду А. Н. Гиппиус — см. примеч. 100).

Автограф — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 483. Л. 1—1 об. Датировка под текстом: «1898 г. Сентябрь». Передано О. В. Яфа. Вариант — строфа V, ст. 4: «Чтó над водами льнули к ней».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 8 об. — 9. Вариант (строфа V, ст. 4): как в автографе.

69—73. *МД.* С. 177—178.

СП. С. 64—66. Датировка под текстом: «Между 2 и 13 февралем». С примечанием: «В рук. посв. А. Н. Г.<иппиус> и вар.:

I. Ст. 2.	В тихих судорогах бился.
II. Ст. 4.	И собственный их рок мой развевал.
III. Ст. 8.	Дни горячие, влажные ночи.
V. Ст. 10.	И сменяться святым торжеством».

В экземпляре *МД*, подаренном автором А. Н. Гиппиус, вписана датировка цикла: «3—4 февраля» (*Переписка.* С. 486).

Автограф 1 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 7 об. — 8 об. Дата под текстом: «3/4 февраля». Отправлено В. Я. Брюсову 18 марта 1899 г.

Автограф 2 — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 483. Л. 2—2 об. Датировка под текстом: «Февраль». Стихотворения 1—4 цикла — с делением на четверостишия. Передано О. В. Яфа.

Эпиграф — начальная строка стихотворения Ф. И. Тютчева «Предопределение» (1851—1852).

1. *МД.* С. 177. — *СП.* С. 64.

В автографах 1, 2 вариант ст. 2: «Тихо в судорогах бился».

По получении от Коневского автографа цикла «Волнения» Брюсов писал ему 5 апреля 1899 г.: «В "Волнениях" манит меня сила первых стихов <...>» (*Переписка.* С. 456).

2. *МД.* С. 177. — *СП.* С. 64—65.
3. *МД.* С. 177—178. — *СП.* С. 65.
4. *МД.* С. 178. — *СП.* С. 65.
5. *МД.* С. 178. — *СП.* С. 65—66.

74. *МД.* С. 179.

СП. С. 66. Датировка под текстом: «Между 2 и 13 февралем».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 8 об. Дата под текстом: «5 февраля». Отправлено В. Я. Брюсову 18 марта 1899 г.

В экземпляре *МД*, подаренном автором А. Н. Гиппиус, вписана датировка: «5 февраля» (*Переписка.* С. 486).

По получении автографа Брюсов сообщил Коневскому (5 апреля 1899 г.), что в стихотворении ему близки «замысел и последние слова, в том смысле, как они там, "буйной юности вино"», — и добавил: «Чужды мне некоторые прямолинейности "Все ль обоймет ее волна" <...>» (*Переписка.* С. 456).

Ужель, о дивная дриада... — Дриадой (в греч. миф. нимфы, покровительницы деревьев) Коневской называет А. Н. Гиппиус (см. примеч. 100) в письме к А. Я. Билибину (июль 1899 г.).

75. *МД.* С. 180—181.

СП. С. 67—68. Датировка под текстом: «Февраль». С примечанием: «В рук. начато продолжение:

II

А с плеч спускалося тело,
Из чресл его ноги росли,
И песня оттуда летела;
Свирель эти губы вели.
Белелася плоть молодая
В сухой бледно-бурой коре,
И жадно тянулась, страдая,
И жалостно жалась к коре.
Свирель она крепко держала
В широких и бледных руках,
И тихо и страстно дрожала
С томленьем в суровых очах».

В экземпляре *МД*, подаренном автором А. Н. Гиппиус, вписана датировка: «6—8 февраля» (*Переписка*. С. 486).

76. *МД*. С. 182.

СП. С. 90—91. Авторское пояснение под текстом (*МД*) вынесено в раздел примечаний (С. 242).

Под рубрикой «NB поправки в издании стихов» Коневской зафиксировал варианты ст. 19—20: «Но души всюду в тайге окрестной / Ужель безответны и чужды всем?» (*ЗК-9*. Л. 31).

77. *МД*. С. 183.

СП. С. 58—59. Датировка под текстом: «Январь».

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 19. Дата под текстом: «29 I 1899».

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 12. Варианты — строфа III, ст. 3: «Но отрадней всего было в смутном пророчестве»; строфа IV, ст. 2: «Голоса были дики, надрывные речи»; ст. 4: «Эти шумные встречи!». Отправлено В. Я. Брюсову 27 января 1899 г.

Получив от Коневского автографы нескольких стихотворений, Брюсов писал ему 15 марта 1899 г.: «...дороже других мне последнее — Дымы, дымы!» (*Переписка*. С. 454). 11 февраля 1899 г. Брюсов писал К. Д. Бальмонту о Коневском: «...прислал он мне стихи, из которых последнее [великолепное прекрасное] совсем замечательное: “На другой день”» — и далее приводил цитаты из стихотворения «На другое утро» (*ЛН*. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. С. 819. Публикация С. И. Гиндина). 26 августа 1899 г. он же сообщал Коневскому: «Читаю Ваши стихи многим. Сильнейшее впечатление производят “Дымы! дымы!” и “Брошен я в диких степях”» (*Переписка*. С. 466. Вторая цитата — строка из стихотворения «Издалека», см. № 56).

78. *МД*. С. 184.

СП. С. 59. Датировка под текстом: «Январь».

На водах соловых... — Соловый (*простореч.*) — тусклый, мутный; вялый, сонный.

*79—85. *МД*. С. 185—187.

СП. С. 77—80. Помета под текстом: «Март — апрель». С примечанием: «Стихи эпиграфа — В. В. Гиппиуса».

Эпиграф — из стихотворения Вл. В. Гиппиуса «И грусть, и смех — равно напрасны...» (Бестужев Вл. <Гиппиус Вл. В.>. Возвращение. 1896—1906. СПб.: Цех поэтов, 1912. С. 98). Вл. Гиппиус был недоволен таким использованием своего неопубликованного текста; 15 декабря 1899 г. он писал Ф. Сологубу по поводу *МД*: «Зачем взял эпиграф из меня, когда я еще не печатал? да еще подписал не именем — Веге? за что?» (приведено в предисловии И. Г. Ямпольского к публикации писем Коневского к Вл. В. Гиппиусу: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 84).

1. *МД*. С. 185. — *СП*. С. 77—78.

2. *МД*. С. 186. — *СП*. С. 78.

3. *МД*. С. 186. — *СП*. С. 78—79. Без деления на строфы. Дата под текстом: «26 марта». Печатается с исправлением опечатки в ст. 1: «ограды» вместо «отрады».

Автограф — *ЗК-9*. Л. 38 об. Дата: «26 марта». Варианты — ст. 7: «И сколько неги ядовитой»; ст. 11: «Истлели позывы к исканьям». Незачеркнутый вариант ст. 7 (надписан над строкой): «Как много неги ядовитой». Первоначальный вариант ст. 11: «Померкли позывы к исканьям».

4. *МД*. С. 186—187. — *СП*. С. 79. Без деления на строфы.

5. *МД*. С. 187. — *СП*. С. 79.

*6. *МД*. С. 187. — *СП*. С. 79—80.

Черновой автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 7 об. Варианты строк.

Посвящение. — *К ней* — имеется в виду А. Н. Гиппиус (см. примеч. 100).

7. *МД*. С. 187. — *СП*. С. 80.

86. *МД*. С. 188—189.

СП. С. 53—54. Датировка под текстом: «Между 9 декабря и святками». С примечанием: «В рук.эпиграф из Вьеле-Гриффина: "Ne pleure pas, ta souffrance est maudite". В списке Н. Я. Б<рюсов>ой стихотв. кончается 6-ой строфой».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 14—14 об. Под заглавием «Единственный плач». Эпиграф: «Ne pleure pas... ta souffrance est maudite. *Vielé-Griffin*». (В переводе: «Не плачь, твое страдание проклято»). Варианты — строфа II, ст. 3—4: «Мила мне тишины глухой пора / И улицы морское колыханье». Отправлено В. Я. Брюсову 27 января 1899 г.

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 13 об. — 14. Под заглавием «Единый плач». Эпи-

граф — как в автографе. Заключительные три строфы отсутствуют. Варианты — строфа II, ст. 2—4: «И меж волненья ровное дыханье... / Мила мне тишины глухой пора / И улицы морское колыханье...»

87. *МД*. С. 190.

СП. С. 73—74. Помета под текстом: «4 марта. Петербург».

88. *МД*. С. 191.

СП. С. 73.

Эпиграф — в синодальном переводе: «...и тотчас истекла кровь и вода».

89. *МД*. С. 192.

СП. С. 59—60. Помета под текстом: «31 января. Петербург». С примечанием: «См. Вл. Соловьев. Оправдание добра. Изд. 2-ое. М. 1890 г. стр. 185—88».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 6. Датировка под текстом: «1899 31 января». Отправлено В. Я. Брюсову 18 марта 1899 г.

Эпиграф — *Genus* (*лат.*) — происхождение; род, племя, народ; потомство; пол. *Genius* (*лат.*) — гений, дух. Имеются в виду следующие умозаключения из труда *Владимира* Сергеевича *Соловьева* (1853—1900) «Оправдание добра. Нравственная философия» (1897; ч. 2, гл. 7, разд. IV): «Мы называем гениальными людей, у которых живая творческая сила не тратится вполне на внешнее дело плотского размножения, но идет еще и на внутреннее дело духовного творчества в той или другой области. Гениальный человек есть тот, который помимо жизни рода увековечивает себя самого и сохраняется в общем потомстве, хотя бы не производил своего. <...> Значение гениальности в общепринятом смысле есть только *намек* на настоящее дело. Присущий нам истинный genius, говорящий громче всего в половом стыде, не требует от нас высоких способностей к искусствам и наукам, дающим славное имя в потомстве. Но он требует гораздо большего: как настоящий genius, т. е. связанный с целым родом (genus), хотя и выше его стоящий, он обращается не к одним только избранникам, а ко всем и каждому, всех и каждого остерегая от всего этого процесса дурной бесконечности, через который земная природа вечно, но напрасно строит жизнь на мертвых костях» (Соловьев Вл. С. Соч.: В 2 томах. М., 1988. Т. 1. С. 226—227).

90. *МД*. С. 193.

СП. С. 68.

91. *МД*. С. 194.

СП. С. 75. Дата под текстом: «11 марта». С примечанием: «В рук. вар.: Ст. 2. Это ветер — это снег».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 9. Дата под текстом: «11 марта». Отправлено В. Я. Брюсову 18 марта 1899 г.

92. *МД.* С. 195.

СП. С. 72. Помета под текстом: «Весна».

***93.** *МД.* С. 195.

СП. С. 88. Помета под текстом: «Июнь». С примечанием: «В рук. озаглавл. "Тревога", "Боязнь", "Смущение" и вар.:

Ст. 8.	Влекомый лишь собой.
Ст. 11—12.	Настанет ли кончины откровенье, Иль снова дни пойдут».

Черновой автограф — *ЗК-10.* Л. 21. Три варианта заглавия: «Тревога» (зачеркнуто), «Боязнь», «Смущение». Варианты строк.

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 22 об. (при недатированном письме к А. Я. Билибину, не ранее 23 июля 1899 г.). Дата под текстом: «10 июня 1899». Варианты — ст. 1: «Когда природа бьется и играет»; ст. 8: «Влекомый лишь собой?»

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 9. Л. 33 об. Варианты — ст. 1: «Когда природа бьется и играет»; ст. 5: «Все тот же ль, иль себя уж он не знает»; ст. 8: «Влекомый лишь собой?» Послано при недатированном письме к Брюсову, относящемся к первой половине июля 1899 г. (*Переписка.* С. 465).

94. *КР.* С. 55. Помета под текстом: «Декабрь 1898».

МД. С. 196.

СП. С. 53. Помета под текстом: «4—9 декабря. Петербург». С примечанием: «В рук. посв. В. В. Гиппиусу и эпиграф из Ницше: "Unruhig Glück in Stehn und Spähn und Warten"».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 13—13 об. Эпиграф: «(В беспокойном счастии приостанавливаясь, настораживая, поджидал...) Unruhig Glück in Stehn und Spähn und Warten... Nietzsche».

Эпиграф (в рукописи) — строка из «заключительной песни» «С высоких гор», завершающей книгу Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла» («Jenseits von Gut und Böse», 1886); ср. в переводе Н. Полилова: «Тревожным счастием душа моя согрета! / Я *новых* жду друзей с утра и до утра» (Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 406).

95. *МД.* С. 197—198.

СП. С. 62—63. Дата под текстом: «2 февраля». С примечанием: «В рук. вар.: Ст. 4. И выл одинокий Борей. Ст. 12. И в сумерки плача был взрыв».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 9 об. — 10. Дата под текстом: «2 февраля». Отправлено В. Я. Брюсову 18 марта 1899 г.

Эпиграф — неточная цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Поминки. Николаю Владимировичу Станкевичу» («Под тенью роскошной...», 1840). См.: Кольцов А. В. Полн. собр. стихотворений. Л., 1958. С. 187—188 («Библиотека поэта». Большая серия).

Где плыл одинокий Борей. — Борей (*греч. миф.*) — бог северного ветра.

96. *МД.* С. 199.

СП. С. 60—61. Помета под текстом: «31 января. Петербург».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 7. Дата под текстом: «31 января». Отправлено В. Я. Брюсову 18 марта 1899 г.

97. *МД.* С. 200.

СП. С. 70—71. Помета под текстом: «23 февраля. Петербург».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 6 об. Дата под текстом: «23 февраля». Отправлено В. Я. Брюсову 18 марта 1899 г.

98. *КР.* С. 74. Под заглавием «По дням». Без посвящения.

МД. С. 201.

СП. С. 50—51. Датировка под текстом: «Конец октября».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 9 об. — 10. Под заглавием «По дням». Без посвящения.

Посвящение. — *Яков* (Яков-Вольф) Исаакович *Эрлих* (1874—1902) — близкий друг А. М. Добролюбова и Вл. В. Гиппиуса с гимназических лет (в 1893 г. закончил 6-ю петербургскую гимназию, где они учились), в 1894—1899 г. студент историко-филологического факультета Петербургского университета (см.: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 30420); выстраивал собственную систему метафизики (рукописи его сочинений на философские темы готовились к печати, но издание не состоялось), в 1900—1901 гг. выступал как музыкальный критик в журнале «Театр и Искусство» (за подписью: Я. Э.). См. о нем некрологическую заметку его сводного брата О. Дымова (Мир Искусства. 1902. № 7. Отд. II. С. 4), а также биографическую справку П. П. Веймарна (РНБ. Ф. 773. Оп. 1. Ед. хр. 1021. Л. 70).

99. *МД.* С. 202.

СП. С. 85—86. Датировка под текстом: «Май».

Под рубрикой «NB поправки в издании стихов» Коневской зафиксировал вариант — строфа III, ст. 4: «И развеем муть сомненья:» (*ЗК-9.* Л. 31).

100. *МД.* С. 203—204.

СП. С. 55—56. Помета под текстом: «Святки 1898/99. Петербург». С примечанием: «В рук. посв. А. Н. Г. и вар.: Ст. 40. Только тревоги хотим».

Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 18—18 об. Под заглавием «Хор». Без посвящения. Подпись: И. Ореус. Вариант ст. 7: «И всё отчаянней, бешеней мчитесь».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 14 об. — 15 об. Под заглавием «Хор». Без посвящения. Запись под текстом эпиграфа: «Nietzsche: «Zaratustra». (Охоте хочется вечности всякой вещи, хочется глубокой, глубокой Вечности!)».

Варианты — ст. 7: «И всё отчаянней, бешеней мчитесь»; ст. 34: «То вдруг забудемся всласть».

Посвящение. — Адресат — *Анна Николаевна* Гиппиус (1872 или 1875—1942), одна из трех младших сестер З. Н. Гиппиус (см. краткие сведения о ней: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 209; Эротизм без берегов. М., 2004. С. 392 — биографическая справка М. М. Павловой). На экземпляре *МД*, подаренном А. Н. Гиппиус, Коневской сделал надпись: «Анне Николаевне Гиппиус сильной носительнице мыслей и порывов И. Ореус. Ноябрь 1899 г. Пб.» (книга хранилась в собрании Н. В. Казимировой). А. Н. Гиппиус посвящено также стихотворение «Отречение» (№ 117); сложные духовные отношения Коневского с А. Н. Гиппиус нашли отражение в стихотворениях «Памяти встречи» (№ 68), «Признаки» (№ 74), «Давно и ныне» (№ 75), стихотворных циклах «Волнения» (№ 69—73), «Бледная весна» (№ 79—85). В письме к А. Я. Билибину от июня 1899 г. (копия Н. Л. Степанова, местонахождение подлинника неизвестно) Коневской писал о своих отношениях и переписке с А. Н. Гиппиус: «Она <...> сказалась мне, как свежее и горячее дыхание коренного и буйного приволья. Но, хотя мы боремся за одну и ту же мечту, не мне вкусить от этой чудной, яркой жизни, потому что я в своих усилиях так часто падаю и дохожу до такого безобразия, такой нестройности, что в такие минуты мне нужно быть вдали от взоров всякого человека» (*Переписка*. С. 486).

Эпиграф — начальные строки 11-го фрагмента «Песни опьянения», входящей в часть 4-ю философской поэмы Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» («Also sprach Zarathustra», 1885): «Наслаждение хочет вечности всех вещей, хочет глубочайшей вечности». Ср. в переводе Ю. М. Антоновского: «Всякая радость хочет вечности всех вещей» (Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 234).

***101**. *МД*. С. 205.

СП. С. 89—90. Помета под текстом: «10 июня. Wiborg». С примечанием: «В рук. вар.:

Ст. 15—16:

Но чрез миг уж услышишь ты в воздухе звуки напева,
Чтó свободен от пленных оков».

Черновой автограф — *ЗК-10*. Л. 21 об. — 22 об. Без заглавия. На полях дата: «9 июня» (л. 21 об.). Помета под текстом: «Wiborg 10 июня». Варианты строк.

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 23 (при недатированном письме к А. Я. Билибину, не ранее 23 июля 1899 г.). Вариант — строфа IV, ст. 4: «Чтó свободен от тленных оков».

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 9. Л. 33. Вариант — строфа IV, ст. 4: «Что свободен от тленных оков». Послано при недатированном письме к Брюсову, относящемся к первой половине июля 1899 г. (*Переписка*. С. 465).

Genius (*лат.*) — гений, дух.

102. *МД.* С. 206.

СП. С. 83—84.

Эпиграф: «Нет субъекта без объекта. Шопенгауэр — Канту» (*нем., лат.*). О взаимной зависимости и противоположности субъекта и объекта в соотнесении с философскими построениями И. Канта А. Шопенгауэр пишет в части 1-й трактата «Мир как воля и представление»; он формулирует, однако, положения, противоположные смыслу эпиграфа: «...все существующее для познания, т. е. весь этот мир является только объектом по отношению к субъекту; воззрением для взирающего» (§ 1); «...“нет объекта без субъекта” — вот положение, которое навсегда делает невозможным всякий материализм» (§ 7) и др. (Шопенгауэр Артур. Мир как воля и представление. Минск, 1998. С. 78—79, 120. Перевод Ю. Айхенвальда).

103. *МД.* С. 207.

СП. С. 84.

104. *МД.* С. 208.

СП. С. 82—83. Под текстом эпиграфа — инициалы: «И. К.»

СТИХОТВОРЕНИЯ 1899—1901 гг.

105. *СП.* С. 91. Помета под текстом: «28 июня. Wiborg».

Автограф 1 — ИРЛИ. Ф. 77 (Вл. В. Гиппиус). Ед. хр. 233. Л. 2. Дата под текстом: «29 июня 1899 г.». Без эпиграфа. С делением на четверостишия.

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 9. Л. 34 об. Под заглавием «Светлая ночь». Без эпиграфа и даты, с делением на четверостишия. На одном листе с недатированным письмом к Брюсову (первая половина июля 1899 г.) (*Переписка.* С. 465).

Эпиграф — цитата из гл. 1 поэмы «Тишина» (1856—1857). См.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. В 15 т. Л., 1982. Т. 4. С. 51.

106. *СП.* С. 91—92. Помета под текстом: «10 июля. Nevvola (Suomi)».

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 22 (при недатированном письме к А. Я. Билибину, не ранее 23 июля 1899 г.). Дата под текстом: «10 июля 1899». Варианты — строфа III, ст. 4: «Грядущий день — бесчувствен он»; строфа IV, ст. 1: «И, робко прошлое лелея»; ст. 4: «К груди глубокой и пустой».

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 40. Помета под текстом: «10 июля 1899 г. Nevvola (Suomi)». Вариант — строфа III, ст. 4: «Грядущий день — бесчувствен он». Отправлено Брюсову 28 августа 1899 г.

Автограф 3 — ИРЛИ. Ф. 77 (Вл. В. Гиппиус). Ед. хр. 233. Л. 3 об. Дата под текстом: «10 июля 1899 г.». Вариант — строфа III, ст. 4: «Грядущий день — бесчувствен он».

Nevvola (Suomi). — Суоми — финское название Финляндии. В указанном месте Коневской обосновался на летний отдых 2 июля 1899 г. — как он сообщал в датированном этим днем письме к А. Я. Билибину, в «“пансионе Ланг”, расположенном в 5—6 в<ерстах> от известной станции Mustamäki, в самой, значит, уже истой Финляндии, и, вместе с тем, в непосредственной близости и от Питера» (*Письма к друзьям.* С. 176). В первой половине июля 1899 г. Коневской писал Брюсову: «...в самые последние дни нашел убежище в местности Финляндии, недалекой от Пб., но вполне принадлежащей к истой Суоми: иглистый лес, дымно-зеленый, каменное озеро, на горизонте море. Край отрадный <...>» (*Переписка.* С. 465).

107. Литературный сборник, изданный студентами императорского С.-Петербургского университета в пользу раненых буров. Под ред. проф. И. Н. Жданова. СПб., 1900. С. 155. Подпись: И. Ореус. Без строфы VII. Вариант — строфа VI, ст. 1: «Но плоти мертвенную груду».

СП. С. 92—93. Датировка под текстом: «18 июля». С примечанием: «Манела или Туонела — преисподняя по мировоззрению Калевалы».

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 24—24 об. (при недатированном письме к А. Я. Билибину, не ранее 23 июля 1899 г.). Без подзаголовка. Дата под текстом: «18 июля 1899». На полях — пояснительная запись Коневского:

«Сариола — в финском былевом эпосе — тот безжизненный и бесплодный край, где — вечный полумрак и куда все герои Калевы идут пытать судьбу, ценой самых неисполнимых подвигов купить красавицу — дочь хозяина этой страны. В первом походе молодца и красавца Лемминкейнена в этот же край — один из самых знаменитых эпизодов — исход главного возложенного на него подвига — победы над щукой преисподней пучины Маналы, его гибель на дне пучины, и спасение благодаря попечениям матери, которая призвала золотую пчелу Мьеликки, чтобы добытым ею с небесных полей медом могли быть скреплены разъединенные члены сына».

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 9. Л. 31—31 об. Подзаголовок — над текстом на полях слева. Дата под текстом: «18 июля 1899 г.». Под текстом карандашная запись (рукой Брюсова): «Напеч. в сб. студентов *СП.* Унв». Авторское примечание к ст. 3 строфы III: «Манала или Туонела — преисподняя в мировоззрении Калевалы». Отправлено Брюсову 28 августа 1899 г.

Автограф 3 — ИРЛИ. Ф. 77 (Вл. В. Гиппиус). Ед. хр. 233. Л. 4—4 об Дата под текстом: «18 июля 1899 г.»

Развернутую интерпретацию стихотворения см. в статье: Grossman Joan Delaney. «Northern Myth» in Russian Symbolism: Ivan Konevskoi and the *Kalevala* // Художественный перевод и сравнительное изучение литератур. Памяти Ю. Д. Левина (в печати).

На мотив из Калевалы. — «Калевала» («Kalevala») — карело-финский эпос о подвигах и приключениях героев сказочной страны

Калева; составлен финским фольклористом Элиасом Лёнротом на основе карельских, финских и ижорских рун, записанных от Архипа Перттунена и других сказителей 1-й половины XIX в. (первая композиция опубликована в 1835, вторая — в 1849 г.). Русский перевод «Калевалы», осуществленный Л. П. Бельским, был опубликован отдельным изданием в 1888 г. Сюжетные мотивы стихотворения восходят к рунам 14 и 15 «Калевалы»: один из героев эпоса, Лемминкяйнен, гибнет от руки пастуха; части тела Лемминкяйнена, низвергнутого в воды подземного мира Туонелы, находит его мать и при помощи заклинания и мазей, сваренных из пчелиного меда, соединяет эти части и возвращает сына к жизни (см.: Калевала. М., 1977. С. 167—184). Лирический герой стихотворения, «изгнанник» — Лемминкяйнен. *Из той унылой Сариолы...* — Сариола, или Похъёла — вечно мрачная страна севера. *Вхожу под сумрачный намет.* — Намет (*псковск.*) — поветь, крыша над двором; шатер. *За мрачной щукою Маналы...* — «Манала — жилище мертвых, также Туонела» (Калевала. Финская народная эпопея. Полный стихотворный перевод, с предисловием и примечаниями Л. П. Бельского. СПб., 1888. С. 159).

***108—109**. *СЦ-1901*. С. 111—112.

СП. С. 93—94. С примечанием: «В рук. вар.:

Ст. 5.	Здесь жестоко наш прах цепенеет.
Ст. 6.	И стопам преткновенье коряги.
Ст. 18.	Устремляя свой взор одинокий».

В письме к В. Я. Брюсову от 2 октября 1900 г. Коневской предложил этот цикл для публикации в *СЦ-1901*. (*Переписка*. С. 511).

Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 23 об. (при недатированном письме к А. Я. Билибину, не ранее 23 июля 1899 г.). Дата под текстом: «23 июля 1899 г.».

*1. *СЦ-1901*. С. 111. — *СП*. С. 93—94. С делением на четверостишия.

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 23 об. Варианты строк.

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 35—35 об. (опубликован: *Переписка*. С. 522). В письме к В. Я. Брюсову (конец ноября — начало декабря 1900 г.); тексту предшествует фраза: «Прошу Вас принять к сведению следующую обновленную форму I частицы из Порывов».

Автограф 3 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 39—39 об. Варианты строк. Отправлено Брюсову 28 августа 1899 г.

Автограф 4 — ИРЛИ. Ф. 77 (Вл. В. Гиппиус). Ед. хр. 233. Л. 2 об. Варианты строк.

Автограф 5 — ИРЛИ. Ф. 379 (И. Н. Жданов). Ед. хр. 71. Л. 4 —4 об. Варианты строк.

В рецензии на *СЦ-1901* А. А. Измайлов, давая однозначно негативную оценку альманаха, привел полностью текст стихотворения Коневского, сопроводив его в разных местах 9-ю вопросительными знаками, а также следующим умозаключением: «Единственную аналогию деревьям, витающим и глаголющим в небе, может представить разве лишь известная народная побасенка о том, как "летал медведь по поднебесью и ловил мух лапою", но последняя — не более, как произведение здорового народного юмора, — стихотворение же г. Коневского, видимо, выдается за серьезнейшее лирическое песнопение, долженствующее изобразить "Порывы" юного поэта» (Измайлов А. Литературные заметки // Биржевые Ведомости. 1901. № 140, 26 мая. С. 2).

2. *СЦ-1901*. С. 111—112. — *СП*. С. 94.

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 23 об.

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 39 об. Дата под текстом: «23 июля 1899 г.». Отправлено Брюсову 28 августа 1899 г.

Автограф 3 — ИРЛИ. Ф. 77 (Вл. В. Гиппиус). Ед. хр. 233. Л. 3. Дата под текстом: «23 июля 1899 г.».

Автограф 4 — ИРЛИ. Ф. 379 (И. Н. Жданов). Ед. хр. 71. Л. 4 об. Подпись: «Иван Ореус».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 23 об. Помета под текстом: «23 июля 1899 г. Иван Ореус».

Оценку цикла Брюсов дал в письме к Коневскому (между 17 и 20 февраля 1900 г.): «"Мыслей настойчивых воля" — хороши лишь первые две строфы; последние 5 стихов ни к чему. "Если всмотришься в дальнее небо" — в отдельных стихах пышно и увлекательно, но целое сцеплено лишь образом вершин; да и то *блуждают* не очень хорошо <...>. Затем перечень выражений, которые осуждаю: <...> "не ведаю правды *ни* лжи", "*лишь* дышать", "ни уныния пут"» (*Переписка*. С. 480).

110—111. *СП*. С. 95—97. Датировка под текстом: «24 июля — 3 августа». С примечанием: «Вар.:

Ст. 8. Тех слов, тех форм ему занять.
Ст. 29—32. Противней все ж, чем бред мой вечный,
Дух воплощенного труда,
Затем что тенью скоротечной
Он не прельщался никогда».

Эпиграф — «меж ... делами и днями» (*англ.*); цитата из стихотворения английского поэта, драматурга, критика Алджернона Чарлза Суинберна (1837—1909) «Генезис», входящего в его сборник «Предрассветные песни» («Songs before sunrise», 1871); строка в оригинале: «Then between birth and death, and deeds and days».

1. *СП*. С. 95—96.

Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 25—25 об. Под заглавием «Стансы личности», без обозначения номера. Отправлено Брюсову 28 августа 1899 г.

2. *СП*. С. 96—97.

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 37 об. Без заглавия и обозначения номера. Датировка под текстом: «Июль — август 1899 г.». Отправлено Брюсову 28 августа 1899 г.

112. *СП*. С. 97. Дата под текстом: «23 августа».

Автограф 1 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 40 об. Дата под текстом: «23 августа 1899 г.». Отправлено Брюсову 28 августа 1899 г.

Автограф 2 — ИРЛИ. Ф. 77 (Вл. В. Гиппиус). Ед. хр. 233. Л. 5 об. Дата под текстом: «23 августа 1899 г.».

***113—114.** *СЦ-1901*. С. 109—110.

СП. С. 98—99. В примечаниях воспроизведены 5 вариативных строк; приводимых ниже.

Коневской предложил этот цикл для публикации в *СЦ-1901* в письме к В. Я. Брюсову от 2 октября 1900 г. (*Переписка*. С. 511).

1. *СЦ-1901*. С. 109. Датировка под текстом: «Август». — *СП*. С. 98. Датировка под текстом: «Август».

Автограф 1 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 28. Под заглавием «Осенние голоса. 1». Датировка под текстом: «Август». Варианты — строфа II, ст. 2: «Я любил безучастный обзор»; строфа V, ст. 3—4: «Вновь и вновь лишь дышать я хочу / И не ведаю правды ни лжи». Отправлено в письме к Брюсову от 5 ноября 1899 г.

Автограф 2 — ИРЛИ. Ф. 77 (Вл. В. Гиппиус). Ед. хр. 233. Л. 5. Под заглавием «Осенний голос». Дата под текстом: «30 августа 1899 г.». Варианты строк — как в автографе 1.

Автограф 3 — ИРЛИ. Ф. 379 (И. Н. Жданов). Ед. хр. 71. Л. 2 об. Под заглавием «Осенние голоса. 1». Варианты строк — как в автографе 1.

В письме к В. Я. Брюсову от 21 сентября 1900 г. Коневской сообщает новые варианты двух заключительных строк («В списке стихов: "Осенний Голос", I, имеющемся у А. А. Ланга»), соответствующие опубликованному тексту, и добавляет: «Далее, не помню, стоит ли там во втором 4-стишии "*беспристрастный*" взамен — "*безучастный*"» (*Переписка*. С. 509. Исправлено по автографу).

*2. *СЦ-1901*. С. 109—110. Датировка под текстом: «Сентябрь». — *СП*. С. 98—99. Датировка под текстом: «Сентябрь».

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 26 —26 об. Под заглавием «Осенний голос. 2». Дата под текстом: «Сент. 28. 1899». Варианты — строфа I, ст. 1: «Убийственный туман обвешан вкруг столицы»; строфа IV, ст. 3: «Но сущий только ты, создатель чар природных»; строфа V, ст. 4: «Где радужная жизнь средь сумрака течет».

Автограф 2 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед.хр. 8. Л. 28 об. — 9. Под заглавием: «Осенние голоса. 2». Помета под текстом: «Сентябрь». Варианты строк. Отправлено в письме к Брюсову от 5 ноября 1899 г.

Автограф 3 — ИРЛИ. Ф. 379 (И. Н. Жданов). Ед. хр. 71. Л. 3—3 об. Под заглавием: «Осенние голоса. 2». Варианты строк — как в автографе 2 (кроме ст. 4 строфы I).

В письме к В. Я. Брюсову от 21 сентября 1900 г. Коневской сообщает новые варианты четырех строк (строфа I, ст. 2; строфа IV, ст. 3; строфа VI, ст. 2, 3), соответствующие опубликованному тексту (*Переписка.* С. 509).

Откликаясь на присылку стихов в письме от 5 ноября 1899 г., Брюсов писал Коневскому 19 ноября: «Из Ваших стихов для меня лучшие первые две вещи: "По обширным полям" и "Убийственный туман"» (*Переписка.* С. 475). В другом письме к нему (между 17 и 20 февраля 1900 г.) Брюсов отмечал: «"По обширным полям..." значительный и полный приступ к Вашей поэзии. <...> "Убийственный туман" во многом совершенен, но последнее четверостишие и слишком бегло, и неожиданно, и по построению слабо. Может быть, оно необходимо, но оно не написано» (*Переписка.* С. 480).

115. *СП.* С. 99—100. Дата под текстом: «1 октября».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 29. Отправлено в письме к Брюсову от 5 ноября 1899 г.

См. отзыв Брюсова (примеч. 116).

116. *СП.* С. 100. Дата под текстом: «17 октября».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 29 об. Датировка под текстом: «Октябрь». Отправлено в письме к Брюсову от 5 ноября 1899 г.

19 ноября 1899 г. Брюсов писал Коневскому о стихах, присланных им в письме от 5 ноября: «Непонятно мне, в чем сущность в "Благодарности" (разве первые два стиха) и "К служителям"» (*Переписка.* С. 475).

117. *СП.* С. 100—101. Дата под текстом: «5 ноября». С примечанием: «В рук. посв. А. Н. Г. Вар.: Ст. 12. И иногда совсем не дышит грудь».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 30 об. Датировка под текстом: «Ноябрь». Варианты — строфа I, ст. 4: «Восторги высшей страсти не взойдут»; строфа II, ст. 4: «И мыслей зов и воли суд мой прав»; строфа III, ст. 4: «И иногда совсем не дышит грудь». Отправлено в письме к Брюсову от 5 ноября 1899 г.

19 ноября 1899 г. Брюсов писал Коневскому о стихах, полученных им в указанном письме: «Последние два — "Зимний Голос" и "Отречение" — именно Ваши, несмотря на внешнюю новость» (*Переписка.* С. 475).

Посвящение. — *А. Н. Г.* — А. Н. Гиппиус (см. примеч. 100).

118. *СЦ-1902.* С. 136. Дата под текстом: «3 ноября 1899 г.»

СП. С. 101. Дата под текстом: «3 ноября». С примечанием: «В рук. вар.: Ст. 15. А к утру хрустальные росы осели».

Автограф 1 — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 30. Без эпиграфа. Вариант — строфа IV, ст. 3: «А к утру хрустальные росы осели». Карандашом отмечены варианты — строфа III, ст. 1: «Великому жизнь предалась запустенью»; строфа IV, ст. 3: «И росы хрустальные к утру блестели». Отправлено в письме к Брюсову от 5 ноября 1899 г. (отзыв Брюсова см. в примеч. 117).

Автограф 2 — ИРЛИ. Ф. 379 (И. Н. Жданов). Ед. хр. 71. Л. 1. Под заглавием «Зимние голоса. 1». Без эпиграфа. Вариант — строфа IV, ст. 3: *а* «А к утру хрустальные росы блестели»; *б* «А к утру хрустальные росы осели».

Эпиграф — цитата из строфы III стихотворения Перси Биши Шелли «Плач об умершем годе» («Orphan hours, the Year is dead...», 1821): «..Дыхание этих грубых дней / Качает год...».

Брюсов писал Коневскому (между 17 и 20 февраля 1900 г.): «В “Зимнем голосе” есть стихи вечные и по выражению (старость могучая круглого года) и по звукам:

А к утру хрустальные росы осели,
Таинственный холод храня.

Этого не изменяйте! Слабее, по-моему, все четвертые стихи первых трех строф» (*Переписка*. С. 480).

119. *СЦ-1902*. С. 137. Дата под текстом: «22 декабря 1899 г.».

СП. С. 102. Дата под текстом: «22 декабря». С примечанием: «“Щокот славий” выражение из “Слова о полку Игореве”. В рук. вар.:

Ст. 1—2. Откуда силы духа странные,
Увы, не от земли их жар.
Ст. 9. Земля кипит в самозабвении
Ст. 12. Юнцы не сознают себя;»

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 26 об. Под заглавием «Зимний голос (2)». Дата под текстом: «Дек. 22. 1899».

Автограф 2 — ИРЛИ. Ф. 379 (И. Н. Жданов). Ед. хр. 71. Л. 2. Под заглавием «Зимние голоса. 2».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 24—24 об. Помета под текстом: «1899: Декабрь. Иван Ореус». Варианты — ст. 4: «И пламень влажный льют нам в дар» (надписано при незачеркнутом основном тексте); ст. 6: «Как дивен бледный вешний цвет!»; ст. 9, 12: как в примечании в *СП*.

И щокот славий — дерзкий бред. — Образ из «Слова о полку Игореве»: «Заря свѣтъ запала, мьгла поля покрыла, щекот славіи успе; говоръ галичь убудися».

120. *СП*. С. 102—103. Дата под текстом: «23 декабря». С примечанием: «Вар.:

Ст. 1—4. Знаю я жесток и слаб,
Нет мне упругости струй.

Гордости личной я раб,
Презрел земли поцелуй.
Ст. 10. Только в упоре всех сил».

Эпиграф — заключительная строка стихотворения немецкого поэта, прозаика и философа Новалиса (псевдоним Фридриха фон Харденберга; 1772—1801) «Alle Menschen seh ich leben...»; ср. в переводе Вяч. Иванова: «Им одна услада — власть» (Иванов Вяч. Собр. соч. Т. IV. Брюссель, 1987. С. 246).

121. *СП.* С. 103—104. Датировка под текстом: «1899 г.».

Мадонна В. Васнецова. — Образ Богоматери с Младенцем в центральной абсиде Владимирского собора в Киеве; роспись собора осуществил в 1885—1896 гг. Виктор Михайлович Васнецов (1848—1926). Коневской посещал Владимирский собор в начале сентября 1897 г. (записи под заглавием «Во Владимирском соборе» — *ЗК-8.* Л. 17 об. — 19 об.), свои впечатления он отразил в очерке «Владимирский собор в Киеве» (раздел «Умозрения странствий» в *МД*), в котором, в частности, говорилось: «Победно и покорно властвуют над землей величавая Мать, и Младенец на руках ее — душа земной родины из века в век совершает подвиг невозвратного самоотвержения, которого боль и уверенность запечатлены в ее глубоких очах. Чадо ее приносится ею и волей Господней в жертву возрождению человеческого рода. И Младенец от рождения увлечен в невозвратимый порыв; очи его всё расширяются; Он и верит в торжество, и угадывает гибель; и ликует, и мучается. Но Его уносит на пламенных крылах» (*МД*. С. 125).

***123—125.** *СП.* С. 106—108. Даты под текстом: «10, 12 и 19 января». С примечанием: «Первоначально называлось “Соображения”. <...> Вар.: II, ст. 6—7. Что лишь из двух все новое творит. / Но в самоотрицаньи и в страданьи». В этом же примечании неточно приведена цитата из письма Коневского к Брюсову с характеристикой этого цикла (см. ниже).

Автограф — в письме к С. П. Семенову от 4 мая 1900 г. (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 21). Без заглавия и эпиграфа, с пояснительной фразой перед текстом: «Соображения на мысль Ницше: Wille zur Macht». Опубликован: *Письма к друзьям.* С. 180—181.

Высылая В. Я. Брюсову (не ранее 12 января 1900 г.) автографы первых двух стихотворений цикла, Коневской писал: «Могу известить Вас о некоторых новых стихотворных писаниях. Но я не решаюсь включить их в состав истинного поэтического творчества моего. Они написаны более всего для самоуяснения по некоторым основным темам деятельности. Поэтому и заглавие им придано очень рассудительное: Соображения. Можно указать, что это “соображения” на мысль Ницше о “воле к могуществу”, разработанную им в книге: “Jenseits von Gut u<nd> Böse”. Разумеется, способ творчества умственных понятий и суждений может и должен объединиться со способом творчества побуждений и

настроений сердца. Страстное чувство, одушевляющее второй, может не препятствовать точности наблюдения и обобщения, управляющего первым из этих способов творчества; и — что не менее важно — и тем и другим восприятием предметов могут порождаться тождественные образы воображения. Но в написанных мною недавно стихах стремлением к точности понятий подавлены были, как мне кажется, особенно вообразительные силы творчества. Между тем, мною все же в слишком сильной мере управляло страстное чувство, чтобы тема разработана была во всей полноте ее умозаключительных связей. Таким образом данные стихи могут представлять значение лишь в качестве каких-то “размышлений” в рифмованной и размеренной форме, но не как образные “раздумия”» (*Переписка*. С. 478). В комментарии к циклу Брюсов процитировал начало этой автохарактеристики до слов: «Разумеется, способ творчества...» (*СП*. С. 243).

Гнома (*др.-греч.*) — краткое нравоучительное изречение, афоризм, пословица.

Эпиграф — цитата из гл. XIX 2-ой части поэмы поэта и прозаика Константина Константиновича Случевского (1837—1904) «Он и Она (Реальная фантазия)» (Книжки Недели. 1900. Февраль. С. 86). 3 мая 1900 г. Коневской писал Брюсову о Случевском: «...из новейших проявлений его творчества на меня местами оказывали громовое внушение его обобщенные картины и действия “Он и Она” (в первых трех книжках Недели за этот год): все эпизоды, помещенные во второй из этих книжек (Его скитания в мире человеческом и внечеловеческом); представляют собой нечто единственное в русском стихотворчестве по соединению широты плана с яркостью и отчетливостью отдельных образов и общим грозным жаром освещения» (*Переписка*. С. 491).

*1 *СП*. С. 106—107.

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 30—30 об. В недатированном письме к В. Я. Брюсову (см.: *Переписка*. С. 478). Под заглавием «Соображения. I». Варианты строк.

Автограф 2 — в письме к С. П. Семенову от 4 мая 1900 г. Под заглавием «I. Вечная мука». Вариант ст. 1: «В страданье лишь могущества свобода».

*2. *СП*. С. 107.

Автограф 1 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 30—30 об. В недатированном письме к В. Я. Брюсову (см.: *Переписка*. С. 478). Под номером II (т. е.: «Соображения. II»). Дата под текстом: «1900: Янв. [11] 12». Варианты строк.

Автограф 2 — в письме к С. П. Семенову от 4 мая 1900 г. Варианты — ст. 2: «Чем Бог, кто все творит из ничего»; ст. 6—7: «Что, у себя же часть отняв, творит. / Но в самоотрицанье и в страданье».

3. *СП*. С. 107—108.

Автограф — в письме к С. П. Семенову от 4 мая 1900 г. Датировка под текстом: «Янв<арь> 1900».

126. *СП.* С. 108—109. С примечанием: «Черновой набросок».

Эпиграф — цитата из «Гимна» («Hymne») Новалиса, входящего в его цикл «Духовные стихи» («Geistliche Lieder», 1798); в переводе Вяч. Иванова: «Кто в тайну тела земного / Вник умом высоким? / Или кто скажет, / Что крови смысл постиг?» (Иванов Вяч. Собр. соч. Т. IV. Брюссель, 1987. С. 212). Текст «Гимна» Новалиса («Wenige wissen...») переписан Коневским в его «Книгу материалов (выдержки из сочинений разных авторов)» (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 78 об. — 79).

127. *СП.* С. 109. Дата под текстом: «3 февраля».

Посвящение. — Адресат — Михаил Александрович Елачич (187? — 1918?), товарищ Коневского по университетскому «Литературно-мыслительному кружку», впоследствии драматург.

***128.** *СП.* С. 109—110. Помета под текстом: «Весна».

Черновой автограф 1 — *ЗК-11.* Л. 3 об. (1-я строфа текста). Варианты строк.

Черновой автограф 2 — *ЗК-11.* Л. 4—5. Варианты строк.

Автограф — *ЗК-11.* Л. 5 об.

129. *СЦ-1902.* С. 138.

СП. С. 110.

130. *СЦ-1902.* С. 137—138. Помета под текстом: «1900 мая 30. Imatra».

СП. С. 110—111. Помета под текстом: «30 мая. Imatra». С примечанием, фиксирующим варианты автографа, посланного В. Я. Брюсову.

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 9. Л. 19—19 об. (опубликован: *Переписка.* С. 503). В письме к В. Я. Брюсову от 1 июня 1900 г. тексту предшествует фраза: «Сложились наконец и некоторые рифмы, которые и довожу до Вашего сведения». Варианты — строфа I, ст. 1: «Хвала, ликующие звери»; ст. 3: «Животворящей вашей вере»; строфа IV, ст. 4: «И гулом захлебнулся слух».

В письме к В. Я. Брюсову от 21 сентября 1900 г. Коневской сообщил новые варианты этих строк, соответствующие опубликованному тексту (*Переписка.* С. 509).

18 июня 1900 г. Брюсов отвечал на письмо с текстом стихотворения: «Стихи обычно у Вас — хороши, повторяю их. Осуждаю, однако, отвлеченность 4-го стиха и невразумительность сочетания "толпе" и "тоске". Zeugma — не словесная, а понятий. Заключение, как всегда у Вас, — видимо, намеренно — не музыкальное» (*Переписка.* С. 504. Зевгма — совмещение оборотов, нетождественных по смыслу, но частично совпадающих по форме: «нес дань толпе» — «нес дань тоске»).

Imatra — Иматра, водоскат на реке Вуокса, вытекающий из озера Сайма, в Финляндии, протяженностью 1,5 км. Сообщая текст стихотворения в упомянутом письме к Брюсову (с пометой: «Imatra — Pension Rauha (шведское слово: *Покой*)»), Коневской добавлял: «Я <...> прихожу

в себя на по-прежнему милом мне граните <...> близость Иматры и явное присутствие причудливейшего из озер: в неисчислимых и пластически-отчетливых узорах его берегов и островов, и стройных и сомкнутых стенах их лесов — вся исключительная природа Суоми, которая таит под покровом однообразия самые изощренные и твердые измышления» (*Переписка*. С. 502, 503).

131. *СП.* С. 111.

По лядинам я брел. — Лядина (*обл.*) — пахотный участок среди леса на месте вырубки или пожарища. *Пробирался я к дрому там...* — Дром (*обл.*) — непроходимый дремучий лес. *Юмала* — в финно-угорской мифологии общее наименование божества, сверхъестественного существа, прежде всего духа неба.

132. *СЦ-1901.* С. 112—113. Помета под текстом: «Rauharanta».

СП. С. 111—112. Помета под текстом: «16 июня. Rauharanta». С примечанием: «Вст.9—12 намек на Китайскую экспедицию 1900 г.» (имеется в виду высадка в Китае 6 июня 1900 г. крупного контингента войск европейских стран и США с целью подавления восстания ихэтуаней).

Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 28. Помета под текстом: «Rauharanta, Юн. 16». Отправлено в письме к В. Я. Брюсову от 21 сентября 1900 г. (см.: *Переписка.* С. 508—509).

В письме к В. Я. Брюсову от 2 октября 1900 г. Коневской предложил это стихотворение для публикации в *СЦ-1901* (*Переписка.* С. 511).

Rauharanta — курортное место на озере Сайма (Финляндия). 14 мая 1900 г. Коневской писал В. Я. Брюсову из Петербурга: «...на следующей неделе я <...> перееду с моим отцом на берег Саймы, в здание, называющееся “Pension Rauh”; оно расположено в 6 в<ерстах> от Иматры <...>» (*Переписка.* С. 497). Коневской жил там до 20 июня (см.: Там же. С. 507).

***133.** *СП.* С. 112—113. Помета под текстом: «9 августа. Петербург». С примеч.: «Печ. в первый раз. Вар.:

Ст. 14—17. Трепещи и трещи, о лесов краснобурое пламя,
От осенних снегов до ростков ты тела эти тронь,
Что застынут, замкнуты прямыми углами».

Черновой автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 1 об. Над текстом — помета Коневского: «черновой набросок». Дата под текстом: «Авг. 9. 1900». Варианты строк.

Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 28 об. Помета под текстом: «Авг. 9. Пб». Варианты строк. Отправлено в письме к В. Я. Брюсову от 21 сентября 1900 г. (см.: *Переписка.* С. 508—509).

Ведуны. — Ведун (*простореч.*) — знахарь, колдун. *Вещуны улетят...* — Вещун (*диалектн.*) — колдун, знахарь, гадальщик.

С образом столичного города, воссоздаваемым в стихотворении, соотносятся размышления о Петербурге, которыми Коневской делился

в письме к А. Я. Билибину от 5 июня 1900 г.: «Нигде как в Питере <...> я не видел таких бесстыдных пятиэтажных фасадов, на которые налеплена была бы сверху донизу такая нелепая лепка — какие-то губчатые квадраты, аляповатые карнизы, пошло подражательные рельефные маски и наконец — чудовищные гипсовые статуи богинь, амуров или каких-нибудь кариатид. <...> И все такие варварские дома на самых видных местах, по зияющим проспектам. <...>» (*Письма к друзьям*. С. 184).

134. *СЦ-1901*. С. 113. Помета под текстом: «Осташковский край, сент. 8».

СП. С. 113. Помета под текстом: «8 сентября. Осташковский край».

В письме к В. Я. Брюсову от 2 октября 1900 г. Коневской предложил это стихотворение для публикации в *СЦ-1901* (*Переписка*. С. 511).

Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 27. Помета под текстом: «Осташковский край: Сент. 8». Отправлено в письме к В. Я. Брюсову от 21 сентября 1900 г. (см.: *Переписка*. С. 508—509).

Осташковский край. — 21 сентября 1900 г. Коневской писал Брюсову из Петербурга: «...последний месяц (с середины августа) — я жил около ст. Елизаветино по Балтийской ж<елезной> д<ороге>, отчасти — другую половину этого времени — в окрестностях города Осташкова, на берегу озера Селигера, в поместье моих родственников, куда давно стремился. <...> По берегам озера Селигера и за его пределами, в тех местах, где скрыты истоки Волги, мне явились основные дебри великой Руси» — и далее он подробно излагал свои впечатления от этих местностей (*Переписка*. С. 507, 508).

135—136. *СЦ-1901*. С. 114—117. Без датировки.

СП. С. 114—117.

Коневской выслал В. Я. Брюсову рукопись цикла («недавно сложенные строфы») для публикации в *СЦ-1901* в недатированном письме, относящемся к январю 1901 г. (*Переписка*. С. 524—525).

21 мая 1901 г. А. Л. Миропольский (А. А. Ланг) писал Коневскому по прочтении цикла в *СЦ-1901*: «Ваши "Старшие богатыри" грандиозны по построению, могучий дух сковывает их целость, но не могу сказать, что я их уже понял в достаточной мере и оценил» (Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1988. М., 1989. С. 28. Публикация И. Г. Ямпольского).

Старшие богатыри. — Древнейшие герои русского былинного эпоса: Святогор — богатырь, чьей тяжести не выносит «мать сыра земля», но который сам не может превозмочь тяги земной, заключенной в суме; Волх Всеславьевич (Вольга) — герой-воин, предводитель дружины, чародей и оборотень.

1. *СЦ-1901*. С. 114—115. — *СП*. С. 114—115.

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 9. Л. 12—12 об.

2. *СЦ-1901*. С. 115—117. — *СП*. С. 115—117. Помета под текстом: «Октябрь». С примечанием, воспроизводящим авторское примечание

к тексту (с неточностями) и вариантами из автографа, посланного В. Я. Брюсову.

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 8. Л. 18—19. Варианты — строфа V, ст. 1: «Ты Слово знал. В нем свет, в нем жар, тьма волн и вой»; строфа VIII, ст. 1: «Сознали дебри, червь, и зверь, и племя птичье». Под текстом: «*Примечание*. Как известно, образ старшего богатыря Вольги (Волха) Святославича (Всеславьевича) по существу сближается с образом Полоцкого князя — чародея Всеслава, о котором повествуется в Слове о Полку Игореве. Здесь поэтому произведено отождествление этих двух лиц». Текст этого примечания, а также исправленный вариант ст. 1 строфы VIII были отправлены Коневским Брюсову (см.: *Переписка*. С. 524). Гипотезу о том, что неоднократно упоминаемый в «Слове о полку Игореве» полоцкий князь Всеслав Брячиславич (ум. в 1101 г.) «является оборотнем-волком или волкодлаком», высказал Ф. И. Буслаев (Буслаев Ф. Русская поэзия XI и начала XII века // Летописи русской литературы и древности, изд. Н. Тихонравовым. М., 1859. Т. 1. С. 10), в XX в. ее развивали другие исследователи; ныне признается, что представление о князе Всеславе как «язычнике и кудеснике сложилось исключительно под влиянием вольных интерпретаций» «Слова» (О. В. Творогов // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 1. СПб., 1995. С. 259—260).

Эпиграф. — *Μἄνία* (*греч.*) — сумасшествие, душевная болезнь, безумие; исступление, вдохновение, восторженность. *Μένος* (*греч.*) — сила, мощь; стремительность, неукротимость, ярость; жизненная сила; намерения, мысль. *Mens* (*лат.*) — ум, мышление, рассудок; образ мыслей; сознание.

...Трезвонам двух Софий. — Софийские соборы в Киеве (заложен в 1037 г.) и Новгороде (1045—1050). *Объем ты скинул, стал мураш...* — Вольга в русских былинах превращается то в сокола, то в муравья, проникающего через подворотню из рыбьего зуба. *...пахарь тот с присошком золотым...* — Пахарь Микула Селянинович, герой былины о Вольге и Микуле.

137. *СП*. С. 117—118. Помета под текстом: «Осень».

Побил их царь пустынного предела... — Подразумевается, видимо, князь новгородский Александр Невский, одержавший победу над шведами в 1240 г.

138. *СП*. С. 119—121.

Анализу стихотворения посвящена статья: Grossman Joan Delaney. Writing the Petersburg Text: Ivan Konevskoi's «Среда» // Res traductorica. Перевод и сравнительное изучение литератур. К восьмидесятилетию Ю. Д. Левина. СПб., 2000. С. 274—280.

Антихриста отеческой были... — Подразумевается Петр I, которого воспринимали как Антихриста в различных народных слоях — в старообрядческой среде, в секте бегунов или странников и др.

***139**. *СП*. С. 121. Дата под текстом: «7 апреля». С примечанием: «Вар.:

Ст. 4. Которому грозит нежданная напасть.
Ст. 7—8. По сердцу холодок бежит неутомимый.
И замирает дух и снова возрожден.
Ст. 9. Где б ни был я, нигде не вне я вертограда».

Черновой автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 10. Л. 7. Дата под текстом: «Апр. 7 1901». Подпись под текстом: «И. Ореус». Первоначальная редакция.

Беловой автограф — РГБ. Ф. 176. Карт. 1 (88224). Ед. хр. 12. Подпись под текстом: «И. Ореус». Вариант ст. 1: «Ты прав — не века сын, я чую лишь созвучья».

Черновой автограф и беловой автограф представляют собой левую и правую половины одного листа, разорванного пополам; заглавие «К П. П. Конради» — посередине (обращение и инициалы — на левой половине, фамилия — на правой).

П. П. Конради — см. примеч. 37.

140. *СП*. С. 121—122. Дата под текстом: «5 июля». С примечанием: «Последние стихи Коневского, написанные им за три дня до смерти, вероятно на пароходе, на котором он ехал в Ригу, и найденные в его записной книжке».

СТИХОТВОРЕНИЯ 1890—1899 гг., НЕ ВОШЕДШИЕ В «МЕЧТЫ И ДУМЫ». НЕЗАКОНЧЕННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

141. Список — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 1—2. Тетрадь «Стихотворения И. Ореуса, написанные им с августа 1890 г.».

142—143. Список — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 2—3 об. Тетрадь «Стихотворения И. Ореуса, написанные им с августа 1890 г.».

1. Эпиграф — из главы 2 (строфа 5-я) поэмы Генриха Гейне (1797—1856) «Германия. Зимняя сказка» («Deutschland. Ein Wintermärchen», 1844): «Храмовые сокровища нового Бога, / Великого незнакомца». Ср. в переводе В. Левика: «Алмазы нового божества, / Чей образ высокий неведом».

Анакреон (Анакреонт; ок. 570—487 до н. э.) — древнегреческий поэт, автор любовных стихов и застольных песен.

2. *Дельф уж не видит гора та священная...* — Дельфы — город в Греции, у подножия горы Парнас, с крупнейшим храмом Аполлона. *Бросьте о Пинде писать*. — Пинд — горный хребет в Греции с отрогами Парнас и Геликон, где, по преданию, жили музы; в переносном смысле — место поэтического вдохновения. *«Мертвым оставьте... мертвецов погребать!»* — Лк IX, 60: «предоставь мертвым погребать своих мертвецов».

Феб — эпитет бога Аполлона (*греч. миф.*), указывающий на чистоту, блеск, прорицание.

144. Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 4. Тетрадь «Стихотворения И. Ореуса, написанные им с августа 1890 г.».

Эпиграф — строка («Не привязывайся к земле») из «песни странствия» («Wanderlied»), входящей в роман «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821; кн. 3, гл. 1, 9). См.: Гете Иоганн Вольфганг. Собр. соч.: В 10 т. М., 1979. Т. 8. С. 280, 341.

Стихотворение — перевод процитированного в эпиграфе 1-й строкой стихотворного фрагмента Гете.

***145.** Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 5 об. Тетрадь «Стихотворения И. Ореуса, написанные им с августа 1890 г.».

Черновой автограф — Там же. Л. 4 об. — 5. Варианты строк.

Перевод стихотворения Гете «Lebensgenuß» («Wie man nur so leben mag?..»), входящего в цикл «Эпиграмматическое» («Epigrammatisch», 1827).

146—147. Черновой автограф — *ЗК-1.* Л. 11—13. Один лист (между л. 11 и 12) вырван; возможно, что фрагменты <1> (без окончания) и <2> (без начала) составляли единый текст (связующая их часть — на утраченном листе).

148. Список — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 10—10 об.

Перевод песни молодого поэта Фалка (в сопровождении хора мужчин), с которой начинается действие 1-е «Комедии любви» («Kærlighedens Komedie», 1862) норвежского драматурга и поэта Генрика Ибсена (1828—1906). Ср. в переводе А. и П. Ганзен: Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 1. С. 553—554.

149. Автограф — *ЗК-1.* Л. 31.

Перевод (с пропуском 2-й строки) заключительной хоровой песни Фалка и студентов в действии 3-м «Комедии любви» (см. примеч. 148). Ср. в переводе А. и П. Ганзен: Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 1. С. 708.

150. *СП.* С. 1. Под заглавием «Отрывок». Дата под текстом: «11 ноября».

Список — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 6. Подпись под текстом: «И. Ореус». Датировка: «Сего [12] 11 ноября 1894».

151. Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 7 об. — 7.

Вольный перевод одноименного стихотворения Г. Ибсена (1855—1863). Ср. позднейший перевод А. А. Ахматовой (Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1958. Т. 4. С. 552—553).

152. Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 7—8.

Перевод одноименного стихотворения Г. Ибсена (1850). Ср. позднейший перевод Вс. А. Рождественского (Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1958. Т. 4. С. 513—514).

153. Список — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 11 об.

Перевод 1-й, 2-й и 8-й строф вступительного стихотворения «Servus Apollo» («Quel est donc ce caprice étrange, ô ma pensée...») из сборника французского философа Жана Мари Гюйо (Guyau; 1854—1888) «Стихи философа» («Vers d'un philosophe», 1881). Ср.: Гюйо М. Стихи философа / Перевод Ив. Ив. Тхоржевского. СПб., 1901. С. 9—10.

154. Список — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 12.

Перевод заключительного фрагмента указанного стихотворения Гюйо («Nous montions un chemin. Les chênes effeuilles...») из «Стихов философа» (см. примеч. 153). В переводе И. И. Тхоржевского — «Единение» (Гюйо М. Стихи философа. С. 29).

Среди замыслов Коневского, относящихся к середине 1895 г., зафиксировано: «Достоевский и Гюйо. "Сон смешного человека" Достоевского и "Солидарность" ("Solidarité") Гюйо» (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 21 об.).

155. Список — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 12 об.

Перевод первых трех строф стихотворения «L'idée» («Forme lumineuse et flottante...») из книги Гюйо «Стихи философа» (см. примеч. 153). Ср. перевод И. И. Тхоржевского «Идея»: Гюйо М. Стихи философа. С. 21.

156. Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 37. Первоначальное заглавие: «Изыскательское путешествие». Помета под текстом (не рукой Коневского): «Апрель — июнь 1895 г. Петроград — Михайлов<ское> (Из альбома 1894—6)».

Черновой автограф — Там же. Л. 37 об. Под заглавием «Изыскательское путешествие». Подпись: «Гюйо (перев. И. Ореус)».

Перевод первых трех строф стихотворения «Voyage de recherche» («Lorsque j'étais enfant, je rêvais de voyages...») из книги Гюйо «Стихи философа» (см. примеч. 153). В переводе И. И. Тхоржевского — «В поисках истины» (Гюйо М. Стихи философа. С. 13).

157. *СП*. С. 3—4. Дата под текстом: «20 мая».

Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 8—8 об.

Заглавие ассоциируется с первой строкой стихотворения Е. А. Баратынского «Последний поэт» (1835): «Век шествует путем своим железным».

158. Список (машинопись) — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 20—27.

Список (рукой Н. М. Соколова) — Там же. Л. 16—19 об.

Авторские варианты строк, воспроизведенные в тексте списка в скобках, вынесены в подстрочные примечания.

Посвящается памяти творца «Карамазовых». — Летом и осенью 1895 г., когда шла работа над поэмой, Коневской много размышлял о творчестве Достоевского. Его рабочая тетрадь, заполнявшаяся в это время (см. примеч. 161) и озаглавленная «Отчего не "все позволено"?», открывается записью: «Иван Карамазов. Отчего не "все позволено", если даже человек отрешится от авторитета религии в деле предписания нравственного закона?» (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 1); там же зафиксирован план «Набросок проектируемой в довольно отдаленном будущем литературной параллели: "Достоевский и Ибсен"», включающий разделы: «"Росмерсхольм" — Достоевский: "Братья Карамазовы" ("Бунт" Ивана Карамазова). Решение вопроса: "Братья Карамазовы" ("Русский инок": из жития иеросхимонаха отца Зосимы, беседы и поучения старца Зосимы)» (Там же. Л. 21).

1-й эпиграф — цитата из стихотворения Н. Ленау (см. примеч. 9) «На Рейне» — «Am Rhein» («Wir reisten zusammen mit Andern...», 1832), — написанного во время путешествия в Амстердам; стихотворение открывает раздел «Звуки любви» («Liebesklänge») второй книги Ленау «Новые стихотворения» («Neuere Gedichte», 1838). В переводе: «...железные трубы / Прокладывают вдоль дорог, / Как если бы они хотели похоронить / Весь гнет и убожество жизни, / И снова достичь Рая, / Когда-то утраченного».

159. Список (машинопись) — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 6—15.

Эпиграф — цитата из стихотворения Фридриха Шиллера «Изречения Конфуция» («Sprüche des Konfuzius. 2. "Dreifach ist des Raumes Maß..."», 1799). Ср. русский перевод Е. Эткинда: «А в глубинах мироздания / Обретешь ты суть познанья» (Шиллер Ф. Собр. соч. В 7 т. М., 1955. Т. 1. С. 315).

...обоз, про который пел Никитин... — Подразумевается стихотворение Ивана Саввича Никитина (1824—1861) «Подле реки одиноко стою я под тенью ракиты...» (1854): «Бродят лениво вдоль луга стада, — и по пыльной дороге / Тянется длинный обоз; подгоняя волов утомленных, / Тихо идут чумаки, и один черномазый *хохленок* / Спит крепким сном на возу, беззаботно раскинувши руки» (Никитин И. С. Сочинения. М., 1955. С. 20).

160. *СП*. С. 11. Помета под текстом: «Март — апрель. Петроград».

Список 1 (рукой Н. М. Соколова) — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 12—12 об. Помета под текстом: «Март — апрель 1896. Петроград».

Список 2 (рукой И. И. Ореуса-отца) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 128. Ед. хр. 33. Л. 1—1 об. Помета под текстом: «Март — апрель 1896 г. Петроград».

...жало в плоть! — 2 Кор. XII, 7.

161. Список — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 9. Над ст. 10 надписан вариант: «И в безвестных, и в славных сердцах».

Автограф 3 строфы — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 19 об. Карандашный набросок в тетради с записями, датированными (не рукой Коневского): «Между 30 III и 18 VIII <18>95».

Написано в 1896 г. в Михайловском (см. примеч. 9).

162. *СП.* С. 237. С примечанием: «<...> черновой набросок, помеченный 9 июля». Опубликовано в примечании к циклу «В поднебесьи» (№ 29—30).

Автограф — *ЗК-6.* Л. 18. Запись под текстом: «*9 июля.* Близь Ильменау: на гребнях Киккельгана». Печатается по этому источнику.

Написано во время путешествия по Германии летом 1897 г. Следом за текстом наброска — следующая запись:

«Гребни Киккельгана — совсем особенная, полная пышной жизни и со всех сторон открытая вольным воздушным течениям страна. Везде — лесные стены, рощи и всюду сквозят обширные всезрелища на окрестные гряды гор и увалов с морями лесов и островами луговин», и т. д. (*ЗК-6.* Л. 18, 20. Цитируемый текст послужил основой для прозаического этюда «Ильменау и дух зрелого Гете»; см.: *МД*. С. 112).

163. *СП.* С. 28—29.

Автограф — *ЗК-8.* Л. 11. Помета под текстом: «21 июля. За Кёнигсбергом, на дороге к русской границе».

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 17. Под рубрикой: «Осеннее 1897».

Написано во время летнего заграничного путешествия 1897 г. на обратном пути в Россию.

Эпиграф — из стихотворения Ф. И. Тютчева «На возвратном пути» («II. Родной ландшафт... Под дымчатым навесом...», 1859).

Прозерпина (*римск. миф.*) — дочь Юпитера и Цереры, супруга Аида, владыки царства мертвых; часть года проводила на земле, часть — в подземном царстве.

164. Автограф — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 483. Л. 6. Подпись: И. Ореус. Передано О. В. Яфа. Печатается по этому источнику.

Список (рукой И. М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386. Карт. 129. Ед. хр. 41. Л. 17 об. Варианты — ст. 9—10: «Где глаза остановить? / Ко Красе — на грудь».

О. В. Яфа-Синакевич зафиксировала в воспоминаниях свой разговор с Вл. Пястом, отбывавшим, как и она, в 1932 г. ссылку в городе Кадникове:

«...Я спросила: — Знаете ли вы стихотворение Ореуса "Домашние звуки":

Ах дрова, дрова, — глушь и плач зимы!
Тихие слова из жгучей тюрьмы...

— Как?! — вскричал, вскакивая, Пяст. — Вы знаете стихи Ореуса?!

— Я *лично* знала его... А этого стихотворения, я вспомнила, — *вы* не можете знать: оно ведь не вошло в его печатный сборник.

И я прочла его <...>» (Синакевич О. В. Жили-были. В ссылке. Кадников. 1932 г. // РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 355. Л. 40).

165. Список (рукой И.М. Брюсовой) — РГБ. Ф. 386. Карт. 129. Ед.хр. 41. Л. 18.

166. Автограф — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 31.

167. Автограф — *ЗК-9*. Л. 34.

Набросок относится ко времени путешествия Коневского по России в августе 1898 г.

168—169. *СП*. С. 69—70. Датировка под текстом: «13—17 февраля». С примечанием: «Написано в дни студенческих волнений».

Цикл был включен автором в состав *МД*, но не был пропущен цензурой. 22 сентября 1899 г. Коневской сообщал Брюсову: «Третьего дни получал из цензуры свои писания. Пришлось поспорить с цензором из-за некоторых пропусков. Zeitgedichte невозвратно похерены» (*Переписка*. С. 470). После этого Коневской предложил Брюсову опубликовать цикл в *СЦ-1901*; в недатированном письме к нему (предположительно датируемом началом марта 1901 г.) он писал: «...не согласитесь ли включить в Ваше издание и писанные мною в февр<але> 1899 г. "Zeitgedichte" <...>, которые не вошли в "Мечты и думы" по цензурным условиям (очевидно, только ввиду исторического примечания к ним). Итак, откинув примечание, но обозначив под текстом: "Февр. 1899" и изменив слово "закружусь" в "закручусь", попробуйте "тиснуть", если не опасаетесь цензурных хлопот» (Там же. С. 528. «Историческое примечание» к циклу, видимо, содержало указание на то, что стихи написаны по поводу студенческих волнений). В *СЦ-1901* «Zeitgedichte» опубликованы не были. В *СП* напечатано без учета внесенного авторского исправления в 1-м стихотворении (строфа III, ст. 3): «Иль закружусь я и с вами в метели».

Автограф — РГБ. Ф. 386 (В. Я. Брюсов). Карт. 97. Ед. хр. 9. Л. 30—30 об. С авторским подстрочным примечанием к заглавию: «дни возмущений в Петербургском Университете». Датировка под текстом: «13—17 февраля»; приписано карандашом (рукой Брюсова): «[1899]», «1900». Отправлено Брюсову 18 марта 1899 г.

Цикл представляет собой отклик на студенческие волнения в Петербургском университете в феврале 1899 г. 4 февраля ректор университета В. И. Сергеевич вывесил объявление с предупреждением студентам о грозящих им репрессивных мерах в случае нарушения ими порядка 8 февраля, в день празднования годовщины основания университета. Во время торжественного акта студенты сорвали выступление ректора

шиканьем, криками и свистками; после окончания церемонии в университете отряды конной полицейской стражи загородили студентам дорогу к ближайшему Дворцовому мосту и направили их к Николаевскому мосту; у Румянцевского сквера конный полицейский отряд, вооруженный нагайками, атаковал студентов и устроил массовое избиение. На следующий день студенты организовали многолюдную сходку, продолжавшуюся и нараставшую в течение нескольких дней, с требованиями закрытия университета до тех пор, пока они не получат удовлетворения за полицейский произвол и «гарантии личной неприкосновенности»; профессорам, не пожелавшим прекратить чтение лекций, была заявлена обструкция. 12 февраля (в день, когда в университет была введена полиция) к движению примкнули другие петербургские высшие учебные заведения, а к 20 февраля забастовка учащейся молодежи распространилась на Москву, Киев, Ригу, Харьковский, Одесский, Юрьевский, Томский и Варшавский университеты: «...Все высшее учебное дело в России на время остановилось, и свыше 25 тысяч молодежи приняло участие в движении» (Чертков В. Русские студенты в освободительном движении. М., 1907. С. 15). 20 февраля было объявлено о расследовании хода событий под руководством генерал-адъютанта Ванновского. Чтение лекций в университете, прекращенное с 16 февраля, было возобновлено в обычных условиях с 4 марта. См.: Доклад П. С. Ванновского о студенческих беспорядках 1899 года. СПб., 1906.

Отношение Коневского к этим событиям было неоднозначным; его, по всей видимости, настораживали доминировавшие в студенческой среде проявления коллективистской психологии, о чем можно судить, в частности, по свидетельствам О. В. Яфа-Синакевич, вспоминавшей об избиении студентов 8 февраля: «На следующий день о случившемся говорил уже весь город. В высших учебных заведениях происходили бурные сходки, в частных домах только и говорили, что о студентах, жандармах и нагайках, о русском бесправии и произволе наших властей». «Как-то в эти дни, — продолжает Яфа-Синакевич, — я встретила на Невском возвращавшегося с университетской сходки Ив. Ив. Ореуса. У него было недоуменно-растерянное лицо.

— Как могут, — спросил он меня, здороваясь, — интеллигентные люди решать *принципиальные* вопросы *большинством голосов*? Ведь все согласны с тем, что глупых людей несоизмеримо больше, чем умных, а гениальных — единицы. Не очевидно ли из этого, что истина всегда неизбежно была и будет на стороне умного меньшинства, а не глупого большинства?

От неожиданности этого рассуждения я так опешила, что ничего не нашлась ответить <...> — Как гениально просто и логично! — думала я. — И как это мне самой не приходило это в голову? Очевидно оттого, что сама я принадлежу к "глупому большинству". А вот он принадлежит

к “умному меньшинству”, если не к “гениальным единицам”...» (Синакевич О. В. Жили-были. Воспоминания. Ч. III. Юность. 1894—1900-е гг. // РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 328. Л. 51, 56). Ср. мемуарное свидетельство о Коневском Вл. В. Гиппиуса (в записи Н. Л. Степанова): «В университет на сходку приходил со “Стеллой” Гете»; приведено в примечаниях к статье В. Я. Мордерер «Блок и Иван Коневской» (*ЛН*. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1987. Кн. 4. С. 176). «Стелла» — прозаическая «драма для любящих» (1775).

Получив от Коневского рукопись цикла, Брюсов писал ему 5 апреля 1899 г.: «Zeitgedichte я бы написал не так, ибо знаю бóльший смысл и в этих шумах бесследных. В жажде покоя, благого живоносного моря, Вы напрасно отрекаетесь от целой половины бытия» (*Переписка*. С. 456).

Заглавие. — «Zeitgedichte» («Современные стихотворения», 1844) — заглавие книги стихов Г. Гейне.

2. Эпиграф — строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Весна» («Как ни гнетет рука судьбины...», 1839).

170. *СП*. С. 80—82. Датировка под текстом: «Март». С примечанием: «Черновой набросок».

171. *СП*. С. 86—87. Датировка под текстом: «Май». С примечанием: «Черновой набросок».

Автограф — ИРЛИ. Ф. 379 (И. Н. Жданов). Ед. хр. 71. Л. 5—6. Без подзаголовка. Вариант ст. 42: «Телом в могилы нисшедшего сына земли молчаливой» (возможно, описка).

Радоница (радуница) — православный обычай поминовения умерших на могилах на послепасхальной неделе.

172. Автограф — *ЗК-10*. Л. 23.

Набросок карандашом; под текстом чернилами зачеркнутая запись: «10 24 июня». Среди записей лета 1899 г.

173. Список — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 29.

Эпиграф — начало строки «Mere puppets they, who come and go» («Они всего лишь куклы, те, которые приходят и уходят» — *англ.*) из стихотворения американского поэта, прозаика, эссеиста Эдгара Аллана По (1809—1849) «Червь-победитель» («The Conqueror Worm», 1843); вошло в рассказ По «Лигейя».

Ср. заметку М. Л. Гаспарова: «“Образины” — замечательно перевел И. Коневской заглавие “Гротесков” Э. По» (Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 153).

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

174. Автограф — РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 417. Коллективное послание, адресованное О. В. Яфа. Рукой Коневского — строфы II, V; рукой И.

Я. Билибина — строфы I, IV; рукой А. Я. Билибина — строфы III, VI. Над текстом помета: «Вторник»; под текстом подпись: «С искренним почтением И. Билибин. И. Ореус. A. Bilibine» (вторник — 18 марта 1897 г.).

В воспоминаниях «Жили-были» О. В. Яфа-Синакевич приводит свою дневниковую запись от 20 марта 1897 г.: «Постепенно ко мне возвращаются права здорового человека: я давно уже на ногах. <...> Сегодня же получила соборное послание в стихах от Билибичей» (РНБ. Ф. 163. Ед. хр. 324. Л. 107 об).

175. Автограф — *ЗК-8.* Л. 13 об. — 14.

Написано в Киеве в начале сентября 1897 г.

Вариация на тему песенки «Крутится, вертится шар голубой» (вероятно, фольклорный вариант романса Н. А. Титова на слова М. А. Маркова «Шарф голубой», 1830): «Где эта улица, где этот дом, / Где эта девушка, что я влюблен?». См.: Ах романс, Эх романс, Ох романс: Русский романс на рубеже веков / Составители В. Я. Мордерер, М. С. Петровский. СПб., 2005. С. 306, 367.

176. Переписка. С. 521.

Автограф 1 — *ЗК-11.* Л. 6 об. — 7. Там же (Л. 6) — карандашная помета сверху (рукой не Коневского): «к ответу З. Н. Гиппиус»; чернилами: «Der Streit der Facultäten <Спор факультетов, — *нем.*>, или — Роковой совет новых душ. Краткая поэма Аскания и Гермагора»; зачеркнутое заглавие: «Повесть о людях нынешнего века» (Л. 6 об.). Помета под текстом: «Юл. <Июль> 13. 1900 (возникновение во время омовения)». Асканий — прозвище А. Я. Билибина (см. примеч. 17—21). Гермагор — прозвище Коневского: по имени древнегреческого оратора и ритора Гермагора из Темноса (II в. до н. э.), автора «Искусства красноречия»; возможно также соотнесение с героем рассказа-притчи Анри де Ренье «История Гермагора» (1895) (см.: *Письма к друзьям.* С. 179).

Автограф 2 — РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 32. Под заглавием «Роковой Совет новых Душ. Краткая поэма Ив. Коневского и друга его Аскания».

Печатается по автографу 1.

В письме от 20 ноября 1900 г. Коневской спрашивал В. Я. Брюсова: «Как Вам понравился Роковой Совет новых Душ? “Друг мой Асканий” (А. Я. Билибин — математик) и я, которых участие распределяется в этой поэме с полной равномерностью, справедливо гордимся этим импровизованным синтезом всех душевных явлений нашего времени. Понятно ли Вам обобщающее значение “Гимназиста”?» (*Переписка.* С. 520). Текстом стихотворения Коневской предполагал завершить свою полемическую заметку «Хлесткий и запальчивый ответ pro domo sua», направленную против З. Н. Гиппиус; в последнем абзаце заметки говорится: «А, в заключение, вот Вам еще картина, которая представит Вам

цельное понятие о "положении дел" в критический момент на рубеже между двумя веками. Она произошла совсем неожиданно из плетения рифм, которым занимался я с другом моим Асканием, и участие его и мое распределено в ней в точно равномерных долях» (Иван Коневской — полемист / Предисловие и публикация А. В. Лаврова // Русская литература. 2008. № 1. С. 221).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

III. IV. Видения странствий

1

2

V. Дебри

Мельком.
VI. Пережитки, Совокупности, Предвещания

Стихотворения 1899—1901 гг.

Стихотворения 1890—1899 гг., не вошедшие в «Мечты и Думы». Незаконченные стихотворения

Шуточные стихотворения

Иван Коневской
Стихотворения / Вступ. статья, составление, подготовка текста и примечания А. В. Лаврова — СПб.; М.: Издательство ДНК, Прогресс-Плеяда, 2008 — 298 с.

ISBN 978-5-901562-93-2

Иван Коневской (настоящее имя — Иван Иванович Ореус; 1877—1901) — своего рода легенда русского символизма, оказался практически забыт, несмотря на высокую оценку его рано обретшего зрелость творчества Блоком, Брюсовым, Мандельштамом. Поэзия Коневского — образец «поэзии мысли», — пронизана глубоко личными натурфилософскими переживаниями и является необходимым звеном, связывающим символизм с русской поэзией XIX в., с Баратынским, Тютчевым, Кольцовым, Ал. Толстым. Его творчество, по слову исследователя, «с почти хрестоматийной ясностью предсказывало дальнейшее развитие русского символизма», углубленные философско-религиозные поиски его представителей, их интерес к истории и фольклору. Вместе с тем, отзвуки поэтических опытов Коневского, его «затрудненной», архаизирующей поэтики обнаруживаются и у Гумилева, и у Пастернака, и у Заболоцкого, и у Хлебникова.

Единственная изданная при жизни Коневского книга, «Мечты и Думы», была новаторской и своим внутренне мотивированным объединением стихов и прозы. В настоящем издании в полном объеме воспроизводится стихотворная часть книги «Мечты и Думы»; при этом раздел «Видения Странствий», состоящий из стихотворений и прозаических фрагментов, также печатается полностью, как художественное единство. Второй раздел настоящего издания составили стихотворения, написанные после формирования книги «Мечты и Думы». Третий раздел содержит ранние стихотворения, не включенные автором в «Мечты и Думы», а также незавершенные стихотворные тексты; многие из них публикуются впервые. Все тексты при наличии такой возможности сверены по автографам, в примечаниях и в разделе «Другие редакции и варианты» приведены наиболее объемные и значимые разночтения. Вступительная статья и примечания привлекают большое число архивных источников, в них дается анализ поэзии Коневского, подробно излагается его биография, история восприятия его творчества современниками и потомками. Таким образом, перед нами первое практически полное научное издание стихотворного наследия одной из ключевых для русской поэзии фигур рубежа XIX и XX веков.

Редактор А. Е. Барзах
Художник В. В. Еремин
Верстка А. Т. Драгомощенко, Й. Е. Сакулина
Корректор О. И. Абрамович

ЛР № 02716 от 30.08.2000
ООО «Издательство ДНК»
194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 4/2, офис 505.
Тел./факс: 542-2039.

Издательство «Прогресс-Плеяда»
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17
Гл. ред. С. С. Лесневский
Тел./факс: 246-4418. E-mail: progressp@mtu-net.ru

Подписано в печать 15.02.2008. Формат 84×108/32
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Minion.
Усл. п. л. 19. Уч. изд. п. л. 18. Тираж 1200 экз. Заказ №

Отпечатано в типографии «Град Петров»
ООО ИД «Петрополис»
197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д. 16,
офис-центр 1, пом. 12, тел.: 336-50-34.
E-mail: info@petropolis-ph.spb.ru www.petropolis-ph.spb.ru